



XXI ВЕК

ВОЛГА

1-2 2019

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей

1-2
2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД	
Николай БЕРЕЗОВСКИЙ. Я в прошлое своё влюблён...	3
ОТРАЖЕНИЯ	
Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ. Земля для всех одна.	8
ПОЭТОГРАД	
Диана КАН. Край мой мятежный...	41
ОТРАЖЕНИЯ	
Александр ТИТОВ. Два рассказа.	46
ПОЭТОГРАД	
Галина ТАЛАНОВА. Река подо льдом	56
Иван ШУЛЬПИН. Мартовские метели	59
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ	
Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Невыдуманные истории о близких людях.	66
ПОЭТОГРАД	
Василий ДОМРАЧЕВ. Горела ночь в моём костре...	91
ОТРАЖЕНИЯ	
Евгений САФРОНОВ. Мастер-класс.	96
СОВЕТ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ	
Алексей ГУШАН. В поисках солнца	104
КАМЕРА АБСУРДА	
Аркадий МАКАРОВ. «Не кочегары мы, не плотники...»	108
ПОЭТОГРАД	
Алексей БОРЫЧЕВ. Вот и кончилась вечность...	114
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТУДИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
Максим ЖИГАРОВ. Волшебник Дождь	118
ПОЭТОГРАД	
Кселена ЛИТВИНОВА. Старый храм	120
ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА	
Артур КТЕЯНЦ. Ты никогда не умрёшь (Окончание).	122
СТАТЬИ	
Александр ДЕМЧЕНКО. Две грани великого наследия.	156
РЕЦЕНЗИИ	
Галина ШВЕЦОВА. О природе побегов.	175
ВОЛЖСКИЙ АРХИВ	
Андрей МИХАЙЛОВ. Страна Комсомолия	178
Борис ОЗЁРНЫЙ. Рахе	188
Будем помнить	191



**Николай
БЕРЕЗОВСКИЙ**

Я В ПРОШЛОЕ СВОЁ ВЛЮБЛЁН...

ДОМ

Дом – он для всех начало из начал.
И ощущение встречи с ним тревожно.
Всё кажется, что будто он – причал,
К которому причалить невозможно.

Мой дом, я часто думал о тебе,
Твои приметы, как и в детстве, знаю:
Пролазы в островерхой городье
И вдоль неё звенящие трамваи,
И от угла дороги – поворот,
Который от твоих увёл ворот.

Я за него ушёл, не оглянувшись.
Меня манили новые огни.
За этот грех, давным-давно минувший,
Меня, мой дом, напрасно не вини.

Тогда, мой дом, пришла моя пора
Познать сомненья, горести и муки,
И я ушёл из твоего двора,
Где с солнышком беседуют старухи,
Где я любовь впервые ощутил –
Как будто каблуки по сердцу стуком;
Где незнакомый парень уводил
Соседку Любку, взяв её под руку.

-
- Николай Васильевич Березовский родился в 1951 году на Сахалине в семье военного медика. После гибели отца воспитывался в интернате. Работал грузчиком, слесарем на заводе, буровым рабочим в геологоразведке, редактором на телевидении, корреспондентом в газетах. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первые рассказы и стихи опубликовал в конце шестидесятых годов прошлого века. Автор восьми прозаических, поэтических и публицистических книг, изданных в Москве и в Сибири; многочисленных публикаций в отечественной и зарубежной периодике. На киностудиях «Мосфильм» и «Лентелефильм» экранизирован его рассказ «Три лимона для любимой». Победитель и лауреат многих литературных конкурсов и премий. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Живёт в Омске.

И я, рванув от ворота рубаху,
Не думая, что будет, со всех сил
Им камень вслед отчаянно, с размаху –
Пускай и не попал, но запустил!

Никто плохого в этом не приметил.
Весь двор решил: ударил в вороньё.
Тогда я думал, что в него я метил,
Но позже понял: всё-таки в неё.

Мой дом – причал. И дом мой не забыл,
Кто в нём рождался, умирал, любил.
С причалом дом сравнив не для словца,
Я говорю, что роль его не мнима:
К нему в разлуке тянутся сердца,
К нему свернёшь, коль ехать будешь мимо,
К нему в конце пути наверняка
Придёшь, чтобы проститься перед смертью.

Кто говорит, что не придёт, – не верьте!
Так было, есть и будет на века.
Одно лишь горько: пред его крыльцом
Не встретят, как бывало, мать с отцом...

Мне объяснить, наверно, не сумею
Простым стихом закона возвращенья.
Но кто ж поверит, что решится смерть
Застигнуть в доме твоего рожденья?..

МОЛИТВА

Я лишь росток в Божественном Саду,
Осознающий данность как награду.
И ничего мне большего не надо...
А срок придёт – и я, как все, уйду.

Тогда о чём – смеясь или скорбя,
Воздастся мне или падёт утрата,
В печаль и в радость – я молю Тебя,
Коль ничего мне, Господи, не надо?!

Мне ничего... Но наважденья дым
Развеян силой вдруг непостижимой:
Молю Его о дочери любимой,
О женщине, которою любим,
О тех, с кем был иль не был нелюдим,
Чтоб за меня с них не спросилось Им.

ШТОРКА

Уже иное что-то слышится
Из будущего далека...
А шторка на окне колышется –
Наверное, от сквозняка.

Закрою форточку оконную,
И дверь замкнёт моя рука,
Но шторку, по бечёвке ровную,
Кольшет всё равно слегка.

Кольшет, от крахмала ломкую,
Как увлекает не спеша...
А может, на бечёвку тонкую
Моя нанизана душа?

И с ней, такую невесоюю
И света белого милей,
Играет, как с игрушкой новою,
Сквозняк из потайных щелей?

А досыта как наиграется –
Утянет за собой дымком,
И ничего-то не останется –
Одна бечёвка узелком...

Уже иное что-то слышится
Из будущего – ад ли, рай?
А шторка на окне колышется,
Неслышно плача: постирай...

ВОСПОМИНАНИЕ

...И куда-то бежал поутру,
Захлебнувшись берёзовым светом...
Никогда я теперь не умру,
Коли вспомнилось вдруг мне об этом...

О ПРОШЛОМ

Я в прошлое своё влюблён.
И помню всё. И всех. И даже –
Как лямка дембельской поклажи
На левый давит мне погон.

Я в прошлое своё влюблён,
Да не приставил к нему стражу,
И прошлого теперь пропажа
Под левым под плечом – как стон.

ЗЕЛЁНАЯ ТРАВА

Я однажды лежал на зелёной траве...

Анатолий Кобенков

Мы любили с тобою лежать на траве
На зелёной, как братья на воле,
Не седые тогда, голова к голове,
И с бутылкою алкоголя.

Кроны клёнов над нами висели шатром,
И часами казались минуты.
И от травки зелёной был в шаге дурдом –
Общежитие Литинститута...

Ни дурдома теперь, ни вина, ни травы
Для тебя, друг последний мой, Толя,
И стихами из умной твоей головы
Прирастёт только вечности поле.

Но куда я вслед за тобой не ушёл,
Разрешите мне, пусть этого мало,
Полежать на траве за тебя, хорошо? –
Как однажды с тобою, бывало...

НЕДОУМЕНИЕ

Жил и живу, прожив пустяк,
Пусть жизнь быстрее всё убывает,
Но почему сирень не так,
Как в юности, благоухает?

КОСТРЫ

Есть два костра – рождения и смерти.
И я, куда меж костров стою –
Хотите, верьте мне или не верьте, –
Совсем нисколько жить не устаю.

Костры мои пока не догорели,
Ещё трещит их пламя на ветру,
Хотя далёкий уже дышит еле,
А этот, близкий, вспыхнул вдруг к утру.

И жалко тех, кто на исходе ропщет,
Ведь истина проста и глубока:
Костёр последний – если смерть затопчет,
Да первый жизнь зажжёт от уголька...

БОГАТСТВО

...А я богатым был всегда!
Жизнь проплывёт, как по экрану,
Когда я перед дверью встану,
Ведущей, может, в никуда,
Поскольку осознаю вдруг,
Что всем в наследство оставляю
И дальний лес, и близкий луг,
И горизонт, златой по краю,
И солнце, и ночной сполох,
И ветвь надломленной сирени,
И от свечи на стенах тени,
И выдох свой – кому-то вдох...

А я богатым был всегда...

Всё знаю: что – от рождения,
Что – из житейского опыта...
Жизнь – это стихотворение
От вскрика и вдруг до шёпота;
Любовь – как идти по краю
Пропасти, ждущей грозно...
А как умирать – не знаю.
Узнаю – да будет поздно...

Слабей чем и короче жизни нить,
Осознаёшь всё строже слова силы:
До смерти можно правдой оскорбить,
А ложью – огоршить до могилы.

И я, когда навеки отлюблю
И свежий холмик забелит пороша, –
Ни ложью никого не огорошу,
Ни правдой никого не оскорблю.

Но перед тем, покуда жив, пойму
Я тайну слова, что из сердца рвётся:
Тогда я сторож слову моему,
Пока оно в других не отзовется...



**Виктор
Брюховецкий**

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ОДНА

повесть

*Светлой памяти мамы моей,
Александры Яковлевны Брюховецкой,
урождённой Малаховой, посвящаю*

Бабе Сане сон снится. Вообще-то она Александра Прокопьевна, а баба Саня – это по-уличному. Так вот, снится, значит, бабе Сане сон, где она совсем молодая. Такая молодая, что ей даже чудно делается, и она в это чудо ну никак не верит. Умом-то своим, во сне не участвующим, она понимает, что старая она, а сон ей говорит обратное. Она сначала даже растерялась, как, мол, так, она же старая, но сон говорит, что нет, не старая, и так настойчиво говорит, так разноцветно, что она ему верить начала. Стоит будто она, вся нарядная, на крыльце, а в калитку Фёдор входит. Молодой-молодой, сапоги на нём хромовые, те самые, что Соклак тачал, и рубашка на нём та же, в полоску несчастую. Прикрывает он калитку, значит, к Саньке, к молодой ещё, идёт, сапогами поскрипывает и широко улыбается. Улыбается и молчит. А в это время соседка Ульяниха стоит на той стороне дороги и на всю улицу кричит:

– Фёдор-то Санин домой вернулся!..

Баба Саня на Ульяниху рукой махнула, не шуми, мол, и с крыльца Фёдору навстречу ступила. А он и сам уже рядом. И вот обняла она его, дух из его ноздрей чувствует, тело пальцами ощупывает, а сама думает: «Господи, умер же мой Федя, умер...» Сама так думает, а Фёдору говорит:

– Соскучилась я по тебе, Федя, ох, как соскучилась! Где ты так долго был? – А сама знает, что Фёдор умер, но продолжает спрашивать: – Как же ты выбрался, ведь Андрей тебя гвоздями заколотил, да и земли столько сверху навалили?

-
- Виктор Васильевич Брюховецкий родился в 1945 году в г. Алейске Алтайского края. Окончил Ленинградский институт авиаприборостроения в 1974 году. Работал инженером в Институте прикладной химии. Автор многих поэтических книг. Лауреат Международной Пушкинской премии. Член Союза писателей. Живёт в пос. Кузьмолово Ленинградской области.

А Фёдор отвечает:

– Так, гвозди мимо вбили, с краешку только и прихватили. Крышка снялась легко, а земля как пух, мягкая и пушистая, я сквозь неё без труда и выбрался.

Баба же Саня в словах его вроде как сомневается:

– А тебя когда хоронили, то лицо твоё было распухшее, а сейчас ничего.

И опять отвечает Фёдор:

– Так ко мне же врачи приходили. Помнишь, лётчиков-то откапывали? Ну тех, что разбились?

Баба Саня помнит, что лётчиков действительно откапывали. Даже дважды.

– Так вот, врачи их откапывали и лечили, а я же рядом был, вот они и меня заодно вылечили.

Похоже, Фёдор правду говорит, а бабе Сане в эту правду очень верить хочется. Она и верит. Верит и всё сильнее к мужу прижимается, тело его чувствует, табачный дух ловит и тихонько смеётся. Фёдор, её Фёдор, домой вернулся!

– Ты бы мне баньку истопила, – просит он.

А у бабы Сани будто бы и баня как раз истоплена, и бельё свежее в доме лежит, для Фёдора приготовленное. Всё как в сказке.

Ведёт баба Саня Фёдора в баню, одной рукой бельё чистое к себе прижимает, другой Фёдора касается, а сама думает: если он неправдашный, то, как разденется, тела у него и не будет, а я в щёлочку и увижу. Сама так думает, а рукой всё Фёдора потихоньку щупает. Вроде, тело есть...

А потом будто Ульяниха зачем-то прибежала. Наверно, посмотреть на Фёдора поближе захотела, но только Фёдор был уже в бане, Ульяниха ни с чем и ушла. Ни с чем пришла, ни с чем и ушла, только бабу Саню с планов сбила. Она в предбанник вошла, а Фёдора в предбаннике не было, только слышно, что он уже моется в моечной. Он моется, а бабе Сане страсть как охота посмотреть: есть у Фёдора тело или нет. Стоит она в предбаннике, а в нём так светло, как будто откуда-то сбоку солнце светит, а в самой бане ещё светлее, и в двери через дырочку от сучка выпавшего прямо лучик света исходит. Бабе Сане и неудобно подсматривать, и страсть как хочется правду знать. Смотрит она через дырочку и видит своего Фёдора: правдашный Фёдор-то, с телом, и даже родинка на левой руке видна. Родинку как только увидела, тут и совсем успокоилась: живой Фёдор, живой; улыбнулась и из предбанника на воздух вышла. Только порог переступила, только дверь притворила, как тут и проснулась...

В избе было темно и тепло. Баба Саня лежала с открытыми глазами и слушала, как на кухне тикали часы. Ей было грустно. С чего бы это Фёдор к ней повадился приходить? Второй год пошёл, как схоронила она Фёдора, и за это время он ей только один раз приснился, вскоре после похорон. Перед сороковинами, кажись. Один только раз, и всё, и ни слуху больше, и ни духу, а тут третью ночь подряд приходит и всё по-разному. То на покосах с ним встречалась, то ежевику вместе в забоке брали, а тут в баню пришёл мыться. Баба Саня знала, что это нехорошо, и теперь, лёжа в постели, пыталась сон свой растолковать. Тоскую, наверно, подумала она и, откинув одеяло, спустила ноги с кровати, надо бы в церковь сходить да свечку поминальную поставить.

В оконное стекло мелко и однотонно стучал осенний дождь. Во-во, подумала, покойники всегда к дождю. Она встала, заглянула за шторку: за окном маячила сырая темень. Баба Саня засветила керосиновую лампу, посмотрела на часы: было три часа ночи.

Спать не хотелось, а делать было нечего. Лежать в постели и прошлое ворошить радости мало, светлого в этом прошлом было негусто, что ни копни – всё больно. В таком состоянии баба Саня, как привидение, вся в белом, стояла несколько минут посреди комнаты, потом поправила шторы на окнах, сполоснула лицо. Водрузила на нос очки, разложила на столе бумагу и села писать письмо. Ночью хорошо пишется: шуму лишнего нет, не отвлекает. И здесь, что главное, надо, чтобы свет был не электрический, а керосиновый. Керосиновый свет мозги не сушит.

Давно когда-то отец её Прокопий Данилович нашёл в семейном бюджете небольшую денежку и отдал Санюшку в школу грамоте обучаться к отцу Полинарию. Школа была церковная, строгая, и отец Полинарий был строг. Санюшка его побаивалась, смотрела ему в рот и слова его умные старалась запоминать. Денег достало только до Рождества, но и этого Сане хватило. Буквы узнала, читать научилась и письмом овладела. Писала коряво, без заглавных букв, без запятых и точек, но мысль держала в голове ровно, и письма её получались очень даже толковы. Она и по жизни мысль держала ровно. И ровно, и толково. А всё, наверно, потому, что после школы она два года у отца Полинария на клиросе пела. Те слова, что она пела, светом Господним её на всю жизнь озарили.

Писать баба Саня любила. Ни от кого не отгораживалась, писала всем, но больше всего ей нравилось писать меньшему своему, Серёжке. Она ему писала обо всём: и о соседях, и о картошке, а в конце всегда приписывала: «...ты мне Сирёжа пиши твоё письмо почитаю как с тобой поговорю». Сергей же письмами мать свою не баловал, писал редко: на два-три её одно своё отписывал, но письма писал длинные, ласковые и, чтобы их бабе Сане было легко читать, печатал тексты на машинке. Когда же умер Фёдор, Сергей писать стал чаще. Она это понимала и душой всё больше к нему тянулась.

В письме баба Саня описала, как управлялась с огородом, сколько картошки накопила, сколько едовой, сколько на семена и сколько продала. Она об этом уже писала в предыдущем письме, но написала ещё раз – а вдруг то не дошло? Потом она прописала про своё здоровье, что, мол, пока, тьфу-тьфу, всё у неё ладом, написала про соседей, и все деревенские новости описала, какие знала. И ещё написала про Люську, дочь свою, и про зятя Андрея, как они ей картошку убрать помогли. Потом она перечитала письмо, запечатала в конверт и адрес написала. Как бы коряво адрес ни получался, но письма её до адресатов доходили всегда и не терялись. Она и индекс писала коряво, цифры были ещё кривее, чем буквы, не по линейкам, что обозначены на конверте, но её и это не смущало. Дойдёт...

Новый день начался с того, что на крыльце грузно затопали и громко затарабанили в дверь. Это была Люська. Растрёпанные волосы её торчали лохмами из-под наспех наброшенной косынки, была она в калошах на босу ногу, и от неё тащило вчерашним алкоголем.

- Ты чо, мама, по ночам не спишь?
- Откуда знаешь?

Александра Прокопьевна посмотрела на родную дочь и подумала: в кого же она такая неряха уродилась?

– Да я ночью проснулась, смотрю – свет у тебя. Дай, думаю, схожу, может, надо чего.

Люська врала. Она уже в щёлку между занавесок подсмотрела, что мать жива и здорова, на кухне колготится, но ей же интересно было, чего это мать ни свет ни заря по дому топчется, керосин жжёт. А ещё у Люськи страшно голова после вчерашнего болела. И перегар, и опухшее лицо её говорили бабе Сане, что Люська вчера шибко пила. А где Люська, там и Андрей. Андрей-то, поди, ещё спит, а этой уже немоготу, эту уже жажда допекает так, что она воздух не вдыхает, а всасывает. Сейчас начнёт липнуть, начнёт опохмелку искать. Баба Саня включила верхний свет и загасила лампу.

Но водка для Люськи была не главное, её мучила загадка: что ж это мать ночью делала? Вот дура-то, дождя испугалась, надо бы ночью и подглядеть, сейчас бы и не гадала. Она верила, что у матери есть деньги, а вот где они и сколько их, не знала. А вдруг маманя ночью эти деньги и пересчитывала. Люська вылезла из заляпанных грязью литых галош и прошла из кухни в комнату. Голова трещала, но это не помешало ей разглядеть на подоконнике запечатанный конверт. Вернулась на кухню совсем скучная. В руках письмо держала.

– Всё строчишь. Ты ж недавно ему писала...

– Кому ему?

– Кому, кому – Серёженьке своему преподабному.

– Ну, писала... А кому же мне ещё писать? Петру да ему, ты-то с Натальей рядом, кажин день бываете, а они далеко.

– Ну и пиши...– Люська облизнула пересохшие губы, бросила письмо на кухонный стол.– А мне сегодня ночью так плохо было, болит сердце и болит.

– Оно и видно. – Баба Саня прошла в комнату и убрала письмо на комод под клеёнку. – Опять лакали её, окаянную. Эх, Люська, Люська... От людей уже стыдно. Ты погляди, на кого ты похожа!..

– Ладно, мать, ладно, не бузи.

– Да мне рот заткнуть легко. Ты вот глаза зальёшь, с Андреем поцапашься и думаешь, что это и всё. А у меня вот здесь, – баба Саня постучала пальцем себя по груди, как раз там, где у неё на верёвочке крестик с Христом трепыхался, – а у меня вот здесь кровь чёрная запеклась.

– Да я, мама, и сама уже об этом думаю. – Люська притворно вздохнула и спросила: – У тебя там от тех разов ничего не осталось?.. Сердце прям-таки замирает.

Александра Прокопьевна песню эту слышала не единожды. Но она знала, что жизнь её сейчас в чём-то и от Люськи зависит, да и от Андрея тоже. Пьют, пьют, а иногда и помогут. Вот и с картошкой помогли. Опять же не даром, но ведь помогли. Был бы Фёдор жив, он бы Люську такую и на порог не пустил, а уж о том, чтобы денег ей на водку дать или сто грамм поднести, и речи быть не могло. Ни в кои веки...

Это было бы так, если бы Фёдор был жив. Но Фёдора не было, и баба Саня горевала об этом. Мысли у неё в голове от этих думок складывались и вдоль, и поперёк, и как попало, как хворост в костре. Сложатся, полыхнут, обдадут изнутри бабу Саню жаром нехорошим, и опять холодком со всех сторон повеет.

Денег для Люськиной опохмелки у матери не было, да она и не дала бы, а вот водка была. Одну из тех пяти бутылок, что баба Саня Люське с Андреем за картошку откупала, они не допили. Пили, пили, потом взгрызлись чего-то, к себе ушли, а в бутылке на доньшке чуток осталось, глотка на два.. Люська остатки в стакан слила, подошла к окну, нюхну-

ла, зажмурилась и выпила. Выпила не быстро, с растяжкой, чтоб водка подольше во рту поплескалась, а когда стакан от губ оторвала и глаза открыла, то чертыхнулась:

– О, Гебильс! Уже проснулся...

В окне, напротив неё, стоял Андрей и осуждающе смотрел на Люську. Голова у него болела, наверно, сильнее даже, чем у Люськи. Губы его шевелились, сквозь растительность на груди синела нарисованная каким-то умельцем давным-давно, ещё в колонии, где Андрей сидел по малолетке, кривая горбатая птица – не то орёл, не то ворон. Люська неспешно двинулась к двери, но Андрей ждать её не стал. Втянув лысую голову в птичьи свои плечики, он, сгорбленный и посыпаемый негустым дождичком, пошёл к дому. Он казался таким одиноким, таким несчастным, что Люське, идущей за ним, стало его жалко. Она бы с ним, конечно, водкой этой, поделилась бы, но её было так мало. Кстати, дом Люськин был рядом, через покосившуюся оградку. В этой оградке Люська заставила Андрея калитку проделывать, чтобы из своего двора в мамин шмыгать было удобнее. Не через улицу обегать, а прямо шмыг в калитку – и уже во дворе у мамы. А где во дворе, там и в доме. Между домами кустов никаких не росло, и Люське материн дом вместе с содержимым при незашторенных-то окнах из Люськиной кухни был виден как на ладони.

Андрей ушёл, за ним ушла Люська, всё успокоилось, и баба Саня села завтракать. Дождик прекратился, петухи своё отгорланили, рассвет пришёл совсем незаметно. Баба Саня выключила свет – в доме было уже светло. Нечего деньги жечь! Тут надо заметить, что у бабы Сани было два источника света. Электричество и лампа десятилинейная керосиновая. Керосин у неё был всегда: Колька Корнаков, сосед, привозил ей этого палева по десятилитровой канистре с нефтебазы дважды в год, по весне и по осени. Электричество хорошо для холодильника, для вечера, для утра или если бельё утюгом гладишь. А по ночам, когда бабе Сане не спалось, она зажигала лампу керосиновую. Свет неяркий – это раз, мерцает хорошо – это два, да и недорого совсем. При лампе хорошо письма писать и фотографии старые разглядывать. Сидишь в таком уюте, смотришь порыжевшие снимки и жизнь свою видишь. Хорошо...

Баба Саня завтракала не спеша. Кашка, творожок, чай с оладышком. Не спеша ела и всё к улице прислушивалась: не донесётся ли возня какая со стороны Люськиного дома. Шуму не было, и слава Богу. Она два раза даже в окно смотрела через шторку, как там дела у Люськи. Там было тихо.

А скоро пришла Ульяниха. Грузная и добрая, она была постарше бабы Сани. Жила тоже одна, ходила в тёмном платке и всегда с костылем – палкой такой несукватой, хорошо оглаженной. И при ходьбе помогает, и от собак, если что.

– Здравствуй, сестра! – Она чуть-чуть недослышывала и говорила громко.

Баба Саня отстранила посуду мытую и подошла к Ульянихе, уже примостившейся на сундуке, стоявшем в углу кухни.

– Ты почто это ночью ко мне прибежала?

– Какой ночью?

– Да этой. Я с Фёдором в баню будто иду, а тут ты припёрлась.

Ульяниха освободила левое ухо и заулыбалась.

– Опять, значит, снился... Покойники – к дождю. А я свою Ивана так ни разу и не видела. Как схоронила, так и всё. Хоть бы раз. И думаю об ём, и вспоминаю, а всё никак...

– А мне снится... – Баба Саня вытерла руки передником, посуду убрала и села к столу. – И всё молодой приходит... Я так думаю, что ещё довоенный, балхашский. Рука у него ещё здоровая, ещё не ранетая...

– Молодой – это хорошо.

– Чо ж хорошего-то?

– Как чо? К ей мужик молодой по ночам ходит, а она носом воротит.

– Да ну тебя! – баба Саня усмехнулась. – Какие тут мужики, когда и зубов во рту не осталось.

– Дак это здесь зубов нету, а во сне они все на месте должны быть. Фёдор, значит, молодой, а ты без зубов? Так не бывает. – Ульяниха оперлась о костыль и, продолжая улыбаться, переменяла разговор. – Серёжка-то пишет?

– Пишет.

– Ну и чо? Зовёт?

– Зовёт. – Баба Саня вздохнула и прошла в спальню.

Ульяниха знала, что третьего дня бабе Сане письмо почтальонша принесла, и теперь ей было интересно знать, от кого письмо и что в нём прописано. Баба Саня от Ульянихи ничего не скрывала, письма показывала, а те, которые от Сергея, порой и читала. Секретов там не было, да и какие секреты-то?! Ульяниха была неграмотная и бабе Сане втайне завидовала. А интересовалась она письмами Сергеевыми ещё и потому, что боялась: а вдруг Сергей сманит бабу Саню к себе, и уедет баба Саня чёрт знает куда, и Ульянихе сходить будет не к кому. Молодёжь кругом, а старая Быстриха не больно соседлива. Вот и старая уже, в бабсаниных годах будет, а всё корову свою доит и доит, молоко всё продаёт и продаёт. С сыном своим, бобылём-перестарком, вдвоём живут, домину отгрохали не хуже, чем у попа. Куда корячатся? Дом большой, а стоит не по-людски – окнами в огород, на улицу задницей. Забор огромный, а за ним кобель железами звякает. Как к ней пойдёшь, о чём говорить будешь? О молоке, о сливках? А кроме Быстрихи, и старух нет. Вот и побаивается Ульяниха Сергеевых писем – не ровён час задурит бабке голову. Письма пишет длинные, печатными буквами. Баба Саня когда письма Ульянихе читает, то как будто сказку рассказывает. Может, это всё, что в письмах, и правда, а может, и нет, но только Ульяниха Серёжку вживе знает, на глазах рос, добрый, чего уж лукавить.

Ульяниха уже от думок своих и запечалилась, когда её баба Саня, выйдя из спальни, окликнула:

– Спишь, чо ли? Я вот тебе письмо почитаю, не самое последнее, а какое ещё не читала, какое ещё летом пришло...

Письмо было длинное. Сначала вроде ни о чём: какая там, где Сергей живёт, погода, растут ли на даче огурцы, а потом: «...а Славка, мама, всё спрашивает, когда бабушка приедет? Ты, мама, если боишься, то давай сделаем так: ключи от избы Люське отдай, чтобы протапливала, а сама на зиму ко мне приезжай. Поживи у меня зиму, посмотри. Тебе понравится. С Татьяной ты поладишь, уживёшься, ты же её знаешь, она не вредная. А ты рядом будешь, и мне спокойнее будет. И спокойнее, и теплее. Люська-то, наверное, пьёт? А к весне, в марте где-то, я отпуск возьму и отвезу тебя, очень я по мартовским буранам соскучился, здесь буранов не бывает, здесь и морозы мягче. Лето дома поживёшь, всё обдумаешь, и будущей осенью я тебя насовсем к себе заберу. Будешь нам блины свои печь и телевизор смотреть, а то я как подумаю, как ты воду по сугробам на коромысле носишь...»

Ульяниха про сугробы услышала, про коромысло и не выдержала:

– Не знает, стало быть, что тебе воду в дом провели.

– Да я, вроде, не писала...

– А ты напиши, а ты напиши!

Баба Саня согласно кивнула и продолжала: «...на коромысле носишь, сразу тебя всю и представлю – уставшую и одинокую. Подумай, мама, и соглашайся, а Люська избу доглядит...»

Опять Ульяниха встряла:

– Как же, доглядит! Есть ей, когда доглядывать – то на работе, то с бутылкой...

– А што? И доглядит! – Баба Саня отложила письмо. – Уголь в доме есть, дрова есть – раз в сутки и протопит. А чо ещё нужно? Воровать у меня нечего...

– Дак это так... В разведку, значит, зовёт?

– В какую такую разведку?

– Ну... это... разузнать, как там да чо там...

Ульяниха больше не улыбалась, ей тревожно стало: уедет баба Саня, ой, уедет! А что? И уедет. К Серёжке, наверно, можно и уехать. Вон какие письма шлёт! И деньги присылает. Не много, не часто, но присылает. Так ведь у него же своя семья, деньги самому, поди, край как нужны. Пишет, что блинов маминих хочет. «Приезжал бы да ел сколько влезет!..» – это Ульяниха уже злилась. Вообще-то она злой отродясь не была. Откуда ж это выплеснулось? Ульяниха даже смутилась от такого беспорядка. Надо ж, как растревожилась! Серёжку-то она и сама всегда привечала и всегда говорила бабе Сане:

– Счастливая ты, Саня! И как тебя угораздило родить его на старости лет?!

– Как-как? А то не знаешь, как... Дед один умный подсказал. Я когда забеременела, он прознал и уговорил меня, рожай, мол, ни о чём не думай. Лихие времена пройдут, а это дитё к старости как подарок Божий будет. Ранние дети – не наши дети: мы постареем – и они уже не молодые, а вот поздние – к нашей старости в самый раз... Да и Фёдор настоял.

Ульяниха это слышала не однажды, но всякий раз завидовала. Хоть и не шибко, но завидовала. Ей такого совета не давали, и жила она теперь от своего сына далеко. Был он и далеко, и на пенсии уже.

– Так поедешь ай нет?

– Голова кругом идёт. Как подумаю, что всё бросать надо, немею.

– А ты поезжай, поезжай. Рассмотрись всё, разузнаешь. Может, и понравится...

Ульяниха говорила, а сама голосу своему не верила. Что плету-то, Господи! Уедет Санька, мне тогда хоть погибай...

К обеду разгулялось. Тучи ушли, солнышко появилось, но было нерадостно. Улица посветлела, и слякоть, оставленная ночным дождиком, тоже посветлела. Слякоть эта да ветерок, шуршащий голыми былками полынного, наполняли пространство тревогой и неуютной сыростью. Стояла та поздняя пора, когда ещё не предзимье, но уже и не осень, а что-то среднее между ними, когда золото ушло, а серебро не наступило. И была эта серединка такой грязной, такой дождливой, с такими длинными, пустыми ночами, что казалось, будто это не кончится.

Баба Саня каждый день обрывала листики на численнике и, надев очки, внимательно всматривалась в чёрное лунное пятнышко с пометкой «перв. четв.». Она верила в полнолуние и месяц «на молодяку» не любила. Нарождающийся месяц «обмываться» любит. И как начнёт «обмываться», так

в грязи утонуть можно. Особенно по осени. Грязь в этих краях была двух сортов – чернозёмная и солончаковая. Обе хороши!

Баба Саня уже знала, что скоро полнолуние, и, значит, погода установится, заморозки придут, солонцы окрепнут, и можно будет сходить в город к старшей дочери, к Наталье. Сходить и посоветоваться. «Будет луна, придут заморозки, тогда и пойду к Наталье. Наталья Люськи толковой, Наталья что плохое не присоветует, скажет: «Поезжай» – тогда и поеду». Баба Саня так сама себе говорила, сама с собой советовалась, хотя уже окончательно решила, что поедет. С Люськой рядом старость коротать большое терпение надо, а у Натальи у самой своего не расхлебать – три сына, и все разные, к ней не приклонишься.

Дороги дальней баба Саня не боялась. Не в таких дорогах бывала – и ничего, добрых людей на свете больше, чем злых. Когда в двадцатых годах, кинув жалкий скарб, они с Фёдором на чужих конях из тёткиного дома в степь бежали, кто их на ночлег пускал и хлебом кормил? Добрые люди! А время было не приведи Господь! Тогда добра было больше, чем зла, а теперь и подавно.

Тогда – это когда?

Баба Саня всё чаще фотографии старые вынимала, на прошлое оглядывалась...

Девятнадцатый год ей шёл, когда уланы отряда Харченко, на полных рысях двигаясь в сторону Барнаула, походя, между делом, изрубили в капусту на Крайнем илбане вооружённых вилами да косами сельских мужиков. Этой беды не случись, проскочи отряд мимо, и кто знает, как сложилась бы судьба Санина, но отряд не проскочил. Мужики сельские знали, что не бойцы они супротив строевой силы – оружия нет хорошего, и уклонились бы от этой бойни, отсиделись бы в Касьяновой балке, да Никишка Алистратов геройство своё показал. Колчаковцев, сказал, надо громить, они, мол, против крестьян. Умница, язви... Ружьё шомпольное имел, смелый был, ну и пальнул по уланам. Смешался отряд, с рысей сбился, развернул морды лошажи в сторону балки. Увидели уланы мужиков с вилами да кольями, шашками ошетинились, выгнали всех на бугор, как на лобное место, и погуляли на славу. Рубили молча, как на учениях. Всех порубили, один только и ушёл – тот самый Алистратов. Сиганул с яра, не умудрился шею сломать, до реки добежал, благо рядом была, нырнул с маху – и с концами. Под другим берегом в тальниках вынырнул, там в воде и отсиделся. А уланы тела мужицкие, кровью мазанные, по косогору разбросали, потные шеи коней рыжих в Алее омыли, лица свои боевые водой проточной ополоснули, подпруги перетянули и как ни в чём не бывало на Барнаул ушли. В трёхстах метрах от села прошли, никого больше не тронули, видно, шибко спешили, да и трогать было некого – бабы на подворьях да детвора. Они ушли, а на илбане погост вырос. Нашлось на том погосте место и Малахову Прокопу, отцу Санину.

Через месяц или чуть больше, помыкавшись на сиротском хлебе, Саня на работу пристроилась, на железную дорогу. Удобно было, хоть и далеко. Если до «железки» по прямой, то с полверсты, а если на станцию работать посылали, то ходу полчаса. Для молодой такая ходьба не в тягость, к тому же и попутчицы были, которые там же, на станции, и работали. И весело, и работать не тяжело, и на пропитание деньги появились. Саня

быстро это поняла, от работы не бегала, и костыли била, и шпалы с напарницами ворочала...

В то же лето в самом начале сентября на станцию на рассвете со стороны Шипуново в скотском вагоне привезли под конвоем пленных колчаковцев. Двадцать два человека привезли, девятнадцать офицеров и трёх рядовых. Народ на станцию сходил на пленных посмотреть, злорадствовали многие, убиенных на Крайнем илбане вспоминали, смерти быстрой пленным желали. «Колчаку хана», – кричали. Хотя кто как, кто и не кричал. Саня на пленных смотрела, отца порубанного вспоминала, а зла у неё на душе не было. То были уланы и на Барнаул ушли, а эти не уланы, и привезли их с другой стороны. Конечно, и те, и те для красных враги, ну так это для красных, а Саня была никакая – ни красная, ни белая. Саня смотрела сейчас на пленных с жалостью. Хоть и были они оборваны, без сапог, но по уцелевшим погонам, болтающимся на плечах, в глаза бросалось сразу: эти офицеры, а эти простые. Они и держались двумя группами – девятнадцать и три, отчего сразу видно было, что они и в плену разные. Руки у всех были за спиной связаны. Вот и сами разные, и судьбы у них разные, а похоже, что судьбы их нынче в одной точке сойдутся. Саня тогда на одного из рядовых быстро заинтересованно смотрела. Был он не очень чтобы высокий, но стройный, лицом рябоват, но красивый, нос прямой с горбинкой, волосы чёрные, ровные, а на лоб два кольца упругих спадали.

Саня догадалась, что пленных дальше не повезут. Если бы дальше везли, то на станции ссаживать бы не стали, а уж если выгрузили, то неспроста это. Сердце у Сани стучать стало как-то неровно, и кровь в голове зашумела. Что с ней творилось, она не знала, только всё дольше и дольше на этого, у которого нос с горбинкой, смотрела.

К полудню на станцию сам Коняев прискакал, председатель комитета. С ним был и Марина Гудзо, который не то чех, не то поляк, но лютый, хуже зверя. Соскочил с коня, пленных осмотрел, нагайкой по голенищу стукнул и, твёрдо ступая, пошёл звонить в Барнаул. Звонил долго, но не дозвонился. А кто говорил, что и дозвонился, только вернулся он той же властной походкой и решительно сказал:

– Ведите всех к мосту железнодорожному...

Потом ещё что-то, с седла свесившись, сказал старшему по конвою и пустил коня с места намётом. Коняев остался на станции по своим делам.

Народ понял, что пленных расстреляют, и заволновался. Не очень заволновался. Заволновался и тут же стих, вроде той волны, что на ровной воде вдруг встанет и тут же на нет сойдёт, как будто её и не было. А потом бречку с пулемётом пригнали. Всё было страшно и безысходно.

Пленных вели колонной по трое. Последним шёл тот самый, у которого нос с горбинкой. Босой, он шёл легко и свободно, как будто и не на расстрел. Колонну вели по пыльной сентябрьской земле. Вели вниз к реке Горевке, над которой свесил своё чёрное брюхо железнодорожный мост. За Горевкой и расстреливать должны были. Оттуда сподручней потом на илбан мертвяков свезти и в яме зарыть.

Желающих смотреть расстрел оказалось мало. Саня оставила работу и, очевидно, не совсем понимая куда идёт, шла за расстрельной командой вместе с поредевшей толпой среди первых. Шла как заколдованная. Не надо бы было ей идти, но она шла и не знала, почему делает это. До неё дошёл весь ужас происходящего только тогда, когда пленным развязали руки, заставили снять верхнюю одежду и ровной, насколько возможно, шеренгой в белом исподнем поставили вдоль железнодорожной насыпи. Развернули бречку

с пулемётом. Командовать расстрелом Коняев прискакал сам. На Крайнем илбане в той стычке с уланами у него старший брат был убит.

Расстрел Саня смотреть не решилась, выбралась из толпы и быстро-быстро уходить стала. Сначала быстро, а потом побежала. Было жутко, а когда ей, отбежавшей уже прилично, по ушам ударила захлёбывающаяся пулемётная очередь, она прикрыла уши руками и, не передыхая, запалённая бегом, ворвалась на станцию. Отдышалась, успокоилась, а перед глазами возник он. Босой, в белом. Один стоит, улыбается и в небо смотрит, а других расстрельных рядом с ним как будто и нету...

Баба Саня стояла во дворе перед чёрным пустым огородом, смотрела на раскисшие солонцы и не видела их. Она видела далеко правее солонцов железнодорожный мост, крутую насыпь и думала, что мост-то она видит другой, не тот. Когда вторую железнодорожную ветку вели, то и мост новый построили, и загородил новый мост тот старый, и теперь из-за нового моста старый не виден, и насыпь другую под новую линию насыпали. И насыпали как раз на расстрельном месте. И мост другой, и насыпь другая. А место не другое. То место! Там, там, под новой насыпью, лежал когда-то в бурьяне Фёдор её, пулемётной пулей пробитый. Она, как сейчас помнила, что стоял он третьим с краю, с двумя упругими кольцами на лбу, с лицом каким-то безразличным, и что-то он тогда, как ей показалось, губами шевелил. Может, молитву шептал, да навряд ли. Он и по жизни к Богу на поклоны не ходил. В старости не ходил, а что о молодости говорить-то. И всё же зачем он губами тогда шевелил? О, старая! Жизнь прожила, а о чём Фёдор перед расстрелом шептал, так и не узнала. Всё некогда было.

Солнце низом своим по горизонту чиркнуло, когда Саня, оставив работу, подошла к Горевке, к тому месту, где ещё недавно пленных убивали. Путь её домой лежал как раз под мостом, где камни гранитные по мелководью через речушку выложены были. Перейти через неё, подняться чуток выше и правее – и как раз на расстрельное место выйдешь. Место это можно было и обойти, взять ещё правее и лугом, лугом, забирая влево, на дорогу опять и выйти. Но Саню словно кто тянул за руку пройти именно мимо расстрельного места. Мёртвых она не боялась. Когда уланы ушли, село рёвом ревело, собирая куски мужиков, порубанных на илбане. Не до страха было. Головы отрубленные к телам пристраивали, на телеги грузили и в село везли. Всё было как в страшном сне... Страшно было, но ведь это уже – было.

Саня перешла речушку, и было ей ничуть не тревожно, тем более что убитых уже убрать были должны. Узнать бы, где зарюют, уж больно того, рябого, жалко. Да и не просто жалко, а стоит он у неё перед глазами вот уже полдня. То как будто улыбается, то грустный, и всё губами о чём-то шевелит. Будто шепчет что. А может, ей кажется так.

Расстрелянных не убрали. Саня задохнулась от увиденного, когда от Горевки вверх выбралась. Мёртвые лежали вдоль насыпи, в перемятом и переломанном бурьяне, светясь в вечернем свете рубахами своими белыми. Похоже, что были они здесь все. Ни одно тело не увезли и не закопали. На утרו оставили.

Он стоял в строю третьим с краю. Третьим с краю он и лежал. Он лежал на спине в полный рост, во всю свою длину, подвернув под себя левую руку. В правой руке была травинка. Прижала Санька руки к груди своей и окостенела на мгновение. Стоит и на лицо его, оспинами меченное, смотрит. Смотрит Саня, смотрит и глазам не верит: лицо-то убиенного живое, у всех лица бледные, а у этого вроде как румянец даже на щеке играет. Наклонилась над ним, а у него на виске жилка синенькая тикает...

Сколько лет прошло, а жилку ту синенькую баба Саня до сих пор видит. Прикроет глаза и видит. Реденько она тогда билась. И как Саня её усмотрела? Отведи она на миг глаза в сторону – и жизнь по-другому бы сложилась. Кто знает, какая – лучше ли, хуже?..

Двадцать второго Марина Гудзо тогда сам искал. Всю станцию обшарил, все дома ближние. По селу, где Саня жила, два дня люди с винтовками ходили, все чердаки, все чуланы перерыли. Но не нашли. Двадцать одного похоронная команда в яме зарыла, а о двадцать втором только слухи по домам разспозлились. Долго сыскные рыскали, но до правды так и не докопались. Коняев наганом стращал Марину, к стенке грозился поставить, но дело не сдвинулось ни на шаг. Двадцать второй как сквозь землю провалился.

Мать Санина, сорокатрёхлетняя Дарья Никифоровна, жизнь прожившая в спокойствии и мире, от гибели мужа ещё не отошедшая, только рот ладонью прикрыла, когда под вечер, придя со станции с работы, дочь со слезами на глазах и в голосе призналась ей:

- Живой он, мама... В копёшке за нижними талами лежит.
- Да ты сдурела никак!
- Нет, мама, не сдурела.

Санька смотрела такими глазами, и столько в этих глазах было всего, что мать только обессиленно развела руками и села на лавку.

- Значит, ночью ты с тележкой не за сеном ездила? Его таскала, что ли?
- Его...
- Как же управилась?
- Да он лёгкий, мам...
- Ишь ты, лёгкий! И накай он тебе сдался такой лёгкий?
- Сдался, мама, сдался...

Саня потянула с головы платок и села рядом с матерью. Была она такая простоволосая, такая беззащитная и светилась таким светом, что мать даже от неожиданности вздрогнула.

- Ой ли... Что ты, Саня! Как же это так? Ты же его и не знаешь...

– Узнаю, мама, узнаю. – И видя, что разговор переключивается в её сторону, заспешила. – Он живой, понимаешь, и целый. Только вот здесь, – она показала на свою грудь, – только вот здесь дырочка маленькая и на спине под лопаткой такая же. Кровь даже и не идёт...

- Не дострелили, значит. И чо делать теперь?
- Не знаю... Лечить, наверно, – Саня заплакала.

– Лечить... Как же! Башка твоя дурья! Да ты дважды на дню сбегай в эти талы, и через день нас обоих повесят. Знаешь, Марина какой злой был! Весь сарай перерыл, пока ты на работе была. Весь! Даже гнёзда куриные, что в корзинах были, ногой посшибал. А ты – лечить... Не реви. Сейчас сала бы сусличьего добыть.

Сказала мать про сало сусличье, и у Сани глаза просохли. Много ли человеку для счастья надо? Может, много, а может, одного слова хватит.

- В какой копёшке спрятан, говоришь?
- Во второй. От Мотькиной калины к Алею во второй как раз.
- Водой хоть попоила?
- Не пьёт он, мама. А рану перевязала.
- И то...

Когда стемнело, Саня туго перевязалась чистым полотенцем, заткнула за него чекушку с водой, сверху кофту накинула и на «гулянки» пошла. Саня ушла на «гулянки», а мать поспешила к Степановне сало сусличьё добывать.

Утром Саня на работу ушла, мать с коровой разобралась, прихватила ведро и, громко переговариваясь с соседкой, пошла к Алею за ежевикой. Ежевики в забоках было много. Дня четыре подряд ходила она за этой синей ягодой, а когда Фёдор в сознание пришёл, ходить перестала. Соседке объявила, что всё, ежевики, мол, на два года набрала.

А Саня на «гулянки» продолжала бегать. Обмотается чистым полотенцем, еды какой прихватит – и пошла. Утром она на работу, а мать полотенце, кровью меченное, простирнёт и, хоронясь от соседей, высушит. Через время Саня и бритву отцову, и помазок с мылом, и ножницы с гребнем на «гулянку» унесла. А в конце сентября Фёдор своими ногами ночью в их дом пришёл. И сам пришёл, и такую тревогу с собой принёс, что мать Санина и думать боялась. Двадцать второго уже по избам не искали, и все вокруг как бы успокоились. Но попробуй ворохни это! Любой, увидев в малаховском доме чужого, тут же разнесёт по селу эту новость. А там и Мари-на даст о себе весточку, не задержится. Этот комитетчик своих не щадил, а чужака, да ещё такого, живым зароет.

Лунное пятнышко на календарном листочке почернело, округлилось, и баба Саня облегчённо вздохнула. Дожди кончились, утренники начались, и солонцы подвяли.

Наталя по первым заморозкам пришла сама, и бабе Сане не пришлось выкручивать ноги, ступая по замороженным комкам грязи. Наталя ещё и через порог не перешагнула, а мать уже чайник на середину плиты подвинула – старшая дочь чай любила.

Наталя старше Люськи была, но Петра помоложе. Жила ничего, если бы не младший сын. Старшие жили отдельно, а младший никак ума не мог набраться. То выпивал, то травкой стал баловаться, семьи своей не имел, у мамки грелся. У мамки хорошо – и сыт, и обстиран, и голова не болит.

Баба Саня Наталю уважает, но позови Наталя её к себе на жительство – не пойдёт. Там непокой, там сынок куролесит. Между кувырками и обидеть легко может. А бабе Сане это нужно? Баба Саня сама в жизни никого не обидела, и сама обиженной быть не хотела. Когда в войну ленинградцы эвакуированные по местным распределялись, она помнила, сколько среди приезжих было обиженных и униженных. Сколько их тогда волосы на голове рвали, когда получали вскрытый и разворованный багаж! А сколько местных тут же обидели! Люди от беды спасения искали, к своим ехали, а свои же их и обижали. Была одна такая эвакуированная и у бабы Сани. Не совсем, чтобы у бабы Сани, а при экспедиции поселена, в пристройке. Варечкой звали. Когда уезжала, то отблагодарить пыталась. За доброту. Колечки с камушками давала, да баба Саня рукой игрушки отодвинула.

– Окстись, девонька, али я некрещёная..

Баба Саня была крещёная и крестик на груди носила по праву.

В тот вечер она сидела с Натальей долго. Спешить было некуда, Наталья пришла с ночёвкой. Уже и Люська два раза прибежала – то соль ей вдруг мелкая понадобилась, то луковица. Ума на большее, чем луковица, не хватало, но ей было очень интересно знать, о чём же это мать с Натальей речь ведёт. Наталья же лишнего при сестре не говорила, только на здоровье пожаловалась. Люське до её здоровья дела не было, у Люськи своих забот хоть лопатой гребли. Третьего дня Андрея за пьянку с работы погнали, от сына Кольки из Рубцовска, где он на токаря учился, второй месяц ни письма, ни весточки, до зарплаты восемь дней, а у неё в кошельке два рубля с копейками.

Наталья с матерью уже постели разобрали, когда Люська заявила в третий раз. Пришла вся воинственная и деловая.

– Я, мам, забыла сказать, я там договорилась, в гортопе, и завтра уголь тебе привезут. Две тонны.

– А какой он мне? – Баба Саня удивлённо поглядела на Наталью. – Я ж разве просила? У меня угля ещё года на два хватит.

Наталья усмехнулась, Люська усмешку заметила и, поняв, что манёвр её войти в разговор не удался, напустилась на сестру.

– Всё секреты разводишь? Думаешь, я не знаю, куды ты метишь? Я маме во всём помогаю, я! И дом этот – мой! Я маму отсюда никуда не отпущу.

И с этими словами уселась на стул около печки. Уселась по-хозяйски, словно бабы Сани здесь и не было.

– О! Хозяйка нашлась. Ты эту хреновину из головы выбрось. У тебя мозги от водки совсем усохли. – Наталья на слово была хлёткая, и если что, брила наголо. – Свой дом сначала до ума доведи, потом до маминого добираться. Ишь, наследница выискалась!

– Да, наследница! Дом этот мой, и всё. А мама будет жить у меня!

– А маму ты спросила? А меня? А Сергея с Петром? Как легко решила: «дом мой». Сейчас, как же... Серёжку забыла?

Люська Сергея не забыла, Люська Сергея помнила. Помнила и ненавидела.

Когда Фёдор заболел и врачи сказали, что надо готовиться к худшему, баба Саня про беду такую и Петру, и Сергею написала сразу же. Пока письма ходили, пока то, пока сё, Люська быстро сообразила что к чему и выгребла из буфета у бабы Сани всю посуду серебряную. Баба Саня зароптала, но дочка бунт этот быстро погасила.

– Ты, мать, век свой со мной доживать будешь. Умрёт папа, я тебя здесь одну не оставлю. Отдадим с Андреем тебе комнатку нашу дальнюю, а этот дом или продадим, или ещё что... Там видно будет.

Она так легко сказала «умрёт папа», так просто решила поселить мать в дальнюю свою комнатку, что баба Саня растерялась, оцепенела даже и ничего ей в ответ сказать не смогла. Она ещё верила, что Фёдор поправится, коренья отваривала, чагу, поила этими отварами слабеющего мужа, видела, как он уходит, и всё равно верила. Ведь могут же и врачи ошибаться. Пётр на письмо ответил, но ничего не обещал, у него тоже со здоровьем было неважно, а Сергей пообещал выхлопотать отпуск и вскоре приехать.

Лето шло, и в начале августа Сергей приехал.

Врачи не ошиблись. Фёдор умер легко. В сознании был и даже слова сказал. Не бабе Сане сказал, а Сергею.

– Маму догляди... Сам догляди, Люське не отдавай...

Сказал и к стенке отвернулся. И всё. Баба Саня слова его последние слышала и поняла, что они теперь как тайна самая тайная принадлежат только ей и Сергею. Отбили телеграмму Петру. Прилетел.

На другой день после похорон, когда с утра сходили на кладбище, уже дома, сидя за поминальным столом, Люська не выдержала и, находясь в лёгком подпитии, все планы свои и раскрыла. Так, мол, и так, поскольку я к маме ближе всех, то я маму и догляжу. Будет жить она у нас с Андрюшей в дальней комнате, мы так уже и решили с мамой, а дом продадим. Я уже и покупателя нашла – Юрку Шатохина, он его сыну своему Вовке купит.

Молчала баба Саня, остальные переглядывались и тоже молчали, а Люська это почувствовала как согласие с их стороны и продолжала:

– Нет, дом, наверно, продавать не буду. Много за него не дадут, а мы лучше из него сарай хороший сделаем. Печку Андрюша уберёт...

– Ну дела! – Сергей смял сигарету и резко встал.

Зная характер младшего брата, Наталья вся сжалась. Пётр отвернулся.

– Та-ак... Значит, маму в келью, а сюда курочек с гусаками запустишь или свиней каких? – Он посмотрел на растерявшуюся мать, потом на Люську. – Ты, значит, с мамой так решила? Что-то я сомневаюсь, что мама согласна. А мы вот у неё сейчас и спросим...

Потом был крик. Люська кричала и топала ногами. Она понимала, что если сейчас на своём не настоит, то все её планы пойдут кувырком. Она этого не хотела, она уже в уме всё распределила, она уже была на целый дом богаче, и тут этот... Как она его ненавидела! Скандал погас быстро, как и начался. Сергей его погасил несильной оплеухой, от которой Люська, и не охнув, боком выпала через порог в сени. Андрей не вступился, только Наталья зашумела.

– Не надо, Серёжа, не надо!

– Да я что? Я ничего... Ты на маму посмотри. Нашла кого жалеть! Ни черта ей не будет, а промолчим – маме хана. Она ж всё променяет на водку: и маму, и дом. Сарай, видите ли, ей шибко надо. Как же...

Наталья после скандала убралась к себе домой. Уходя, матери шепнула:

– Ничего, мама, ничего. Ей давно пора укорот сделать. Ты не переживай, всё образуется...

Люська как с криками ушла, так больше и не приходила. Всё успокоилось. Потом была ночь, в которую ни Пётр, ни Сергей, ни баба Саня не спали. Они долго судили и решали и договорились, что баба Саня пока поживёт одна. Она ещё в силе, пенсию за Фёдора будет получать. Фёдор воевал, был награждён орденом, по инвалидности имел первую группу – за три месяца до смерти дали. Да и сыновья обещали помогать.

Утром Сергей к Люське ходил. Что он там говорил, баба Саня не узнала, и шуму не было, только вернулся от сестры со всем тем серебром, что Люська у бабы Сани месяц назад выгребла. Да там и серебра-то... Но всё равно бабе Сане было очень обидно за тот Люськин поступок.

Через три дня улетел к себе домой Пётр, а Сергей весь отпуск у бабы Сани провёл. Забор поправил, калитку, лист оторванного шифера на крыше закрепил, бурьян тяжёлый в низине огорода выкосил. Три раза за Алею ходил, ежевики бабе Сане на зиму заготовил. Картошку копать было ещё рано, и он об этом сожалел.

– Ещё бы пару недель – и картошка как раз бы подошла.

Но картошка не спешила, а отпуск кончился.

Потом и Сергей уехал. Сергей уехал, и в доме тихо стало. Никто не ходит, никто не разговаривает. По ночам спать тревожно. И тревожно,

и неудобно, даже холодно как-то. В одну из таких тревожных ночей Фёдор и пришёл к бабе Сане первый раз, в смысле, после смерти. Колготилась вечером, колготилась, да всё по мелочам, по-пустому, и сморилась. Спать легла, а дрёма её как одеялом нагретым укрыла. Только дремать начала, только глаза крепко сплющила, слышит: где-то над ней высоко-высоко конь негромко ржёт.

Подняла баба Саня глаза, а перед ней гора крутая-прекрутая. И по этой крутизне ни одной тропки, всё песок какой-то сыпучий, а баба Саня совсем и не баба Саня, а просто Саня, только уже мужняя. Ни одной тропочки по этому песку не видно, а Сане край как на эту гору надо. Смотрит она наверх, смотрит, а по самому краю горы конь гнедой масти ходит. Точно такой же масти, как под теми уланами, что мужиков на Крайнем илбане порубили. Ну, может, чуть порыжее. И Саня знает, что ходит этот конь не просто так. Он будто бы Саню ждёт.

Саня только к горе подступится, только на шагок поднимется, а песок вниз и сползёт. Она пытается ещё раз и ещё раз. И так ей досадно становится, что не может она с этим песком справиться, а конь будто бы к ней боком встал, и видит она, что он под седлом. Значит, точно её ждёт. Тут и слышит она голос Фёдора:

– Что ж ты в песке толчешься, ты вон там попробуй, где крушина растёт.

Смотрит Саня: а и правда куст крушины растёт рядом. Как же она его раньше не видела? Стоит куст, а вокруг него всё ежевика да ежевика. Такая густая, и плети сверху горы до самого низа спущены, только берись за них и поднимайся. Полезла Саня вверх и диву даётся – легко-то как она поднимается, а плети ежевичные мягкие, будто шёлковые, и на них ни одной иголочки. Вылезла Саня на гору, смотрит – а конь-то это их. Мухортик! Тот самый, которого Фёдор на Орловом мысу поймал.

Подходит она к коню, а конь и сам к ней идёт, губой рваной вздрагивает. Саня стремя в руки берёт, садиться в седло хочет, а Фёдор будто бы её за талию сзади подхватывает и сеть помогает.

– Ты пока одна поезжай, а я после приду.

– Куда ехать-то? – Сане в седле удобно, и стремена впору, как будто под неё подогнаны.

– Прямо и поезжай... Коня у брода напои.

– А ты когда придёшь?

– Скоро... Как только Марина меня убьёт, так я и приду.

А Саня ему и говорит:

– Так он же тебя уже убивал.

– Нет, не убивал. Убивал Коняев. А теперь Марина должен, иначе никак... – А сам улыбается.

Саня верит Фёдору, соглашается с ним, и ничего-то ей не страшно. Пустила коня, а где-то под горой, далеко внизу петух вдруг закричал, да так ясно, будто жильё рядом. Только о жильё подумала, только угол дома бревенчатого как бы показался, тут и проснулась.

Проснулась баба Саня, а по окнам уже рассвет шарит, а в сарае петух кричит. Вот он, горластый, откуда в сон попал. Из сарая бабсаниного.

Мухортик... Гнедой жеребец, с белыми тонкими бабками, с желтоватыми подпалинами в пахах и рассечённой верхней губой, появился в доме Фёдора и Сани совсем случайно.

Когда Санина мать со слезами на глазах благословила молодых иконой и дала своё родительское согласие на их брак, то и двух дней не прошло, как тёмной сентябрьской ночью по залитой дождями луговой тропке проводила она их к переправе через Алей. Ни Фёдор, ни Саня ещё не знали, в какую дальнюю дорогу они вышли. В селе Фёдору оставаться было нельзя никак. Люди Марины нет-нет да и наведывались и как бы ненароком, а всё о двадцать втором выспрашивали, да только никто ничего не видел. И не видел, и не знал. И это было правдой. Спрашивать вооружённые люди спрашивали, но ни имени, ни фамилии Фёдора не называли. Не знали, не было никаких документов на тех пленных, ни списков, ни фамилий, только число, и то устно – двадцать два, и всё. Да им Фёдора в лицо покажи – они опять бы не решились, он это или не он. Не знал его в лицо никто. Конвойные, если бы увидели, то, возможно, и признали бы – рядовой был не совсем обычный, была в нём изюминка какая-то, и стать, и чуб, и вообще.

Никто не знал, никто не помнил, а Марина знала. И знала, и помнила. У этого комитетчика глаз на лица был намётан, и Фёдора он ещё там, на станции, приметил, всех бегло осмотрел, а на нём задержался. Фёдор эту задержку отметил, но глаза отвёл. Зверю в глаза смотреть опасно. Этого особого среди убитых Марина после расстрела и не нашёл. Нос с горбинкой, лицо в оспинах, да ещё этот чуб, на лоб падающий. Как не запомнить! Красивый, Марине не чета. Может, это и бесило Марину больше всего. Как же! И красивый, и жить остался. Красивый – это всё одно что талантливый. Он талантливый, а ты бездарь, в смысле урод; у него руки за спиной связаны, а у тебя наган в кобуре, и революция кругом. Кругом революция, у тебя власть, а пристрелить некого. Просто беда... Вот и беленился комитетчик, чувствовал, что живой где-то этот недостреленный ходит, живой. Добыть бы его да добыть бы...

А потому и было решено уйти Фёдору с Саней к Саниной тётке по отцовской линии в село Чистенькое, что ниже по Алею вёрст за тридцать. Если всё сложится, то там пока и обосноваться. Не всегда же время смутное будет, страшные силы в боях сошлись, но какая-то да переможет. Уже перемогают. Колчаковцев то там разобьют, то там. Мамонтовские партизаны набрали силу, а им вслед революционная власть крепко на ноги становится. А как только эта власть шататься перестанет, так и буря успокоится, всякая муть в осадок выпадет и жизнь высветлится. Но пока до той жизни высветленной было далеко, много дальше, чем до Чистенького, куда шли с узелками той ночью Саня с Фёдором.

Тётка их приняла. Скупой приняла, суховато, но молодые и этому были рады. Саню в Чистеньком знали, она сюда часто с отцом своим Прокопом наведывалась, а Фёдором поинтересовались постольку-поскольку. Муж Санин и муж...

Дня через два, когда Фёдор, выломав в плетне два сгнивших звена, вокруг вбитых свежих кольев заплетал новые хлысты, подошёл к нему Иван Нестеров, представитель местной власти, и разговор завёл.

Спрашивал прямо, не лукавя:

– С каких краёв родом будешь?

Фёдор вынул из связки чашину, погладил пальцем срез, улыбнулся и рукой на восток махнул.

– С гор. Из-за Чарыша.

– А в наши края каким ветром задуло?

– Каким ветром? – переспросил Фёдор и улыбку погасил. – Ветер в России сейчас один, вот им и задуло.

– Да-а, – протянул Иван, – времечко тяжёлое. Ну ничо, перебудем... А плетень-то ты, паря, ладно плетёшь. Приходилось, чо ли?

– Дак не из бар, как же не приходилось? – Фёдор тряхнул чубом. – Без плетня какая жизнь? Что без плетня, что без коня. Голый двор... А голый двор что баба без мужика: кто ни пройдёт, тот и щипнет.

– Это ты верно говоришь! – Ивану Фёдор понравился: вроде молодой, а рассуждает серьёзно.

А Фёдор и впрямь на жизнь свою новую смотрел серьёзно. Плетень поправил, топор наточил и три дня в талах на Орловом мысу жерди осиновые рубил. Рубил и тут же шурился. Сарай тётке выправил, балки полусгнившие подпёр. До весны, сказал, выстоят, а летом новую крышу пообещал сделать.

Смотрела тётка на старания Фёдора и Сане говорила:

– Ну, Саня, толковый мужик тебе достался. Хоть и рябой...

В конце октября, когда опал весь лист и околки оголились подчистую, Фёдор поправил на осёлке топор, прихватил нарезанного хлеба да пару варёных яиц и подался в талы на Орлов мыс чащу рубить. В такое время, прихваченная первыми утренниками, чаща рубится в удовольствие и выносить её сквозь заросли на поляну нетрудно: лист осыпался, жилены лёгкие, руби да выноси и в будущие связки укладывай. Ударит мороз, схватится Алей, и по первому снегу можно будет на санках всё перевезти к дому, где чаща за зиму проморозится, за весну подвялится, а летом ею и крышу можно будет обновить, да и плетень тоже.

Он уже заканчивал работу, когда вдруг послышалось конское порсканье. Фёдор замер, прислушался, а сквозь кусты, на той самой опушке, где чаща в кипах лежала, вроде тень качнулась и снова порсканье послышалось. Фёдор на поляну вышел, коня увидел. Увидел и понял: либо всадник коня потерял, либо конь всадника. Грива и хвост репьем забиты, седло набок съехало, поводья уздечки по шиву порваны и у ног передних болтаются.

– Ох, Господи... – Фёдора озноб прошиб.

Чужой конь, ничей! Только бы до уздечки добраться. Хлебца бы сейчас с воробьиный бы клюв. Хлеб есть, в тряпице на ворохе чащи лежит, в трёх шагах, но сделать надо эти три шага по направлению к коню. Испугается и уйдёт. Фёдор к тряпице подвигается, а сам на коня смотрит, на уши его. Не понравится ему что-то в Фёдоре, мотнёт головой, развернётся задом – и попробуй его возьми! Ты шаг, и он шаг, и будешь за ним до ночи ходить и не подойдёшь. Ладно к узде не подпустит, так ещё и копытом ударит.

И Фёдор рискнул. Отвёл глаза свои от коня, смотрит как бы в сторону, к хлебу подошёл, а сам глазом ловит – как он, конь-то? А конь стоит и ушами не прядает. Смотрит Фёдор на ноги его, хлеб из тряпицы вынимает, а самого чуть ли не дрожь бьёт. А когда хлеб на правую ладонь положил, когда левую руку за спину убрал, чтобы не мешалась, чтобы коня ненароком не напугала, когда в глаза коню посмотрел, то понял: не уйдёт, хлеб зачуял.

– Косенька, кося, кося, – еле слышно прищёпывал Фёдор и мягкими шажками осторожно продвигался к коню.

Всего шаг до коня оставался, когда тот сам к ладони потянулся. Задрожала у коня верхняя рассечённая, но уже зажившая губа и в ладонь с хлебом ткнулась.

Первое, что сделал Фёдор, разнуздал коня, железо изо рта вынул. Конь жевал хлеб, смотрел на Фёдора, а Фёдор гладил его большую тёплую морду и только сейчас начал понимать, какое счастье ему привалило.

Конь! Может, и правда есть на свете Бог, что вот так ни за что ни про что взял и одарил человека счастьем. Теперь с конём было очень легко

решать многие житейские вопросы. Как коня звать, Фёдор определил сразу – Мухортик. Гнедого с жёлтыми подпалинами в пахах иначе не назовут.

Фёдор осматривал помятые удилами губы коня и сокрушался:

– Сколько же дней ты с этими железками ходил?

Конь на вопрос не отвечал, тянулся к Фёдору губами, косил глазом, прядал ушами и было ясно: долго ходил, но теперь ему хорошо.

Потом Фёдор, связав поводья порванной узды и пристегнув коня к растущей осинке, снял с него седло. Седло было новое из красной телячьей кожи, а с правой стороны к нему сумка приторочена. Тоже кожаная и тоже новая, и была она застёгнута на жёлтую бронзовую пряжку. В ней что-то было.

Пряжка щёлкнула сочно и мягко. Фёдор клапан отвернул и по сторонам оглянулся. В сумке, глядя чёрным дулом вверх, лежал наган, а ниже – жёлтенькие, как жёлуди, патроны насыпаны. Пригоршни две будет, подумал Фёдор, примеряя к ладони холодную воронёную сталь. С наганом встречаться ему приходилось – точно такой у отца, Ивана Романовича, был. И стрелять тоже приходилось – отец научил. С таким наганом, заткнутым за ремень за спину, в той прошлой жизни ему не раз приходилось кожи готовые везти в Рубцовск к Парфёнову, потому как времена были уже смутные, германская война шла, и непонятный люд в степи нет-нет да и появлялся. Когда Фёдор попытался зачерпнуть в ладонь десяток патронов, то увидел ещё и табакерку. Изделие из чёрнёного серебра было невелико, но на вес оказалось тяжеловато. На крышке выдавлена скачущая тройка, а внутри лежали плотно сложенные в столбик и туго замотанные в голубой бархат золотые десятирублёвки. Бархат был перевязан ниткой. Монет было восемнадцать. А к монетам ещё и довесок: в отдельном бархате – серьги золотые, пара, с бриллиантами. Фёдор бриллианты оценил сразу, они были крупнее тех, что его мама в своих серьгах носила.

Золото...

А рассвет по окнам шарит сильней и сильней. Петух затих. Проголосил ещё раза два и успокоился. Уже светало, что голосить-то. Бабе Сане не хотелось вставать, ей хотелось опять туда, в сон свой опуститься и досмотреть, что же за дом показался такой бревенчатый?

Ей прошлое было жаль. Вроде жаль, а вроде и не жаль. О Господи, она вздохнула, какое ж оно, это прошлое, сладкое, какое тревожное... Сколько ночей бессонных пришлось пережить им с Фёдором, укрывая жизни свои от всякой лихости. И вот удивительно: сколько прошли загородок, сколько петель да крюков миновали – и ничего. Бабе Сане порой казалось, что она не жизнь прожила, а сон просмотрела, как-то всё легко и просто получалось, и она подумывала, а может, это не жизнь была, а сон длинный-предлинный и жить ей ещё предстоит. И тогда она вздрагивала: нет, такую жизнь снова прожить ей не хотелось.

– Ишь ты, ещё одну такую же... Накой?.. Нет уж, как прожили, так и прожили, не хуже других, а то, что бегали, так не мы одни, все бегали. Кто мог, тот и бег...

На сорок дней пришли Наталья, Ульяниха с соседями. Пришла и Люська с Андреем. Сидели недолго, не праздник. По паре стопок выпили, огурцами солёными похрустели, покойного добрым словом вспомнили, и сумерки ещё не наступили, когда все разошлись. Люська водку не пила, так, пригу-

била чуть-чуть и в основном молчала. Она сидела и делала вид, что если бы не сороковины, то и ноги бы её здесь не было.

Потом подошла картошка. Убрали картошку, подошла капуста. Засолили капусту. Выпал снег. Первую зиму без Фёдора бабе Сане было тяжело. Печь растопи, снег расчисти, воды из колодца принеси, живность накорми. Хоть и куры, а жрать просят. И, главное, поговорить не с кем. Ульяниха разве когда наведается. Туда-сюда – и вечер. Зимний день короткий, зато уж ночь длинна. И если бы не фотографии...

Мало их у бабы Сани, этих фотографий. Не то время было, не до красований. Иван Нестеров много позже разговора с Фёдором в Алейск мотался, на станцию. Вроде, утихомирилась округа, но глаз революционный должен быть зорким, а Иван был революции предан. Ей, этой революции, тогда поверили, и многие многих с этой верой и в землю положили. Никишка Алистратов, когда по уланам стрельнул, тоже в красную правду верил. Чем дело обернулось? Сам спасся, а полсела на илбане зарыли. Иван Марине Гудзо, когда на станцию по делам приехал, первым делом и доложил. Так, мол, и так, появился в Чистеньком новенький какой-то, Саньки Малаховой, дочка Прокопа, уланами убитого, мужик, что ли? С гор будет... Вот и забота, думаю: пошто не у мамки пожилось, пошто к тётке пристали? Такой вопрос вам и докладую.

Марина, сидевший за столом в позе хищной птицы, аж привстал и на крылья чёрные опёрся.

– Чужак, говоришь? С гор, говоришь? А на вид каков?

Иван и обрисовал Фёдора. У Марины в глазах звёзды заиграли.

– Выплыл, значит... Никому ни слова! Ты меня слышишь?

Иван Марину хорошо слышал.

– Сегодня не могу, завтра тоже, а третьего дни жди меня в Чистеньком. Не спугни...

А ещё Иван сказал, что у этого чужака конь откуда-то появился. Безлошадный был, а тут такого красавца мухортого во двор привёл, глаз не оторвать.

– Спрашиваю: откуда жеребец, чей? А он мне сказку рассказывает, в околке, мол, поймал. Бесхозный, мол. Чащу, мол, рубил, а он и прибил. Я что-то не верю. Ни к кому не прибил, а ему фарт, видишь ли, как с небес.

– Жеребец? Жеребец – это хорошо. Нам кони нужны. Ступай и слово моё помни, а за службу благодарю.

Иван наказ помнил, дважды с Фёдором ни о чём потолковал, а на третий день Марину дождался. Марина не мог не приехать, только приехал он, когда уже сумерки спускаться начали. Приехал один. Коник под ним был другим не чета. Ещё бы! Главный надсмотрщик, комитетчик, он сам решил дело справиться, исчезновение двадцать второго считал личным поражением. Расстрелянный убёг, что за шутка? Над кем?

– В каком доме будет?..

Ноябрьские звёзды в преддверие холодов густо украсили сибирскую ночь, когда Марина въехал в раскрытую воротину тёткиного подворья. Увидел хрустящего сеном коня, лихо покинул седло, ощупал в кобуре наган и наскоро привязал к прожилине своего вороного. Что-то он заспешил, и въехал не тихо, и с седла спрыгнул очень уж по-боевому.

А Фёдор не спал. Молодая жена, молодая кровь, молодые мечты. Да и вообще, мало ли что молодая жена с молодым мужем перед сном делать могут. Могут о любви говорить, могут о жизни, тем более что впереди было не всё прозрачно. Молодые понимали, что здесь им не жить, рано или поздно, а революция победит, и тогда спросят: а кто вы такие? И пошто здесь? Ответ не находился, зато созревало решение: уходить на юг, туда, где скоро развернёт свои магистрали Турксиб. Потревоженный народ с узлами и чемоданами двигал на Семипалатинск, дальше – на Актогай, на Луговую да на Балхаш, поближе к медным рудникам. Скоро сойдутся там и судьбы, и дороги. Кто-то затеряется, кто-то возродится.. Новые правители ещё власть не взяли, а о будущем думали.

Думали о своём будущем и Фёдор с Саней. Думали, говорили, шептались, но Фёдорово настороженное ухо уловило-таки тяжёлый конский топ на подворье. Фёдор метнулся к окну, из-за занавески глянул, а ночь хоть и тёмная, да звёздная.

– Вставай, Санюшка, за мной пришли..

– Кто, Федя, пришёл-то?

– Не разговаривай.. Марина приехал. Я ухожу, а ты пожитки собери да меня поджидай.

А сам уже портянки на ноги крутит и наган из-под постели за пояс суёт.

Саня Марину знала, всё поняла и никаких слов больше не говорила.

А Марина хоть и спешил, да опоздал.

Он уже в дверь кулаком стучал, уже слышал, как из сеней спросили: «Кто там?», когда у него за спиной хрустнул плетень и длинная тёмная полоса метнулась в огорода.

– Не уйдёшь! – Марина чертыхнулся и кинулся вслед.

Он знал, что это был тот, за кем он пришёл, кого он убить не просто должен, а обязан.

Фёдор уходил, Марина преследовал. Фёдор уходил к Алею, только бы до талов добежать, только бы до воды. Фёдор на реке вырос, ему что вплавь, что под водой. Хоть и холодна вода, но выхода нет. А Марина гнался и не знал, что наган есть не только у него. Откуда у двадцать второго оружие может быть, да ещё у поднятого с постели, со сна? Конечно, он и с голыми руками представляет опасность, но Марина его достанет. А у Фёдора другое было в голове: ну, уйдёт он от погони, а что потом? А что будет с Саней, с матерью её, с тёткой? Что будет с ним, в конце концов? Марина бойцов поднимет, всю округу оцепят, и куда он денется на двух ногах? Впереди зима, вот-вот снег ляжет и морозы придут. Затравят, как зверя..

Фёдор нырнул в кусты, перешёл на шаг и присел за куст колючего шиповника.

Чаща росла густо и ночью казалась совсем непроходимой. Марина видел, где скрылся беглец, стрелять не стал – и далековато, и темно. Тем более на бегу. Да у него, уверенного в безоружности беглеца, и наган был ещё в кобуре. Достать недолго. При его-то практике! Главное – настичь.

Настиг он беглеца прямо на входе в чащу. Фёдор встретил Марину сам, молча. Он выпрямился из-за куста, когда преследователь был в пяти шагах. У Фёдора уже и дыхание подровнялось, когда Марина набежал на его пулю. Сам набежал, не смог остановиться и наган достать не успел.. Практика практикой, а пуля пулей.

Заседлав Мухортика, прихватив Марининского вороного, со скарбом и небольшим запасом еды Фёдор с Саней в ту же ночь покинули Чистенькое. Дорога у них была одна – на юг.

Баба Саня на этот раз очень долго рассматривала одну из последних семейных фотографий. Эта фотография ей нравилась больше всех других. Семейная, предвоенная, со штемпелем в правом нижнем углу, где был изображён белый пароход и в виньетке надпись красовалась: «Балхаш». Эта фотография напоминала о том времени, когда в семье Фёдора и Александры Прокопьевны царили мир, покой и благополучие. На фотографии была счастливая семья: в центре сидел Фёдор в светлом костюме, рядом с ним стояла Саня, Александра Прокопьевна, а по бокам две девочки, которая постарше – Наталья, та, что поменьше, – это Люська. Наталья чёрненькая, Люська белобрысенькая. А позади всех стоял высокий юноша с вьющимся волосом. Это Пётр. И это было перед самой войной. Сергей ещё не родился.

Фёдор был не с гор. Про Алтайские горы он Ивану Нестерову тогда неправду сказал. Нельзя было правду говорить. Фёдор родился и вырос на равнине в семье Ивана Романовича Карамышева, известного всей округе заводчика, держателя хорошего кожевенного завода. Завод этот строил дед Фёдора, Роман Данилович Карамышев, бывший крепостной барина Шмачкова Тамбовской губернии. После отмены крепостного права Роман Карамышев с дружками на Урал ходил. Чем занимался, никто не знал, вернулся через три года, приехал сам и привёз молодую жену. Стариков усадил на подводы и махнул на вольные земли, на Алтай, где ниже селения Калмыцкие Мысы на реке Локтевке, в самом её устье, на стыке с Чарышом, и поставил завод кожевенный. Мастерству кожевенному обучился на Урале, там и золотишком разжился. Богатство это, им на Урале добытое, никто не видел, и как оно добыто, было тоже неизвестно никому. Умирая, всё передал сыну единственному, Ивану. Иван же Романович тайны этой также никому не доверил. В конце жизни передал бы всё Федору, да не случилось – большевики пришли.

В далёком Петрограде в семнадцатом году какая-то пушка стрельнула, волну большую подняла. Докатилась эта беда и до карамышевских угодий. Революция для бездаря – счастье. Хочешь бить – бей, хочешь пить – пей. Бери винтовку и становись командиром. Пришли эти бездари и к Ивану Романовичу. Жизнь налаженную порушили, скотину какую порезали, какую по округе разогнали, большую часть коней свели. Вот тут и Фёдор в обмолот попал.

Разгоняя и отстреливая новоявленных командиров, разъезд второго кавалерийского полка адмирала Колчака, объезжая дозором балки и перелески Причарышья, расквартировался в уцелевшей усадьбе Ивана Романовича. Старший разъезда дал бойцам отдыху два дня, которых и хватило, чтобы разобраться с семьёй заводчика.

Суть разборки была проста: хочешь своим добром владеть – защищай его. И сам ещё можешь послужить отечеству, кстати. А уж о сыне, о Фёдоре, и речи быть не должно: коня ему, седло ему, а обмундирование со штыком в полку получит. Этого у нас, сказал штабс-вахмистр, предостаточно. А когда узнал, что Фёдор грамоте обучен, что Фёдора школьным наукам обучал приставленный человек, привезённый Иваном Романовичем из самого Новониколаевска специально для обучения наследника, в восторг пришёл.

– Да я его на такую должность пристрою, семь раз спасибо скажет!

Случилось это в начале июня, а в конце лета Фёдор оказался не пристроен, а построен в расстрельной шеренге перед железнодорожным мостом.

Не воевал, не убивал. За что под пулю поставили, не ясно. Скорый отряд из бригады партизана Мамонтова, совершая под командованием местного уроженца Семёна Кречета рейд со стороны Боровского, на рассвете на рысях подошёл к Шипуново, часовых снял, половину роты второго полка порубил, более двух десятков в плен взял, раненых, которые колчаковцы, добил, а пленных в сторону Барнаула в скотском вагоне отправил. С той стороны на станцию Алейскую этот вагон и прибыл. Там Марина Гудзо с Фёдором и пересеклись. Сначала взглядами, а потом дорожками. И было похоже, что всё, чему за свои двадцать три года Фёдор обучился, оказалось никому не нужно: ни знание дела кожевенного, ни умение хозяйство вести. А также много ещё всякого, чему его обучил родитель: и гусей пролётных над осенним Чарышом стрелять, и сети ставить, и чаны с кожами блюсти, и сечку дубовую готовить, и самостоятельно возить кожи готовые в Рубцовск заготовителю Парфёнову.

Но, как судьба ни старалась, а Фёдор к смерти не был готов. Посторонила древнюю старуху другая женщина, молодая и красивая.

Баба Саня смотрела на фотографию, а за окном гудел буран, и она знала, что утром ей опять до ломоты в руках ворочать тяжёлые снеговые пласты. Южные ветра, приносящие верховые бураны, глухо запечатывали снегами деревенские избы. Не обходили эти бураны и её избу. Как Фёдор ни старался, ни выверял расположение будущего строения, а буранам угодить не смог. Иной раз завьюжит, но перед крыльцом после бурана голо, а иной раз ветер косину даст на чуток только – и забьёт снегом и крыльцо, и двери, и весь двор до самой калитки на улицу.

Рассвет сквозь замёрзшие окна еле-еле пробился, когда по ступенькам крыльца заскребла лопата. Это была Люська. Как только уехал Сергей, она себя повела как ни в чём не бывало. Ну подумаешь, получила оплеуху, так за дело – не болтай языком раньше времени, а если болтаешь, то думай. Об этом ей и Андрей после сказал: «У отца ещё ноги не остыли, а ты уже к делёжке приступила. Не спеши, никуда этот дом не денется, мы здесь, рядом, всё наше и будет...»

Баба Саня прибралась и пошла в сени, чтобы отпереть уличную дверь. Снегу намело за ночь не так и много, но плотно. Люська рубила его штыковой лопатой и присела на кухонном сундуке уже хорошо взопревшая.

– Себе чистила, дай, думаю, и маме откидаю.

Доброта из неё последнее время так и пёрла.

А баба Саня уже и грубу растопила. Пока с Люськой парой слов перекинулась, и чайник заурчал. Блинов не было, но хлеб с маслом был, и колбаска была. Почаёвничали, Люська и говорит:

– Кольку моего, наверно, посадят.

Колька – Люськин сын. Шестнадцать лет, а ума на десять. Ума на десять, а вымахал с оглоблю. Учился на токаря, бросил, ходит теперь и баклуши бьёт.

– За что ж его?

– В Барнаул с дружками на пригородном ездил, ну и всей гопой кого-то в вагоне побили. Говорят, что ещё и шапку с шарфом сняли.

– Зачем ездил?

– А спроси его?

– Ты мать, ты и спроси. Водку в сторону отодвинь и спроси.

– Да я, мама, уже и не пью.
– А то я не вижу. Колька твой пропащий. И ты пьёшь, и Андрей твой пьёт, а пацану куда деваться?

Люська не знала, куда Кольке деваться. Прокурор знал.

В конце зимы Кольке дали три года и отправили в исправительную колонию. Люська долго не могла добиться, куда – то ли в Усть-Каменогорск, то ли в Змеиногорск. Письмо от Кольки пришло в конце июня из Усть-Каменогорска. Колька писал и плакался, что ему там плохо, что его обижают и делают с ним что попало. Андрей по малолетке сам сидел и по письму понял, что там с Колькой делают.

– Отсидит, домой не пуцуют...

А ещё у бабы Сани была фотография, где Фёдор стоит около паровоза с ветошью в руке, и по всему видно, что он не просто эту ветошь держит. Он этой ветошью только что драил латунные части паровоза. Он драил, а его в кино снимали как передового помощника машиниста. А потом это кино в клубе железнодорожном показывали.

Когда они в ту ноябрьскую ночь о двуконь на юг подались, то первая станция, где они рискнули объявиться, была Рубцовск. Фёдор знал в Рубцовске один дом, где его могли приветить. Это был дом заготовителя Парфёнова Егора Семёновича. Подъехали к дому в сумерках со стороны Алея, ворота отворил сам хозяин. Фёдора узнал, коней принял, едой и ночлегом молодых обеспечил, лишнего не спрашивал, он уже знал от самого Карамышева, что Фёдора колчаковцы рекрутировали, только вот где его судьба носит, Иван Романович не сказал. Не ведал.

Но коль объявился живой и здоровый, в гражданском, да ещё с молодой женой, значит, бросил белую службу, значит, красным служит. Фёдор про Марину ничего Парфёнову не сказал. Зачем лишнее говорить, он и Сане не всё до конца рассказал, но Саня сама догадалась. Когда в околке дневалили, Фёдор наган чистил. Зачем чистил, если не стреляя? Спрашивать не стала, не женское дело, но тревоги под сердцем прибавилось.

На зиму у себя Парфёнов молодых не оставил, пару месяцев пожить дал, кой-какую правду о них прознал, а поскольку Карамышев хорошо его кожами в прошлые времена подпитывал, подличать не стал и за три золотые монеты и пару коней принёс Фёдору с Саней выправленный документ, где говорилось, что Фёдор и Саня семья, а фамилия их Малаховы, и что по указу рубцовских революционных властей откомандированы они на строительство Турксиба в город Семипалатинск.

Семипалатинск молодых встретил, приветил и поселил их во временном бараке. Жизнь во временном бараке затянулась на долгие месяцы, но была работа, платили деньги, а уже в разговорах мелькали названия будущих железнодорожных станций – Аягуз, Актогай, Луговая... Всё как в тумане: и тифозный барак, где Саня больных обихаживала, и шпалы, что Фёдор укладывал. А потом был Балхаш с огромными сазанами, и станция была, куда к поездам Саня этих сазанов жареных пассажирам выносила. Потрошить их и вкусно жарить она научилась быстро. НЭП. Страна оживала, создавала, торговала. Всё перебирать – памяти не хватит. Но, главное, жили

и жить хотели, детей рожали. Петра родили ещё в Семипалатинске, потом Наталью, а вскоре и Люська объявилась. Девки уже на Балхаше. Фёдор перед войной стал помощником машиниста, хорошо зарабатывал и ходил в почёте. Имели они с Саней деньги и хороший дом купили. Заработанных денег на дом не хватало, и Фёдор рискнул: в Караганду съездил, по надёжной наводке дельца нашёл, представился, от кого прибыл, и золотые серьги с бриллиантами в большие рубли превратил. Получилось как нельзя лучше. Спасибо Мухортику и тому несчастному, которого Мухортик с седла сронил. Война перелопатила всё...

К годовщине смерти Фёдора Сергей с Петром денег прислали, чтобы памятник отцу баба Саня организовала. Люська про деньги узнала – и тут как тут.

– Мама, – сказала она, – мы с Андрюшей всё сделаем. Мы знаем, где памятники делают и оградки варят.

– Ща! – ответила Баба Саня. Она хорошо помнила, как дочка посудное серебро из буфета выгребала, лицо её тогдашнее помнила, руки трясущиеся. – Я ещё сама на ногах держусь и до этой конторы уже доведывалась. Как-нибудь управлюсь.

Люська свернула губы в куриную гузку и промолчала. А баба Саня к Наталье пошла, с ней в контору эту гробовую сходила, где и договор подписала на памятник и на оградку. А чтоб всё было совсем хорошо, оплатила все услуги по установке и памятника, и оградки и дату указала, после которой всё и надобно сделать. Как год после смерти минует, так всё и надо установить. Ритуальщики не подвели. Деньги – великая сила. Плати – и будет. Как в медицине: бесплатно – это бесплатно, а за деньги – другой коленкор. Здесь тебе и улыбка, и обнадеживающие слова, и по три-четыре раза на день лечащий доктор в палату заходит, на койку твою больничную с краешку присаживается, и рецепт, если вдруг напишет, то очень даже разборчиво.

Люська такое недоверие к себе стерпела, а что ей было делать – она чувствовала, что не по той дорожке пошла. С этими ложками и вилками серебряными, будь они неладны, она, конечно, поспешила. Бес попутал. Поспешила, потом сожалела, но не раскаялась. Всё равно они ей достанутся, Андрюша прав.

Те серёжки с бриллиантами Малаховых очень поддержали. Фёдор с Саней тогда и дом приличный купили, и в дом всё купили, и детей хорошо одели, да и сами оделись. Фёдору очень светлый костюм был к лицу. Смуглый, стройный, с усиками, с чёрным, падающим кольцами чубом, он был действительно хорош. Он это чувствовал, но дорогу в свой дом ни разу с другой не спутал. Саня об этом знала, Фёдору верила, и досужие бабы сплетни обходили её стороной.

Так бы всё и шло, если бы не война. Мир сдвинулся. Фёдору дали броню, Петру до винтовки сроку не хватало. Парень ходил в военкомат, просился, мол, лет не хватает, зато ростом вышел. Военком улыбнулся.

– Не спеши, – сказал, – ещё успеешь... Иди и продолжай расти. Мы тебя, когда надо будет, сами найдём.

И нашли. Ровно через год. Нашли, призвали и направили в школу младшего комсостава. Саня обрадовалась: хоть не сразу на фронт, может, ещё поживёт...

А из Рубцовска от Егора Семёновича весть пришла, что Карамышева Ивана Романовича во время коллективизации раскулачили, припомнили ему сынка, что с колчаковцами ушёл, и вместе с женой, Фёдоровой матерью, сослали в Нарым, где они и сгинули. Усадьбу карамышевскую ревкомовцы с советчиками пустили по ветру; где дом стоял, ангары кожаные, завозни и постройки разные – пустырь образовался. Новый мир собирались построить... И строили. А ведь Фёдор всё хотел на Чарыш съездить, да побаивался ненароком на Ивана Нестерова наскочить. Марину убитого, конечно, в тех осенних талах обнаружили, кто его убил, тоже догадались, а вот след убийцы взять не могли. Ни убийцы, ни жены его. Фёдор с Саней в ту ночь как сквозь землю провалились. Но, слава Богу, ни тётку Санину, ни мать её революционному суду не предали. Коняев хорошо Прокопа Малахова знал, гибель его помнил и беду от женщин отвёл. Отвести отвёл, но тёмное пятно на репутации Саниной матери так и осталось и на Прокоповой сестре, Саниной тётке, тоже. Тётка Санина во время коллективизации домик свой продала и переехала к своей подруге в Усть-Калманку, где и жила до поры. А мать Санина переехала из Большой Панюшовой в Алейск, где недалеко от станции, на улице Алтайской, приобрела саманную избушку. Конечно, это были не хоромы, не чета прокоповской усадьбе, но жить можно.

Все эти данные по крошке, по капельке просачивались, как живая кровь сквозь горячие бинты, в малаховский дом, но никому из детей об этом не рассказывали. Придёт время, будет в том нужда, всё и узнают, а пока пусть живут, новой жизни советской учатся.

Броню с Фёдора сняли в начале сорок второго года. Немцы стояли под Москвой. Фёдор потом рассказывал:

– Запихали нас в вагон и на восток повезли. В Красноярске выгрузили, по казармам развели, обмундировали и муштрой начали мучить. То поротно, то повзводно, то поодиночке... Четыре месяца ходить строем учили. Ноги в коленях начали болеть. Поговаривали, что к параду нас готовят. А потом...

А потом погрузили в эшелон и прямиком, как гвоздь в стену, весь состав в бойню и вколотили. В первом бою, в штыковой атаке, с ручным пулемётом наперевес Фёдор и заслужил свой единственный боевой орден.

Война для него закончилась через полтора года. Фёдор был как заговорённый. Слева падали, справа валились, а он со своим пулемётом за полтора года и царапины не получил. И всё-таки в одной из атак немецкая пуля нашла его и пробилась ему левое плечо навывлет. Одной рукой с ручного пулемёта не постреляешь. Развернулся солдат и пошёл к своим, неся левую руку, промокшую от крови, как плоть, а правой волоча за ремень ручной пулемёт. Два месяца лежал в Уфе в госпитале. Кости плеча оказались сильно повреждены. Срастались тяжело, но срослись. Потом оказалось, что срослись худо.

А в это время... Вот скажите, что снов вещей нет! Аккурат двумя месяцами раньше Саня с малыши девками на руках, понимая, что ей одной не справиться, решила ехать к матери в Алейск. От Фёдора ни весточки, Пётр ей не принадлежал – родина затребовала, у Люськи рахит начался, Наталья большенькая, но толку чуть. Вокруг эвакуированные, шпана появилась. И она, Саня, решила всё продать и ехать к маме. Мама – это же мама. Мама Саню любит, мама Саню спасёт.

И дней за пять до отъезда, когда уже и дом продан, и билеты куплены, и вещи упакованы, и багаж непосильный сдан в багажное, Сане сон снится.

Снится ей сон, что не поездом она с детьми должна отъезжать, не по «железке», а надо ей плыть пароходом. Пароход белый, народу немного, и как будто капитан с парохода по трапу спускается прямо к Сане и говорит:

– А вы, гражданка, не поплывёте.

– Почему не поплыву? У меня уже и билеты куплены... – У Сани сердце захолонуло.

– Вашему пароходу, – говорит капитан, – левый борт оторвало...

Через три дня треугольничек от Фёдора пришёл. Фёдор писал, что ранен был в левое плечо, что через две недели медкомиссия, и его, наверно, на фронт не вернут: рука не поднимается. Саня и плакала, и радовалась. Плакала, что ранен, радовалась, что живой. Билеты она сдала, жить перешла в пристройку, поскольку дом был уже продан, и Фёдора стала ждать. А вдруг и не пошлют его после госпиталя на фронт, куда же он поедет? Туда и поедет, откуда на фронт уходил. Так она рассудила и матери в Алейск про всё отписала.

Памятник Фёдору ритуальщики поставили в аккурат после годовщины. Бабе Сане всё понравилось: и оградка, и плита гранитная, и фотография. Фёдор был в косоворотке, чуб седой уже не кольцами и на пробор расчёсан. Но самое примечательное было – это борода. Фёдор задолго до смерти бороду отпустил. Была она седа, кучерява и окладиста. За эту бороду Сергеевы друзья Фёдора Ивановича Бородой кликали.

– Здорово, Борода!

– Здорово, басурманы!

Теперь уже не окликнут. Нет Бороды. Гранит есть, оградка есть, фото есть, а Бороды нет. Да и друзей Сергеевых почти не осталось, кто где – кто уже в могиле, а кто в дальних краях. Сергей-то сам во-он где...

Картошка в этот год опять уродилась хорошая. Да она каждый год была хорошая. Чернозём никогда не подводил, был бы только дождь вовремя. Будет дождь, будет солнце – будет всё. Такой край благодатный – живи и радуйся!

Ульяниха через дорогу на эту всю канитель смотрела и расстраивалась: уедет баба Саня, ох, уедет.

Уже по снегу письмо от Сергея пришло. Пишет: собирайся, мама, ко мне на зиму. Мне квартира хорошая выпала: четыре комнаты, пятый этаж, под окнами сосны. Будет тебе отдельная комната с отдельным телевизором. Славка очень тебя ждёт, блинов твоих хочет.

Наталья добро на поездку дала. Люська губами пожевала:

– Поезжай, поезжай... Обрадуй Татьяну! Ага...

Люськина ненависть к Сергею и на Татьяну распространялась, хотя виделись они всего два раза, когда молодые Сергей и Татьяна к родителям приезжали как бы на смотрины. Баба Саня, конечно, Танечка да Люська да губу и натянула. Как же, сноха любимая, язви её...

Наталья добро дала, и баба Саня к Ульянихе пошла, не вытерпела. Ульяниха сердце своё забившееся успокоила и бабу Саню перекрестила.

– Поезжай, Саня, посмотри, а вдруг и понравится...

– Да я не об этом горюю. Если к Сергею уеду, то там и умирать придёт. Фёдор будет здесь лежать, значит, а я там. Плохо это, душа болит, а как быть, не знаю...

– А ты не горься. Фёдорову могилу Наталья с Люськой доглядят, а твою – Сергей. Земля, Санюшка, одна на всех. Что там – земля, то и здесь – земля..

– Да это-то так.

Три недели Саня с девочками в пристройке ютилась, благо новые хозяева понятливые были, а то ведь могли и попросить вон: дом продан, деньги отданы, нечего здесь глаза мозолить со своими рахитами – у Люськи-то пузо было уже с ведро. Но приехал фронтовик, рука левая на перевязи, на груди орден, лицом ладен, статью строен, речь ведёт не напористо.

– Три дня ещё срока дайте, документы вышправлю и билеты купим. Дольше терпели, чуть-чуть осталось.

Документы в военкомате оформили, поздравили с орденом, с возвращением, хоть и бит, но жив, а это не так уж и мало. Его здесь ещё по старой работе помнили: и как его в кино показывали, и как он железки латунные ветошкой полировал. Хорошо помнили и справку дали на выезд в Алтайский край, в город Алейск, к родителям Александры Прокопьевны, незамедлительно. Поезжай, мол, ты своё отпахал, на паровозе работать не годишься, и ничего здесь не напишешь.

Алтай не изменился. Улица Алтайская, где купила домик Дарья Никифоровна, была грязенькая. Избушки все саманные, невысокие. Огородики маленькие, скудненькие. Как бы ни было, но не под голым же небом спали. В избе, в тепле, а то, что тесновато, так это со временем и решить можно.

Первое, что Саня сделала, это определилась на работу в экспедицию. Было такое мероприятие неподалёку от дома, куда техника и прочие грузы прибывали для районных колхозов. У Сани грамотишки было маловато, но читала и писать могла. Хоть и коряво, но могла – это раз; во-вторых, не старая, умом и памятью не обижена, а в-третьих, легка на ногу и работы не боится. А ещё при экспедиции подсадили одну, из Ленинграда эвакуированную. Хорошей помощницей оказалась, грамотной. Саня её под крылом своим пригрела, и хорошо им обоим было. С тем и подспорье денежное пришло, а Фёдору инвалидность дали. Не велика группа – третья, но тоже какие-то рубли. Да и монетки же ещё золотые не все были растрочены. Фёдор Чарыш вспомнил, Балхаш вспомнил, к сетям потянуло. Озёр вокруг много, но транспорта нет. И транспорта нет, и сетей нет, и ниток нет – ничего нет, но зато желание было, а это дорогого стоило.

Пётр писал, что воюют трудно, немцы дерутся крепко, он командует взводом, имеет звание младшего лейтенанта, награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и намерен дойти до Берлина. Дай-то Бог. А Бог давал: фронт катился на запад, по радио шли и шли хорошие вести. На радостях Саня и забеременела. Фёдор узнал про это и сказал, как топор в плаху вогнал:

– Рожай!.. Сына хочу!

Победа пришла, и Серёжка родился.

– А что? – говорил Фёдор. – Ты не старая, мне пятидесяти нет, руки есть, ноги есть, вот и вырастит пацана. Ему на жизнь, а нам на старость.

В тот победный год Фёдор с Саней денежек подбили, золотые монетки обернули. Пусть и невыгодно на сей раз обернули, но землянку в Малой Панюшове купить смогли. Съехали от Дарьи Никифоровны. Земляночка была в землю по грудь вросшая, с земляными полами, с сенцами, с пристроен-

ным курятником. Тесно, зато весело, своя семья в своём углу. Землянка хоть и мала, но при ней огород большой. И Фёдор Иванович, и Александра Прокопьевна теперь твёрдо были уверены, что на этом месте им и край встретить. Вот из землянки бы только перебраться, домик бы поставить. Сергей ведь растёт.

К середине декабря, когда зима вошла в полную силу, баба Саня подсобрала в дорогу вещи свои носильные, сорочки там, кофточки, купила плацкартный билет, позвала девок и объявила:

– Поеду к Серёже погощу. Будет всё хорошо, так поживу и до марта. Наталье за домом наблюдать далеко, а тебе, Люська, сам Бог велел. Уголь есть, дрова есть, ходи и протапливай, изморози не допускай. Промёрзнет дом, сыростью будет пахнуть. Яйца, что соберёшь от кур, себе забирай, мне десятка два к Пасхе сбереги.

– Что ты, мама, что ты, – Люська вся расцвела, – всё и соберу, и сохраню, и тебе обо всём в письмах писать буду.

– А я буду их подписывать ... – Наталью бес за язык дёрнул.

Люська промолчала. Дело складывалось пока в её пользу. Вот уже и за домом доглядывать ей доверено. Пока доглядывать, а там...

Провожать бабу Саню пришли все: и Люська, и Наталья, и даже Гебильс, в смысле Андрей. За что ему кличку такую Люська дала, она и сама не знала, но кличка прилипла намертво, уже и на улице соседи в разговорах нет-нет да и называли Андрея Гебильсом. Через букву «и».

Поезд Лениногорск–Москва подошёл по расписанию. Баба Саня дороги не боялась, она много ездила, когда в Азии жила. То в Актогай, то в Аягуз, да и в Алейске частенько приходилось в Топчиху мотаться, к подруге своего детства, с которой в Алейске на базаре случайно встретилась. В Семипалатинск к Наталье опять же не раз ездила.

Телеграмма от матери Сергея врасплох не застала. Он знал, что мать обязательно приедет. Подготовили комнату, наладили телевизор – входи и живи. Татьяна не упиралась, она знала, что Сергей от матери не откажется и доживать свой век она будет здесь. Славка ждал бабушку с её блинами.

И бабушка приехала...

Веселья особого не было, был просто праздничный стол с салатами, котлетами, шампанским и шкаликом коньяка. Шампанское для женщин, коньяк для Сергея, а Славка надувался любимым брусничным компотом. А потом было утро, квартира опустела, и баба Саня осталась в огромном четырёхкомнатном ангаре одна. Завтрак на столе, в холодильнике продуктов немного, но есть, воду носить на коромысле не надо, батареи тёплые, туалет и ванна под рукой, занавески чистые, под окнами машины жужжат неназойливо. Вот жизнь, и что теперь делать? Баба Саня на восьмом десятке, но на руку ещё лёгкая. Нашла картошку, что хранилась в ведре под раковиной, и начистила, может, Сергей обедать заглянет, а нет, так скоро Славик придёт со школы, для него и нажарить можно, молодой – съест за милую душу. Славке жареная картошка с корочками поджаристыми очень понравилась, а к ней вечерашний салат, а потом компот, а потом бабушка же рядом хлопочет. Такого удовольствия ни в какой школьной столовой не добудешь.

Вечером, когда ужинали, обговорили многое. До закрытия магазинов Сергей принёс и молока, и муки, и масла двух сортов, и мяса, и даже квашеной капусты. Потом учились управлять телевизором. Это было легко. Глав-

ное, что он был цветной и широкий. Вот бы Ульянихе такой телевизор! Только таких телевизоров на Алтае ещё, наверно, нет.

На следующий день Славик трескал блины, а Сергей с Татьяной, несмотря на вечер, ели кислые щи с обжаренной свининкой и чай пили с бабушкиными блинами. Квартира Татьяна начала превращаться в домик в деревне, потому что потом появились вареники с картошкой, приправленной шпиком с лучком обжаренным, вареники с творогом, а потом пельмени из самодельного фарша, где было поровну и говядины, и свинины, и непременно для запаха добавлено баранины рыночной. А потом были пирожки жареные с мясом, потом печёные – с капустой, потом чебуреки, манты, беляши, а потом картошки всякие, и ещё, и ещё, и ещё...

Как-то вечером, когда уже спать легли, Татьяна Сергею и говорит:

- Мама только до марта будет? А давай мы её уже не отпустим.
- Тебе с ней хорошо?
- Ой, Серёжа... – И потесней к нему прижалась.
- Может, дочку закажем, раз такое дело?

Когда Серёжка в первый класс пошёл, то Наталья уже лет пять как в Семипалатинске жила. Замуж вышла не совсем чтобы по любви... Муженёк оказался из блатных. Остроносенький, щупленький, но шустрый. Всех охмурил, и Наталью в том числе. Деваться некуда, пошла под венец, а мужу – Павликом его звали – этот венец совсем ни к чему. И в церковь не пошёл, и жить в Алейске не захотел, покумекал с братвой, а поскольку грамотен был и шевелил мозгами, то и повёз Наталью в Семипалатинск, где через дружков лихо пристроился завмагом. Сам пристроился и Наталью пристегнул к торговле.

Наталье за прилавком хозяйничать понравилось, магазин был универсальный, и дело пошло. Суть в том, что Санину прапрабабу по материнской линии когда-то в ордынские времена татарин обездрил, и в Санином роду иногда проскакивала узкоглазая монгольская порода. Достались эти слегка раскосые глаза и Наталье. Люське – нет, а Наталье – да. А к этим глазам да ещё скулы чуть выпертые – и казахи от Натальи просто балдели. Вроде и русская, а что-то и другое есть. Она действительно была красива той степной красотой, которая очень ценилась в этих краях. За красоту, за острый язычок, за улыбку белозубую и лёгкий характер местные торговые авантюристы, угождая и прогибаясь, сплавляли через её прилавок много дефицитного товара – от конской колбасы до бухарских шелков. Наталью никто не трогал: Павлик был у блатных в авторитете.

О родительской печали относительно домика Наталья знала и по морозцу каждую зиму по два, а то и по три раза в Алейск навевывалась. Приезжала и привозила, как правило, килограммов до двадцати конской колбасы и денежек пачечку. На домик. Ту колбасу конскую Сергей до сих пор помнит, ни на какой сервелат не променял бы. Со школы прибежать домой, полколеса колбасы отрезать, отварить и съесть прямо со шкуркой под хлебушек «пшеничный». А? Рай... Можно и не отваривать, но варёная сочнее.

Первые деньги появились – купили корову. Домик – это когда ещё, а корова сейчас нужна. Где корова, там и телёночек. Будет бычок – на откорм пустить можно. Если телёночек – продать. К тому ещё и молоко, и транспорт. Худо-бедно, а вёрст за десять-двенадцать на корове съездить можно. Рыбалку Фёдор из головы не выпускал. Рыба в ходу, рыбаков

в округе нет – войной выбиты, а дело это ему и по Чарышу, и по Балхашу очень знакомо. И себе на пропитание, и на продажу опять же. Саня из экспедиции ушла: и ходить далековато, и не всё там ладно пошло – воровством запахло, а она такую беду за семь вёрст чуяла. Да и Фёдор сказал: бросай, мол, на эту власть ишачить, не пропадём.

Помогал деньгами и Пётр. Получив два ордена, он закончил войну в звании старшего лейтенанта, но комиссован не был и остался служить сначала в городе Рава-Русская, что подо Львовом, а потом был переведён в строительные части под Ленинград. В запас ушёл в звании подполковника.

И Люськино участие в постройке домика есть. Участие, надо честно сказать, большое. Школа ей не далась. Сначала рахит, к нему – бестолковость, а потом неумная тяга к взрослой жизни привели её на железную дорогу, где она и получила персональные кайло и лопату. Здоровая телом, грудастая, она попалась на глаза ушлому составителю, и тот, не только за красивые формы, конечно, организовал ей большую партию выбракованных шпал. Шпалы были хорошо проверены, гнильё отброшено, и по весне несколькими рейсами привезены на место строительства дома. Прямо перед землянкой на траве их в штабель и сложили. Стоили эти шпалы совсем недорого. Дорого было их достать. Люське цену обозначили, и она заплатила.

Шабашники дом строить начали в мае, а в конце сентября крышу накрыли. Шпалы не брёвна, уже отформованы, укладывая на мох, топором подправляя да скобами крепи. На новоселье были все: и Пётр, и Люська, и Наталья с Павликом. Две комнаты, большие сени, веранда, полы деревянные, русская печка с грубой, четыре окна, крыша, толем крытая, на два ската с коньками подрубленными, большущий сарай – и корову можно держать всю зиму в тепле, и свинью откармливать. Из сарая ход в подвал. В избе под полом погреб, нижний голбец. Поиздержались, правда, хорошо, но и домик как игрушечка. Тёсом обшит, красным покрашен, фронтоны жёлтые, рамы оконные синим крашены, ставни резные, филёнчатые. Соседи приходили, смотрели, одобрительно Фёдора по плечу хлопали. Знали, что сам бы он такое не осилил, но на то они и дети, чтобы родителям помогать. Ещё в заповедях сказано...

А бабе Сане у Сергея в квартире всё нравилось. Но больше всего ей было любо то, что она в этих хоробах вроде как хозяйка уже. Ещё и месяца не живёт, а уже хозяйничает. На кухне, конечно. Татьяна её не поправляет, ну если чуть-чуть: содой, мол, это чистить нежелательно, поцарапается, а вот это можно. Баба Саня подсказку схватывает и лишний раз, если что, спрашивает. Татьяне это по душе.

В конце февраля по телевизору фильм показывали. «Тихий Дон» назывался. Сергей ещё предупредил: «Ты бы, мама, не смотрела...» Вступилась Татьяна:

– А что? Хороший фильм. Мне очень нравится...

– Ты, Танюша, многого не знаешь.

Фильм начался, пошли первые кадры, Григорий Мелехов нарисовался, и бабе Сане стало плохо. Это был вылитый Фёдор. И стать, и нос хрящеватый с горбинкой, и чуб этот чёрный... Татьяна валерьянки ей накапала, телевизор хотели выключить, но баба Саня не велела. Сердце её успокоилось. Конечно, это был не Фёдор. Вроде и похож, а говор не тот. Все серии просмотрела, ни кадра не пропустила, раз пять валерьянку пила. Петра убитого во двор на телеге ввозят, а ей Крайний илбан с мужиками порубанными

видится. Подтелковских вешают – опять валерьянка, морячков порубили – то же самое, а уж когда Аксинью убили, когда Григорий к ней, к мёртвой уже, прижался, то и говорить нечего. Баба Саня даже навзрыд поплакала, только тихонько.

Потом сказала:

– Половину фильма как впотьмах просидела; кино смотрю, а перед глазами своё видится: то бараки тифозные, то Марина на жеребце своём, то бабку твоего в бурьяне вижу убитого. Ещё бы раз всё кино переглядеть, всё бы до конца увидеть...

Сергей успокоил:

– Посмотришь ещё, мама, переглядишь. Повторять будут, и переглядишь.

Дни шли, январь кончился, февраль пошёл. Люська и впрямь прислала письмо. Гостюй, мол, мама, ни о чём не думай, у нас полный порядок, а вот Наталья ни разу и не приходила, «ни разочку». А что ей там мелькать-то, думала баба Саня, у неё у самой хозяйство – и куры, и поросёночек, да и младшенький сынок скучать не даёт: то обкурится, то заблудится. У каждой кошки свои блошки.

Сергей на бабу Саню не наступал, но упрямо гнул, что на следующую зиму мать переедет уже насовсем. Место есть, не в тесноте, пенсию её трогать не будут, а по потере кормильца баба Саня получала прилично. Фёдор – фронтовик, инвалид, а по причине его болезни группу третью медики переделали в первую, предсмертную. А первая – это не третья, это уже и на хороший кусок масла хватало. Баба Саня и смолоду деньгам счёт знала. Не жадная была, но на что попало деньги не переводила. Люська своими мозгами и так раскидывала, и так, и получалось, что у матери заначка есть, и неплохая. Вот только как до неё добратся? Не знала голова её бестолковая, что деньги баба Саня у Натальи хранила, потому как доверяла ей больше, чем кому-либо.

А Сергей склонял мать к тому, чтобы дом не продавать, а действительно завещать Люське.

Баба Саня перед сном всё чаще прикидывала: ну какие деньги за дом возьмёшь? Не густо ведь. А если по уму, то от продажи всем надо что-то дать. Люська шпалы доставала – это ох как учесть надо. У всех в округе саманные хатки да насыпные, а этот дом из шпал пропитанных. При хорошем догляде ему сто лет стоять. Наталья опять же деньгами снабжала – тоже в паю, Пётр хоть и немного, но присылал. Да и самой надо оставить, так сказать, на гробовые. Хоть и грешно об этом думать, но думать-то надо. А Сергея как не надеть, ведь к нему же приедет, на его хлеба. Вот и думай, как быть. Сергей склонялся, чтобы отдать. Баба Саня думала.

Март подошёл, Сергей и объявил:

– Поеду-ка я, Татьяна, с мамой вместе. Отвезу её домой, погостю у неё недельку, дом замороженный протоплю хорошенько, да и очень я по бурянам нашим сибирским соскучился. Посмотрю да послушаю, как они воют в трубе. Это, Тань, такая музыка, слушал бы и слушал.

– А отпуск дадут? У вас же всё аврал да аврал...

– Дадут! Третьего дня ходил к Волоховскому, он обещал подумать, а вчера дал добро.

Телеграмму ни Наталье, ни Люське решили не отбивать. Багажа негусто – чемодан да сумка. Гостинцы купили и Наталье, и Люське с Андреем. Девкам по платку, Андрею коньяк хороший. Поди, и не пил такого ни разу, пусть душу потешит.

Поезд Москва–Лениногорск с тихим морозным сипом подошёл к станции Алейской. Небо было звёздное и такое высокое, что как голову ни задирай, а всей высоты всё равно не увидишь. Ночь хоть и тёмная, а дорога светлая. Снег хрустит, морозец поджимает, скоро и дом, вот только через солонцы перейти, через сугробы эти поперечные. Баба Саня перчатки сняла. Она когда волновалась, то руки у неё начинали гореть. Какой бы мороз ни был, а пальцы у неё не мёрзли, просто горели. Сергей об этом ещё с детства знал и не мог никак понять, отчего это так. Он шёл рядом с матерью, поглядывал на неё сбоку и думал: вот матери уже скоро восемьдесят, жизнь прожила такую, что другой и половины не осилит – и в бегах была, и за тифозными горшки выносила, и Наталью с Люськой в самые военные голодные годы удержала, на родину перебралась, без мужа теперь, а вот не унывает, на ногу ещё ходкая. Крепкая ещё мама, что и говорить. Всё-таки верно говорят: кого Господь не балует, тому и помогает.

На улице фонари не светили, да их здесь отродясь не было, в окнах домов стояла ночь. Прошли мимо Люскиного дома, баба Саня и ключи уже достала, когда увидела, что у неё в кухонном окне свет мерцает.

– Серёжа, это что?

– Не знаю, мама, сейчас увидим.

Крыльцо было от снега очищено. Отомкнули уличную дверь, открыли сенную, включили в сенях свет и почувствовали, как пахнуло теплом и свиным навозом. Предчувствуя нехорошее, баба Саня потянула на себя избяную дверь и обомлела. На грубе, перед устьем русской печи, стоял её огромный чугунок, в котором она варила раньше еду для свиньи, рядом с чугуном мерцал электрический ночник, а в тусклом его свете посреди кухни стояли четыре поросёнка. Беленькие, чистенькие, с прозрачными ушами и ясными поросычьими глазами; в каждом поросёночке весу было уже примерно по пуду или около. Сергей от увиденного неожиданно для себя хохотнул. Поросятки шарахнулись в святую угол и замерли. Над ними, на самом верху висела в рушниках маленькая иконочка. Ни в каком кино не придумают, чтобы в чистой жилой избе по всей кухне солома валялась, свиньи бегали, было бы сыро и навозно, и на всё это сверху Мать Божия смотрела бы!

Баба Саня поворотилась к Сергею, упала ему на грудь и заплакала.

– Не плачь, мама, я их сейчас на улицу выброшу...

– Зачем, сынок? Не надо. Дом уже загажен, насквозь провонял... Здесь и спать-то нельзя, задохнёшься. Ах, Люська, Люська...

Не напрасно Фёдор покойный жалел её, но недолюбливал, всё «путлом хреновым» называл.

Люську решили не будить, какой с неё спрос, а поросята не дрова, просто не уберёшь, да и поздно убирать, все стены на поросычий рост навозом уделаны, глиняная штукатурка на стенах и на грубе поросычьими «пятакми» попорчена. Баба Саня ничего не тронула и Сергею не разрешила. Двери все притворила: и избяную, и сенную, и уличную. Замок на щеколду набросила, но на ключ запирать не стала.

Наталья руками всплеснула, когда среди ночи на пороге мать с Сергеем явились.

Сели завтракать, уже зариться стало. Говорили и рядили – что же делать. Дом уже не продашь. Привести его в порядок, отскоблить, побелить у бабы Сани сил не хватит. Был дом – стал сарай, а сараю цена не грош даже. Короче, Андрюша, который Гебильс, оказался прав, и никто никуда не делся,

потому как Сергей подговорил Наталью, а Пётр был далеко, и баба Саня сдалась – пусть будет по-вашему: Люське так Люське...

Документы получили, страсти улеглись, баба Саня с Сергеем уехали. Прав Андрюша оказался, прав. Вот тебе и Гебильс! Люська пребывала в радости. Шутка ли – дом! Ходила как водой святой умытая. Не мудрая была, не разумела, что богатство в недобрые руки просто так не даётся.

В апреле потеплело, и поросят из кухни убрали. Кухню Люська отмыла. Из щелей между половыми досками весь свиной навоз ножиком выскоблила. Где хрюшки глину с побелкой объели, подштукатурила, стены побелила, и вонь ушла. Всё лето возилась, до самой осени, даже про пьянку порой забывала. Перед Новым годом дом был продан Шатохину Юрке для его сына Вовки. Деньги Люська получила полностью одним большим пакетом. После обмывки купли-продажи Люська вместе с Андрюшей все деньги пересчитала три раза и в комод под бельё заныкала. Думала, что надёжно, да как бы не так. Через два дня Колька из Усть-Каменогорска досрочно появился, как раз перед праздником новогодним. На радостях, Андрей про своё обещание забыл. Ну как же, сын, сынуля! Застолье, хмель и, конечно, хвастовство выгодной продажей. Ну и всё. Сынуля пришёл вечером, исчез ночью. Пришёл один, ушёл с деньгами. А в полдень к Люське нагрянула милиция, Кольку искали. Сынок был в бегах. Где он, с какими друзьями хороводился, неизвестно, но нашли его через неделю – полураздетого, мёртвого. Он лежал скрюченный между сугробов, присыпанный ночным снежком, напротив старого базара, на солонцах. Денег при нём не было.

Обо всех этих делах баба Саня из Наталиного письма узнала.

– Ну вот... – только и сказала вечером, протягивая конверт Сергею.

Сергей не сказал ничего. Пробежал глазами письмо, положил на стол и руками развёл – хотелось как лучше, да не получилось...

Баба Саня дни посчитала, уже было четырнадцать дней, как Кольку схоронили, но всё равно насыпала в стопку рису, воткнула свечку и запалила. В память о внуке. Хоть и непутёвый был, а крещёный.

Уже перед сном старое разворошила, Ульяниху вспомнила, как ходила к ней прощаться перед отъездом. И попрощаться, и на поросят пожаловаться.

– Вишь, сестра, как всё обернулось. Родная дочка обманула. Это как?

– Не горься, Саня. Сейчас они все такие.

Похоже, да. И Колька не лучше Люськи оказался.

Ульянихе хотелось бабу Саню утешить как бы, да получилось не очень. Дело сделано, но думки бабу Саню нет-нет да и тревожили. Был дом, была баба Саня – хозяйка. Была хозяйка, а стала никто. Одна надежда – Сергей. А случится что с Сергеем?.. Мысль эту дурную она от себя гнала всегда.

– Да я, сестра, не горюсь. Вот только Фёдор здесь останется, а мои косточки от него далеко будут.

И опять её Ульяниха попыталась успокоить.

– Земля, Санюшка, для всех одна...



Диана
КАН

КРАЙ МОЙ МЯТЕЖНЫЙ...

Край мой мятежный.
Край мой крамольный...
Ветер-ведьмак пугачёвщиной дышит.
Край мой далёкий от Первопрестольной.
Горем завейся – Москва не услышит.

Горем завейся, ветром укройся,
Песней утешься, а я буду рядом...
Ойся ты, ойся! Столицы не бойся,
Край мой крамольный, оно тебе надо?

Царь ли царевич? Король, королевич?
В баньке уважь их – да в печь на лопату.
Кроток в молитве и страшен ты в гнев,
Край мой, кровавым рассветом объятый.

Что приуныл, опечаленный в стельку?
Что пригорюнился, счастья не чая?
Где ж он, твой царь – самозванный Емелька?
Чай, ты слуЧАем по нём не скучаешь?

Тёплым платком оренбургским закутай
Зябкую степь, что от ветра продрогла...
Вспомни свою заливчатскую удаль
И выходи на большую дорогу.

Он вёл их молча по былинным,
По диким муромским лесам –
Иуд, что верили наивно
В то, что и он иуда сам.

● Диана Елисеевна Кан – известная русская поэтесса. Автор книг «Високосная весна», «Согдиана», «Междуречье», «Обречённые на славу» и др., а также множества публикаций в изданиях России и зарубежья. Живёт в Оренбурге.

Вёл, обходя в пути святыни,
Не тратя понапрасну слов,
Духовно-ядерной твердыни,
Что называется Саров.

Он вёл их, Китеж огибая
И светлый болдинский приют...
Знать, на Руси судьба такая,
Что первыми героев бьют.

В пути не раз им повстречался
Шальной разбойник соловей.
Вослед ведомым так смеялся,
Что листья сыпались с ветвей.

Вёл, обходя Урал и Волгу,
Хоть их никак не обогнуть...
Во временах-пространствах долгий –
Единственно возможный путь!

И мысль одна терзала сердце,
Ведомым вовсе не в укор:
Как миновать в пути Освенцим,
И Саласпилс, и Собибор?..

...А дальше, братья-ляхи, сами.
Эх, ни покрышки вам, ни дна...
«Кажись, пришли! – вздохнул Сусанин. –
Варшава-матушка видна!..»

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй...

Василий Тредьяковский¹

Распилы-откаты. Откаты-распилы.
И это, ребята, не лесоповал.
Чиновная шобла почуяла силу
И нас превратила в доходный товар.

А впрочем, стозевное чудище обло,
О коем ещё Тредьяковский писал,
Себя почитает нисколько не шоблой,
А – солью земли и началом начал.

¹ Эпиграф в редакции А. Н. Радищева

От веку всегда при чинах и в законе.
Её не касается смутная хмарь.
Стальной ли генсек восседает на троне,
Сусально-елейный помазанник-царь.

Будь имя её не помянуто всеу.
Осыплет себя мишурою наград
И так венценосца искусно танцует,
Что сам, бедолага, порою не рад.

Забавно, что так прозаично-неброско –
Без гнева, патетики, пафосных слов, –
Похожий на стёб неформала-подростка,
Звучит мой проворный стишок про воров.

Бюджет распилили проворно и ловко,
И не презирая презренный металл...
Знать, самое время с державной сноровкой
В Сибири осваивать лесоповал.

Соратник, друг, товарищ, враг
Парадоксально рады встрече.
Наш поэтический сходняк –
Содружество противоречий.

Хоть назовут потомки «съезд»
Товарищей заклётых стаю,
Здесь никого никто не съест:
Поэт поэта понимает.

Грустим, хохочем, пьём вино,
Витийствуем, исходим желчью...
Мы все равны. Нам всё равно –
Хотим утешиться, да нечем!

Не каждый тут друг другу мил,
Но держим небо, как атланты:
Посильно каждый – в меру сил
И в силу своего таланта.

И в том, кто сердцем изнемог,
И в том, кто пребывает в вере,
Одновременно, видит Бог,
Живут и Моцарт, и Сальери.

Всю жизнь рифмуя розы и морозы,
 Всю жизнь воюя с собственной судьбой,
 Я не унижусь до презренной прозы,
 А значит, не унижусь пред тобой.

Перед тобой, дарившим вдохновенье.
 Перед тобой, ушедшим в злую мглу.
 Перед тобой, мой непутёвый гений,
 Хвалу воспринимавший как хулу.

Любовь и кровь пожизненно миксуя
 И раскрываясь на сквозных ветрах,
 Господне Имя не тревожа все,
 О сокровенном как сказать в словах?..

Буксуя на житейских бездорожьях
 И матом кроя брENNую тщету,
 Назло всем тем, кто жизнь мою итожит,
 Остаться поэтессой предпочту.

РАЗГОВОР С ПСИХИАТРОМ О РАЕ

*...И смотрят последние астры в саду
 На то, как топиться хожу я к пруду...*

Диана Кан (из раннего)

Хотела утопиться в тихом омуте
 Без лишних элегических затей...
 Но психиатр сказал с улыбкой: «Полноте!
 Да пожалейте ж бедненьких чертей!

Ни перед кем ни в чём не виноватые,
 Без потрясений и душевных ран,
 Они живут не клятые, не мятые,
 А тут бултых-пардон – Диана Кан!..»

Сказала психиатру: «Пыл умерьте-ка!
 Я не за это деньги вам плачу.
 Ведь не к лицу подобная патетика,
 Любезный, ни врачу, ни палачу!

Чертям для драйва я необходимая:
 Мысль утопиться – это неспроста.
 Умеют же устроиться, родимые, –
 В раю позанимали все места...»

Мир озарён прощальной улыбкой
Ультрамарина, что целует просинь.
Кармином, охрой, киноварью пылкой
Поделится аксаковская осень.

Здесь пурпура и терракоты встреча,
Что сходятся в лесах стеной на стенку.
Но никакого нет противоречья
В прощальном буйстве красок и оттенков.

И так щедра осенняя палитра
Волшебного аксаковского слова,
Что как тут обойдёшься без пол-литра..
Дождя животворящего грибного?

Ах, зима! Столбовая боярышня!
Щеголиха, каких поискать.
Нищета поздней осени давешней
И сиротство тебе не под стать.

Жемчугами корона украшена.
Самоцветы на шее горят.
Ты носи-ка, носи – не изнашивай
Свой волшебный ношебный наряд.

Ты цари-ка, цари – не истаивай,
Всех сияньем вогнавшая в дрожь!..
Пусть под шубой твоей горностаевой
Прорастает озимая рожь.

Шей по синему млечными тучками,
Ограняй бриллианты в горсти
И холёными белыми ручками
Хрустали через реки мости.

Ах, не верю, не верю, не верю я,
Глядя сквозь кружева на окне,
Что твоя ледяная империя
Вдруг растает, как снег по весне.

Ох, неужто же, всеми заброшена,
Побредёшь по овражьям боса,
Прикрываясь обносками роскоши
И сумой перемётной тряся?..

«О, подайте, подайте, подайте ей!» –
Усмехнётся всяк встречный ручей,
Под твоей горностаевой мантией
Всё ж дождавшийся вешних лучей.



**Александр
ТИТОВ**

ДВА РАССКАЗА

ФИЛИМОН

Тёмная весенняя ночь. Филимон шагает просёлочной дорогой, стараясь не слишком отдаляться от деревни. Мартовский ветер прохладен, но с юга ползёт тёплый туман. Под ногами одинокого путника похрустывает ледок.

Филимон размышляет о том, почему его тянет гулять по ночам: «Моя должность заведующего клубом вовсе не оправдывает поздних прогулок. И возраст солидный – двадцать четыре года... Но хочется идти вот так всю ночь неизвестно куда. В селе меня считают чудаком и одновременно умным человеком. Люди здесь любопытные – хотят знать, что я за тип. Но это им не по зубам. Я – сложная, противоречивая личность! В нежности своей становлюсь наивным. Но лучше, если бы никто не знал о том, что я шляюсь по ночам вокруг села. Станут приставать к Ольге – дескать, что же муженёк твой недомоседливый такой? Она, конечно, ничего им объяснить не сумеет, потому что сама ничего не знает».

Ветер мягко гудит в лицо, храня в себе тепло новой, молодой весны. Свет ночных фонарей серебряной шапкой висит над деревней. Он не может пробиться сквозь темноту и за околицей гаснет, бледным отблеском падает на шершавый снег.

«Я влюблён! – печально шепчет Филимон навстречу ветру. – Только и всего... И ничего не могу с этим поделать, ничего! Как ужасно!»

Он заворачивает к деревне. На сегодня довольно – нагулялся, устали ноги. Возле крайних домов останавливается, смотрит в поле.

-
- Александр Михайлович Титов родился в 1950 году в селе Красное Липецкой области. Окончил Московский полиграфический институт, Высшие литературные курсы. Автор семи сборников рассказов и повестей, дипломант литературного конкурса им.Н. Островского (1980), 5-го Волошинского конкурса (2007) за рассказ «Ребро Гоголя», финалист национальной литературной премии для детей и юношества «Заветная мечта-2008» за повесть «Ангелок» (по мотивам повести снят полнометражный фильм «Ангел» – Москва, киностудия «Ракурс», 2011 г.), лауреат областной литературной премии имени Е. Замятина (2010), областной литературной премии имени И. Бунина (2011), премии областного липецкого журнала «Петровский мост» (2012) за повесть «Путники в ночи», журнала «Север» (2018). Публиковался также в журналах «Подъём», «Волга», «День и Ночь», «Литературная учёба», «Новый мир» и др. Живёт в селе Красное Липецкой области.

«До свидания!» – говорит он.

Филимону хочется представить, что в тёмном ветреном просторе идёт сейчас светлокосая десятиклассница Елена, в которую он тайно влюблён. Но это лишь мечта, фантазия.

«Хорошо жить! – думает он, ощущая пересохшими губами силу ветра, его робкое тепло. – Этот таинственный мир, туча, плывущая с юга, звёзды, проскальзывающие в беспокойном небе, – всё это заслоняет меня от сплетников соседей, делает их ничтожными. Что плохого в том – иду ночным полем?»

Шагая по деревне, он мысленно возвращается к обыденным делам. А забот у заведующего клубом много: репетиции, разваливающиеся кружки самодеятельности, обновление наглядной агитации, пьяница-истопник...

Филимон вдруг останавливается, судорожно шарит в карманах – не забыл ли он ключ от клуба, не оставил ли его в замочной скважине? А то, чего доброго, последний баян сопрут! Кроме того, сегодня у жены Ольги в сельмаге ревизия. Вдруг недостача? Лишние неприятности... Зачем они Филимону?

Два года минуло с тех пор, как он женился на продавщице местного магазина Ольге. Деревенские кумушки отговаривали его! Про Ольгу они ничего плохого сказать не могли, но ведь была же она замужем за приезжим шофёром, который сбежал, оставив ей трёхлетнего сына Толюшку. Однако в то время Филимон всё чаще заходил в магазин, стоял, опершись о прилавок, или играл с Толюшкой, которого Ольга брала с собой, когда не с кем было его оставить.

Они ещё не подавали в сельсовет заявления насчёт женитьбы, а Толюшка уже звал Филимона папой. Любит он его. Стоит Филимону войти в дом, и Толюшка с радостным возгласом просит взять его на руки. Филимон, желая позабавить приёмного сынишку, строит забавные рожицы, подражая Юрию Никулину.

Ольга гордо и радостно смотрит на них.

– Вот какой у нас папка! – восклицает молодая женщина. – Настоящий артист!

– Сколько раз тебя просить – не называй меня, пожалуйста, артистом, – морщится Филимон. – Сын подрастёт и будет на всю деревню кричать: «Мой папка – артист! артист!..»

– Больше не буду, – обещает Ольга, – но, когда ты выступаешь на сцене, получается очень здорово. В деревне все говорят, что ты настоящий артист.

– Хе! – снисходительно улыбается Филимон. – Зря, что ли, культпросвет-училище закончил? Туда ведь кого попало не берут!

И всё равно Филимон не любил это слово, помнил, как однажды в юности поступал работать на завод. Начальник отдела кадров спросил Филимона, что тот умеет делать.

– Я вообще-то артист! – гордо ответил Филимон, который уже тогда успешно выступал на любительской сцене. – Но...

– Артистов здесь своих хватает! – перебил его начальник отдела кадров. – Нам слесари нужны и сварщики.

В незнакомой деревне Тужиловке, куда Филимона отправили заводить клубом, похожим скорее на колхозный амбар, нежели на объект культуры, Ольга стала для него самым родным человеком. Он ей рассказывал о делах, жаловался, что его «зажали» на районном смотре художественной самодеятельности и на областной конкурс направили бездарных и безголосых певцов.

Ольга искренне возмущалась происками чиновников местного культотдела, успокаивала, заверяя, что Филимон ещё добьётся больших успехов, ведь он – талант, настоящий талант!

Летом инициативный Филимон организовал танцевальный кружок. Среди прочих в него записалась светловолосая школьница Елена. И тотчас надёжная жизнь Филимона дала трещину.

На первый взгляд, ничего не изменилось: культработа в деревне шла по инерции, наподобие автомобиля с выключенным мотором. Тренькали на балалайках парни из струнного оркестра, регулярно по средам репетировал фольклорный ансамбль пенсионеров, обряженных в старинные платья с вышивкой, школьницы разучивали танцы. Но весь клубный механизм уже не поручал подпитывающей энергии от главного источника – от некогда самоуверенного и бойкого Филимона.

Руководя танцевальным ансамблем, Филимон терялся, мямлил, лишь окаменелая улыбка опытного массовика выручала его, помогала скрыть смущение и растерянность.

– Так, девочки, – прихлопывал он в ладоши, – приступаем к разучиванию...

Однако дела танцоров не ладились – присутствие Лены и радовало, и томило Филимона. Однажды, набравшись смелости, он объявил:

– Видите ли, девчата... Ввиду отсутствия просторной сцены... Я хоть и дипломированный культработник, но танцы не моя специальность... Понимаете, я больше по вокалу, чем по хореографии... Короче, танцевальный ансамбль распускается. Больше мы с вами не встретимся...

При этом он с грустью взглянул на Елену. Ему показалось, что она насмешливо улыбнулась...

– Давай уедем отсюда? – несколько раз предлагал Филимон Ольге. – Я в райцентре устроюсь, буду руководить эстрадным ансамблем...

– Как же так? – огорчённо вопрошала Ольга. – У нас здесь большой дом, сад, огород, поросёнок, летом будем телят выращивать, деньги за них получим, ты купишь мотоцикл с коляской или «Запорожец»... Мы с тобой оба работаем, люди нас уважают!

Запустив все прочие клубные занятия, Филимон уделял внимание в основном себе как солисту музыкального ансамбля. Он вдруг запел, причём запел по-настоящему – в голосе его зазвучали мотивы тоски и любовной страсти. В качестве музыкального сопровождения – небольшой оркестр, состоящий из двух электрогитар и барабана.

Филимон поёт профессионально, на высоких нотах, томно прикрывает глаза, то прислоняя ладонь к левой стороне груди, то простирая руку вперёд, в причудливые дали своего воображения.

В репертуаре Филимона песни о любви и только о любви. В проникновенных местах голос его переходит на шёпот, а в конце песни Филимон с такой силой кричит в микрофон, что с потолка сыплется ссохшаяся побелка, напоминая о насущном ремонте.

Девушки в фойе танцуют или стоят вдоль стен, а Филимон сходит с маленькой эстрады, медленно движется вдоль стены и продолжает петь, заглядывая в лицо каждой из местных красавиц. Возле Лены останавливается:

*Пусть даже на свою беду,
Я всё равно тебя люблю...*

Филимон поёт, голос его дрожит. Лена не выдерживает его пронзительного взгляда, отводит глаза...

Каждый вечер, закрыв клуб, Филимон уходит за деревню. Он шагает в поле совсем один, бормочет, вздыхает, вытирает холодные слёзы.

...Возле дома его поджидает Ольга. В руке у неё палка.

– Ты чего, Оль? – испуганно спрашивает он.

– Я думала, может, что-то с тобой случилось? Хулиганы могут подкараулить, избить...

– Кого? Меня? – хорохорится Филимон, расправляя плечи.

– Я вот палку взяла. От собак. Ужасно их боюсь, хоть они здесь не кусаются... Пойдём, я тебя ужином покормлю... Толюшка спит. Ждал тебя – нарисовал кораблик, говорит, папке покажу, и не дождался, и заснул прямо за столом...

Ольга берёт Филимона под руку и с некоторой задумчивостью на лице ведёт его в дом.

ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

Виктор смотрел в окно, точно не мог наглядеться на кусты сирени, на угол покосившегося сарая, на одряхлевшие яблони, которые дотягивались листвой до окна и при слабом ветре шуршали по стеклу, оставляя на нём пыльные бороздки.

В комнате было тихо. Часы-ходики стояли. Вот уже с неделю как поломались, тусклый маятник pokrивился.

– Сколько сейчас времени?

Виктор машинально, по привычке, приподнял левый рукав свитера, но часов на руке не было; он вспомнил, что продал их по дешёвке в далёком уральском городе, потому что не хватало денег на билет.

– Остановились часики, – отозвался старик, – тикали-тикали, и капут им пришёл. Жалко!

– Я тебе новые пришлю, электронные, – сказал Виктор, не отрывая взора от крапивы в палисаднике. – Это тебе не какие-нибудь ходики с кукушкой. Вставишь батарейку – и целый год будут шпарить без всякого завода.

– Я и без часов привык. – Старик равнодушно махнул рукой. – По поездкам время определяю. Утром, в девять, елецкий идёт, вечером, в шесть, – московский. Елецкий точно ходит, больше чем на полчаса не опаздывает. Ну, а московский и час, и полтора может прихватить. Ему не прикажешь – столица!.. О, слышь, загудел? Елецкий!.. Значит, сейчас девять часов или около того. С часами, конечно, веселее было. Знай себе тикают. Ночью проснись, слышу: стучат. Значит, и я пока живой!.. Перед тем как сломаться, попискивать стали, потрескивать. Хрипело что-то в ихнем нутре, железное сердечко постанывало. Ковырнул я колёсико шилом – оно и хрястнуло!.. Без часов тихо, скучно, как при покойнике. Проснёшься ночью и не знаешь – то ли живой, то ли уже в могиле. Тоска!..

– Естественное человеческое состояние, – наставительно произнёс Виктор. – Человек – существо одинокое! Это ещё из древней философии известно. Гиппократ, кажется, сказал или Петрарка.

– Где же ты философию изучал? – поинтересовался отец, улыбнулся. – Ты, помнится, восьмилетку с грехом пополам закончил.

– Я жизненные университеты прошёл. Книжки кое-какие на досуге почитывал. Помню, в одной из них был вопрос: «Что такое человек – частица природы или бессмертная душа?»

Плохо выбритое, тронутое морщинами лицо Виктора излучало самодовольство. Дескать, и мы не лыком шиты, тоже кое-что знаем...

– Ну, батя, отвечай: что же такое человек?

– Человек он и есть человек, ежели, конечно, он не скотина.

Старик протянул руку, взял графинчик с водкой, наполнил стаканы. На стекло попал солнечный луч, по комнате заиграли блики, яркими пятнами забегали по лицу старика. В маленькой комнате стало светлее, праздничнее. Утренние сумерки окончательно растаяли; виден был замызганный шкафчик для посуды, раковина, стоящий неподалёку от двери. В середине комнаты размещалась большая печь, занавешенная на лето куском пёстрой материи. Над единственной кое-как убранной кроватью висели в большой раме под стеклом многочисленные фотографии.

– Давай, сынок, ещё по одной...

Они выпили, подошли к фотографиям. Филипп Иванович начал объяснять, где кто отснят, точно Виктор сам не знал.

– Вот ты, Витёк, совсем кроха, на руках у матери, у покойницы. Маленький, прямо свёрточек, одна мордашка торчит... А вот опять ты – на бревне с ребятишками сидишь. Помнишь, как звали ребят? Ну, то-то... Венька Голышев уже помер... Остальные, вроде тебя, разъехались по разным краям, работают где-то, ни слуху про них, ни духу... А на этой карточке ты вышел очень похожий. От горшка два вершка, а глаза разбойничьи, цыганистые! Так бы он вскочил, так бы и побежал из дома родительского...

Старик улыбнулся, погрозил на фотографию пальцем, словно забыл, что рядом стоит тот же самый, только взрослый Виктор.

– А на этой карточке ты уже сурьёзный. На боку сумка матерчатая – из школы пришёл. Лицо усталое, лобик наморщенный. И не удивительно: до школы семь километров. Протопай-ка туда-сюда... А на этой карточке совсем большой. В ту пору, кажется, на тракторе подрабатывал.

– Помню, – кивнул Виктор, – областной фотограф снимал. Для газеты. Я в то время ударником был, меня часто фотографировали.

– Почему же не стал на тракторе работать?

– Не стал, и всё тут. Ребята, годки мои, уехали, ну и я тоже, глядя на них, в город подался. И не жалую. Поездил по белу свету, повидал много всего.

– Каждый из нас видел кое-что на этом свете. Что же тут удивительного? Тебе, сынок, и годков порядочно. Тридцать восемь лет – серьёзный возраст для мужчины. За это время много делов можно наворочать. А ты семью оставил, сын у тебя, внук мой Генка... Как они там – ни слухов, ни весточки...

– Генке уже шестнадцать, школу заканчивает. Галя, жена, давно замуж вышла...

Лицо Виктора как-то сморщилось, словно он собирался заплакать. Тем не менее он обернулся и снисходительно посмотрел на отца, положил ему на плечо руку.

– А ведь ты старый, отец. Совсем старик. – Большая рука Виктора дрогнула, опустилась. – Извини, сколько годков тебе стукнуло? Пожалуй, уже за семьдесят?

– Эх, Витя, Витя, – укоризненно покачал головой. Филипп Иванович, – даже года мои забыл.

– Прости, отец, но, честное слово, запомнил. Помню, что тебе больше семидесяти, а дальше память заклинило.

– Так вот знай: семьдесят восемь лет в прошлом месяце стукнуло.

– Ого! Дата юбилейная! – Виктор оживился, потёр ладони, начал кругами ходить вокруг стола, поглядывая на графинчик. – Был бы ты, отец, акаде-

миком или другой важной персоной, тебя бы с днём рождения через газеты поздравили, цветы бы прислали на дом.

– Цветы? Зачем они мне, старому?

– Так полагается.

– На кой дьявол эти цветы нужны?

– Не понимаешь, отец... Это как знак уважения, символ красоты, вечной молодости... А ещё бы торт приволокли здоровенный, размером с этот стол.

– Неужто такой большой?! Рехнуться надо, чтобы такой выпекать. Кто же будет есть его? Засохнет, заплесневеет, придётся поросёнку отдавать. А хотя... Пстой! Ежели пригласить всех деревенских ребятишек да чаю побольше наготовить, глядишь, пирог и разойдётся.

– Торт делают не для того, чтобы деревенская орава набивала себе животики, а для того, чтобы в него можно было воткнуть семьдесят восемь свечек.

– Свечки? Это ещё к чему? День рождения – это не церковный праздник, и нечего пихать в торт парафин, если решили дарить пирог, так будьте добры, выпекайте его как положено, без всяких фокусов. Кто будет есть этот пирог, ежели он воском закапанный?

– Тёмный ты, батя, человек, но, хотя ты не академик и не министр, я всё равно люблю тебя больше всех!

Он заглянул в выцветшие отцовские глаза, вздохнул и вновь принялся расхаживать взад-вперёд по комнате. Виктору было тесно в маленькой хате – он поглядывал то в окно, затемнённое кустарниками, то на дверь.

– Ты в отпуск или как? – спросил отец.

– Сейчас я пока нигде не работаю – кризис, но большую денюгу, в принципе, везде заколотить можно. Я тебя об одном деле хотел спросить...

– Кризис... Неужто сейчас никаких работ нету? – удивился Филипп Иванович. – Я думаю, рабочие везде требуются, только назовись... Или, может, у тебя специальности нету?

– У меня? Специальности?! – Перестав расхаживать, Виктор изумлённо обернулся, затем оглядел себя, точно желая удостовериться, на месте ли у него руки и ноги. – Специальности... Да у меня их тысяча: я и электрик, и бульдозерист, и слесарь, и монтажник, и компрессорщик, и бетонщик, и сантехник. Я всё могу! Нет такого дела, с которым я не мог бы справиться. Я – рабочий! Я нужен! Везде меня ждут, везде встречают с распростёртыми объятиями. По всей стране меня ожидают прокатные станы, заводы, стройки, автопарки. У меня права шофёра второго класса! При всём этом я вольный как птица. Куда хочу, туда и еду, где хочу, там и работаю. Испытывал ли ты, отец, когда-нибудь радость такой полной свободы?

Филипп Иванович равнодушно пожал плечами.

– Великая вещь – воля! – продолжал Виктор. – Приходилось ли тебе летней ночью ехать на крыше товарного поезда? Когда стоишь на самом верху и, раскинув руки точно крылья, мчишься сквозь ночную тьму! Колёса стучат, вагон дрожит, качается; вот въезжаем на железный мост, перекинутый через глубокую пропасть, и колёса грохочут над таинственным речным пространством: гух-та-та, гух-та-та-т! Всё стальное, мощное звенит! И жизнь тоже кажется звонкой, радостной и огромной, как вся эта летняя ночь!.. Еду на какую-нибудь стройку по объявлению и новым человеком себя чувствую. Будто освобождаюсь от всех старых грехов и становлюсь каким-то... ну, как бы это выразиться, гордым, что ли... И хочется прожить свой век в полёте, в мечте! Без всяких там баб, сплетен, вырезвителей... Вот наймусь к какому-нибудь миллионеру строить особняк, глядишь, и на автомобиль заработаю... Уф! Даже в горле пересохло от волнения. Кваску дай, отец!

– Нет кваса, только молоко... Скажи, Витя, какое дело тебе больше всего по душе? Чем нравится заниматься? Какую специальность одобряешь больше других?

– Никакую. Все осточертели.

– Зря. Одно дело нужно выбирать. Чтобы не в тягость было. Да не мотаться по разным краям, а прибиваться к месту. Оставайся здесь, в деревне! А? Колхоза нет, но хозяин объявился, инквестор какой-то, мужикам-трактористам хорошие зарплаты назначил...

Виктор глядел в пол, узнавая на досках трещины и сучки, знакомые с детства.

– Знаешь, отец, я недавно подрался с одним подонком. В кафе дело было: лысый юноша хлебом вилку протирал... Да! Взял кусок и трёт, трёт вилку, очищает её от пыли. Он трёт, а я смотрю! Он мусолит хлебом об вилку, а я гляжу на это дело, и в груди у меня всё закипает. Ну, если бы он быстро протёр, может, и обошлось... А он вилку вытер, за ложку принялся. Зашумело у меня в голове от такой подлости. Не мог я, бывший деревенский житель, стерпеть издевательства над хлебом. Здорово меня это заело. Подхожу к нему... Крутой он или просто наголо стриженный, дьявол его знает... Подхожу, беру тарелку с картофельным пюре и – бац ему в рыло! Так и вцепил! Лысый-то со стула брыкнулся. Тут, разумеется, шум, гам... Меня скрутили – хулиган! В милицию потащили, пять суток дали. Улицу подметал.

– Мало, – сказал Филипп Иванович, – надо бы все пятнадцать!

– Я же за хлеб заступился! – растерянно пробормотал Виктор, ожидавший, что отец одобрит его поступок. – Мне за это спасибо сказал один человек.

– Кто?

– Сержант милиции. Он говорит: «Я бы тебя совсем отпустил, да свидетелей много, а власти мало». Морщинистый такой сержант, добрый, раза два мне в камеру передачи носил. «Я, – говорит, – душой хлебороб, в город попал по случайности, и жизнь как-то мимоходом прошла-проехала». Мечтает после выхода на пенсию в деревне поселиться. Чудак!

– Отчего же? Хорошему человеку везде рады.

– Отец, ты мне вот что скажи: всю жизнь ты на ферме, летом в пастухах. Доволен ли ты такой жизнью? Ведь за все эти годы ты не видел ничего нового, никаких богатств не накопил, дальше Ельца нигде не был.

– Почему? – Старик начал волноваться и сердиться. – Я в Москву ездил с колхозной делегацией, Кремль видел, Ленина в Мавзолее, на ВДНХ побывал...

– Подумаешь, ВДНХ, я в Польше был и в Прибалтике, когда «челноком» работал... Я, батя, всю страну исколесил, сотни профессий сменил. Четырежды женат был! А сколько я всего знаю! Столько повидал всего, что, если рассказать, ни в одну энциклопедию не влезет.

– Что ж, сынок, я тебе не судья. Ты давно уже взрослый, сам за себя отвечаешь, у тебя виски уже белые... Тоже помаленьку стареешь, а про меня и говорить нечего – совсем старый стал. Но была бы сила в руках, выпорол бы! Зажал бы меж колен и выдрал!

Виктор засмеялся, укоризненно покачал головой:

– Ну, батя... Ты никогда не дрался.

Филипп Иванович подошёл к окну, поглядел на обветшалый забор, на застарелые, сохнувшие кусты смородины.

– Оставайся, Витя, дома жить. Скучно мне одному.

– Отвык я от деревенской жизни, – ответил серьёзно Виктор, потрогал рукой низкий, провисший потолок. – Предложи мне сейчас копать землю или пасти корову – откажусь! Ни за какие деньги не соглашусь. А прикажи развалить стену, согнуть рельсу в бараний рог, построить дворец для олигарха – так это по мне, потому что я – рабочий, специалист... Душно у тебя в хате, отворил бы окно.

– Не открывается – рама присохла.

В окно виднелась светлая, переливающаяся на солнце полоска – маленькая речка Семенёк. Виктор, увидев её, почувствовал неодолимое желание побежать к воде, как в детстве, на ходу раздеваясь, прыгнуть в воду прямо с крутого берега.

– Глянь, отец, – речка!

– Ну и что? Течёт себе, что ей сделается.

– Любил я когда-то здесь плавать, плескаться. Плавал по-собачьи, вот так...

Виктор засмеялся и, поджав руки к груди, стал быстро-быстро перебирать ими, глаза его прищурились, словно он и в самом деле плыл.

– В прошлом году я в Амуре купался. Ребята из нашей бригады смеялись, видя, как я по-детски плаваю.

– Сколько же дней погостить у меня думаешь?

– Не знаю... Я вообще-то по делу приехал. – Виктор нахмурился, взгляд его скользнул мимо реки, вдаль. – Видишь ли, я последние два месяца завскладом работал, и недостача у меня обнаружилась – пятьдесят тысяч, а заплатить нечем. Требуют погасить в срочном порядке. Хотел на новое место ехать, а меня не отпускают, судом грозят.

– Как же ты попал в завсклады? Ты всегда был рабочим человеком.

– А заведовать складом, по-твоему, не работа? Там мебели – море! Но погорел не на шкафах и креслах, а на импортных дверных замках.

– Неужто украли?

– Нет, если бы воры... Тогда бы на них всё и списали. До сих пор не могу понять, куда подевались пять ящиков с замками. По ведомости числится пятьсот замков, а фактически их нет, словно испарились.

– Зачем полез не в своё дело? – Филипп Иванович в упор глядел на сына. – Ты в арифметике, помнится, всегда туповат был. Эх, пустая голова! Что делать-то думаешь?

– Что делать... Не вешаться же из-за этих проклятых замков! Приехал вот к тебе... – Виктор шагнул к столу, потянулся к графинчику.

– Нет, хватит пить!

Старик шустро забежал вперёд, схватил графин, отнёс в шкаф. Прикрыв дверцы, задумчиво взялся за ручку самого нижнего ящика, робко приоткрыл его.

– Есть у меня заначка. Берегу на свои похороны. Как помру, придёт сосед Василь Порфирыч, возьмёт эти деньги и распорядится как положено. Так у нас с ним договорено. Вот двадцать тысяч у меня тут...

Виктор обиженно взглянул на отца:

– А меня ты, наверное, и за родственника не считаешь? Почему какой-то Василь Порфирыч, а не твой единственный сын? Неужто я тебя не похороню?.. Слушай, отец, дай мне, пожалуйста, эти деньги, а я их тебе когда-нибудь верну.

– Откуда же ты их возьмёшь, чтобы вернуть?

– Я?! – Виктор прижал ладонь к груди, изумлённо огляделся по сторонам, как бы отыскивая свидетелей для подтверждения своих слов. – Да если я начну вкалывать, то... вообще!

– Велик ли твой заработок?

– О, господи, да я же сантехник! Захочу – и денег у меня будет как у дурака махорки. Не волнуйся, отец. Если вдруг помрёшь, похороню как положено, со всеми почестями. Я сказал, похороню, значит, похороню.

– Ладно, сынок, дам тебе денег. И с книжки завтра сыму всё, что есть, тыщ сорок пять тебе наберу... И тут, в шкапе, тыщ десять собрал... Авось, в случае чего, и колхоз похоронит, хотя теперь он не колхоз называется а какое-то ООО. Гроб плотники сделают – они на это горазды. Василь Порфирыч самогонки выгонит. Так и обойдёмся.

– Выше, батя, голову! Жизнь даётся человеку для полёта, как сказал один композитор, а ты всё о смерти думаешь.

Филипп Иванович взглянул в окно, всплеснул руками:

– Опять петухи дерутся! Надо разнять.

Он выбежал, и слышно было, как во дворе кудахчут куры, недовольные тем, что хозяин разогнал их кавалеров.

Была у Виктора мечта – заработать побольше денег и приехать домой на собственной иномарке. Даже во сне видел легковую машину яркого, непременно апельсинного цвета. И не сбылось – со станции два километра топал пешком. Хотел появиться разодетым в пух и прах, а оказался в поношенном свитере, купленном с рук в пивной. И когда приближался к родной деревне, шёл не большаком, где все ходят, а пробирался к дому старыми полузабытыми тропинками.

В комнату вошёл Филипп Иванович, вытер рукавом пот со лба.

«Ослабел старик, – подумал Виктор, – немного посуетился – и сразу устал».

Филипп Иванович подошёл к шкафчику, выдвинул нижний ящик, достал пачку денег, перевязанную бечёвкой.

– На... – сказал он, протягивая деньги сыну.

– Спасибо! – Виктор торопливо потянулся за свёртком, зацепился за табурет, едва не упал. – Выручил ты меня, батя!.. Слушай, чем это пахнет – керосином, что ли?

– Да, – Филипп Иванович досадливо поморщился, – побежал разнимать петухов, споткнулся о керосинку, будь она неладна.

– Сгоришь ты когда-нибудь с этой керосинкой. Газ в дом пора проводить.

– Да я теперь уже не доживу до газа... Похоронишь меня, дом продашь, я его на тебя подписал...

– Ладно, отец, не горюй. Всё будет о'кэй!

Филипп Иванович задумчиво глядел на повеселевшего сына.

– Давай, Витя, я тебе рукав зашью, а то дырка в свитере.

– Неужто порвался? Вот те на! Недавно купил, а уже нитки из него лезут. – Виктор поддёрнул рукав свитера и убедился, что прореха существует. – Когда я работал на приисках, у меня было семь костюмов, красную икру ложками ел...

Отец достал катушку ниток, поржавевшую иголку:

– Вдень, сынок, нитку.

– Знаешь, батя, за что я тебя люблю? – Виктор положил пачку денег на стол, взволнованной, слегка подрагивающей рукой взял у отца иголку. – За то, что ты добрый, за то, что во всех делах настоящий труженик. Небось, на Доске почёта и твой портрет висит?

– Висел, а теперича Доски почёта у нас нет – капиталистические времена настали!

– А моё фото никогда на досках почёта не висело. И не потому, что я плохо вкалываю, а из-за того, что непостоянный работник. Между прочим,

я вот что заметил: чем больше живёт человек на свете, тем сильнее хочется ему почёта и внимания. Уважения он требует. Хочется быть заслуженным, авторитетным! Да и медалька какая-нибудь не помешает... Кстати, почему ты свои медали никогда не носишь? У тебя ведь много за труд в колхозе. В прежнее советское время как бывало: человек скотину пасёт, не пьёт, и ему – бац – орден!

– Скотину пасти тоже не каждому доверяли, – помрачнел Филипп Иванович. – Бери свитер, готово.

Виктор надел свитер, и они с отцом вышли на улицу, потому что в комнате сидеть надоело, захотелось подышать свежим воздухом.

На улице было хорошо, не очень жарко. Лето набирало силу. Пахло молодой травой, смородиной, цветущей липой. Сели на лавочку под берёзой. Дерево было большое, с толстым стволом. Длинные ветки шелестели, убаюкивали.

– А берёза-то старая стала! – сказал задумчиво Виктор, потрогал корявый ствол. – Верхние сучья засыхают... Это ведь моя берёза?

– Твоя. Как ты родился, так я и посадил. Когда маленькая была, поливал. Один раз телёнок её затоптал, обгрыз, но ничего – поднялась, большая выросла.

– Неужто и эту берёзу спилят когда-нибудь на дрова? – Виктор с тоской глянул вверх, обнял ствол обеими руками.

– Зачем об этом думать, сынок? Эта берёза будет жить ещё долго.

Но Виктор размышлял уже о другом: куда можно будет податься после того, как он рассчитается с долгами.

Виктор везде нужен, он всё умеет. Что ни говори, а есть у него отцовская жилочка. Если работать, так по совести. Много раз терял он трудовую книжку, а сам ехал на другую стройку или завод, и там ему выписывали новый документ... Месяц-другой поработает Виктор на одном месте, и снова тянет его к переездам...

Ночью Виктор никак не мог заснуть на кровати, то и дело выходил на улицу, сидел на лавочке, смотрел на звёзды, вздыхал.

Думал о разном, но почему-то было горько от посещения родного дома.

Отец его в это время крепко спал на лавке, укрывшись овчинным тулупом, сохранившимся с давних пастушеских времён.



**Галина
ТАЛАНОВА**

РЕКА ПОДО ЛЬДОМ

Живёшь в раю.
 Меня всё так же любишь.
 Живой приходишь в снах на полчаса,
 Но в сад наш ты не спустишься, не ступишь,
 Услышав здесь родные голоса.
 Тебе другие птицы серенады
 Выводят в экзотическом саду,
 И заывают в озеро наяды,
 Что видела в горячечном бреду,
 Но и тогда не поддавалась на чары,
 Но села в лодку,
 Ту, где грёб Харон.
 ...Я память, словно струны у гитары,
 Тревожу, но беру неверный тон,
 Хоть он высок,
 Как коршуна паренье.
 Хотела б верить:
 Видишь с высоты,
 Как я пишу в слезах стихотворенья
 И в зеркале нашла твои черты.

Посмурнел покосившийся дом.
 Половицы скрипят под ногами.
 А за лесом раскатистый гром.
 В баке первые капли кругами.
 Всё уходит, как в землю вода.

-
- Галина Таланова (Галина Борисовна Бочкова) – биофизик, кандидат технических наук, автор семи книг стихов и трёх романов, родилась и живёт в Нижнем Новгороде, работает в НПО «Диагностические системы». Член Союза писателей России. Лауреат премий «Болдинская осень» (2012), журнала «Север» (2012), премии им. М. Горького (Нижний Новгород, 2016), лауреат международного конкурса им. Дюка де Ришелье (Греция, 2016) за романы «Голубой океан» и «Бег по краю»; международного конкурса «Её Величество Книга!» (Германия, 2016), дипломант VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», дипломант международных литературных конкурсов имени Ольги Бешенковской, Мацуо Басё, премии-ордена им. Кирилла и Мефодия, конкурсов «Лучшие поэты и писатели России» (2013, 2016, 2017) и др.; вошла в лонг-лист премии им. И. А. Бунина (2011, 2012, 2015), в шорт-лист Международной литературной премии им. Ф. Достоевского. Имеет более 120 публикаций.

Переживший хозяев домишко.
И гудят на ветру провода.
Будто птицы, взлетает бельишко
На верёвке,
Будто ветер тугой
Ударяет наотмашь, с размаха.
И не будет ведь жизни другой.
И никто не восстанет из праха.

И первые в конце зимы морозы
Напомнят: всё приходит, что должно.
И с высоты заснеженной откоса
Лишь белое увижу полотно.
Нет берегов,
Нет русла...
Только поле...
Никто не видит,
Как течёт вода.
Вот так и мы – сжимаем рот от боли,
Но на лице от чувства – ни следа.
Всё там, внутри,
Под панцирем из льдины.
Там подо льдом всегда бежит река,
Что всё же к лету упадёт с плотины
И отразит, качая, облака...
Всё вскроется.
Всему черёд свой будет...
И как любовь ты в сердце ни таи,
Не уверяй других в своей остуде,
Она задышит паром от земли...

Так нежно пьёт по капле ночь
Жасмин припухшими губами.
И держит, словно крепкий скотч,
Нас рядом нечто между нами...
Хоть не похожие ничуть,
Друг друга слышим как сквозь стенку.
И мечемся, как будто ртуть,
В сердцах разыгрывая сценку.
Так кружит голову жасмин –
Дурманнный, властный, чудный запах...
Дожили, милый, до седин.
Идём к концу, пока без страха.
И опадают все слова,
Как цвет весенний в сильный ветер.
А нить меж нами всё жива
И, как гнилушка, ночью светит.

ОТПУСК НА ДАЧЕ

Снова сердце щемит от потери.
Вот уже день седьмой отпускной.
И заклинило в юность все двери,
Где мечталось легко под сосной.
Залатала и крышу, и руку,
Что поранил запущенный сад.
Год за годом, как будто по кругу,
Словно солнце – опять на закат.
Только сколько уже не вернётся
К этой речке, что мирно бежит...
Жизнь моя, как вьюночек, всё вьётся,
На земле без опоры лежит
И травинки плотней оплетает,
Порываясь махнуть в облака,
Что опять собираются в стаю.
Глянь: к строке потянулась строка...
...И пригрезились мама и папа –
Молодые.
Качели в саду.
Шишки сосны качают на лапах,
И боюсь, в допухи упаду.
А качели всё выше и выше...
И уже в облаках я парю,
Хоть и знаю, что дождик по крыше –
Он зарядит из них к сентябрю.

Майское спокойное тепло.
Тополя уже бросают тени.
И пускает зайчиков стекло
Погулять на серые ступени.
Я боюсь их весом раздавить,
Но они запрыгнули на туфли.
И как будто золотую нить
Тереблю, учась играть на гусях.
Подставляю солнышку лицо,
Жмурюсь от нахлынувшего света.
На руке повисло пальцецо.
И в затылок дышит жарко лето...
Только воздух чуть горчит дымком
От костров, где листья жгут сухие,
И осенним тянет сквозняком
Сквозь деревья жалкие, нагие...
...И от нас останется дымок
Горьковатый в воздухе весеннем,
И тетрадки в росписи из строк –
Перед тем, как кануть в ночь, в забвенье.



**Иван
ШУЛЬПИН**

МАРТОВСКИЕ МЕТЕЛИ

Я мест немало повидал,
Но почему-то снится это:
Две колеи, бегущих вдаль,
Лесок, теплынь и – лето,
лето...

И лишь ромашковый лужок,
Накрапом выбелив низину,
Как первый реденький снежок,
Напоминает зиму,
зиму...

Что за птица ночная угрюмая
Все кормушки, что с вечера загодя
Приготовил для утренних птах я,
Поограбила, вымела дочиста,
До последнего малого зёрнышка?

А теперь где-то в дебрях, нахохлившись,
Спит весь день под метельные посвисты
И хохочет, проснувшись, и ухаёт,
Потешается, ведьма лесная,
Надо мной, простофилей обманутым,
И над бедными сирыми птахами.

Я широкие лыжи настрою
И пойду по чащобе разыскивать
Эту птицу по голосу зычному,
И найду, и в глаза ей всё выскажу,
Пусть сидит и, разбойница, слушает,
И глазами лубочными хлопает!

ПОЛНОЛУНИЕ

Зябко от холодного огня:
Это полная Луна – Луница! –
Пялит так своё глазище,
Будто потеряла на Земле меня,
А теперь вот ищет, ищет...

Персики в моём саду
 Отдают теплом и светом алым.
 Я на стол их в веранде кладу...
 Кажется, дело теперь за малым:
 Девушка войдёт сейчас
 В розовом, свежа и знойна,
 Сядет за стол и глянет на нас,
 Кисти Валентина Серова достойна.
 Я в мечтаньях глаза прикрыл,
 Пребываю уже в эмпиреях,
 Слышу шелесты ангельских крыл –
 Кто-то рядом шажочки отмерил...
 Чу! Явилась свежа и нежна!
 Я глаза открываю, и – фу ты! –
 За столом сидит моя жена,
 Уплетает румяные фрукты.

Вот, мечтатель, другая версия
 Картины Серова: «Бабушка с персиками».

ПОХОРОНЫ СКОМОРОХА

Хоронят скомороха.
 Под саваном в цветных горошках,
 Ромбах и тузах бубновых
 Шут гороховый
 И забубённая головушка
 Лежит.
 Лежит само спокойствие,
 Лежит само достоинство...

А следом прёт толпа смеющихся,
 И скачущих вприпрыжку,
 И корчащих гримасы;
 Толпа в цилиндрах чёрных,
 В чёрных фраках, галстуках,
 В угрюмых бледных масках...

И лишь обочь, зарёваны,
 Стоят девчушки в жёлтых букольках
 И мальчики розовощёкие,
 Зарёваны, стоят.

ПЕСЕНКА

Обочь дороги прошвою
 Кусты, лыжня в снегу...
 Как будто бы из прошлого
 Они ко мне бегут.

Вон там, за дымкой снежною,
Откуда тянет след,
Мне будто бы по-прежнему
Всего семнадцать лет.

И лыжи мои звонкие
Туда несут меня,
Где голоса девчоночьи
Так весело звенят.

И на морозе жарко мне,
И лёгок лыж полёт...
Вот-вот и красным шарфиком
Любовь моя мелькнёт.

*Дней лет наших – семьдесят лет,
а при большей крепости – восемьдесят лет...*

Псалтирь

1.

Чистый голос серенькой кукуши
Мне опять, опять тревожит душу.

Словно в детстве давнем, как тогда,
Долгий счёт сулит моим годам.

Только я теперь совсем не рад им:
Ведь отсчёт веду уже обратный...

2.

Вот живёшь теперь и ждёшь,
Хоть и ждать не нравится:
То ли сам, гляди, погрёшь,
То ли кто отправится
Из знакомых к праотцам.
К размышленьям поводы
Эти жданки, проводы,
За и против доводы...

Я в окошко стучаться не стану,
Не вспорхнёт занавеска в ответ,
За щелястой оторванной ставней
Порыжевшие клочья газет,
Из которых средь блёклых колонок
Со следами потёков дождя
Лбом упёрлось упрямым наклоном
Полинявшее фото вождя.

ВАРИАЦИИ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

*Расцвели на лугу незабудки,
Словно небо упало в траву.
Утром выйду в луга на минутку,
Незабудок охапку нарву.*

Принесу и цветами украшу,
Застелю и венками увью
И греховную спальницу нашу,
И греховную шею твою.

1966 г.

*Расцвели на лугу незабудки,
Будто небо упало в траву.
Утром выйду в луга на минутку,
Незабудок весёлых нарву.*

Не беда, что букет мой завянет,
Я из счастья не строю музей.
На короткую радость заглянет
Кто-нибудь из моих друзей.

2016 г.

МАРТОВСКИЕ МЕТЕЛИ

Ветра с подвывами свистели,
Снега позёмками летели,
Свивались в чёртовы спирали,
Столбами тучи подпирали,
Ломились в ставни и калитки,
Несли прохожих под микитки
И – словно парни загуляли! –
Подолы девкам заголяли...

И вдруг утихли, пали духом:
Порхает хлопьями и пухом,
То падает, а то взлетает
И на щеках румяных тает
Последний снег. И первый лучик
В прореху выглянул из тучи,
И по снегам рябые тени –
От тех снежинок – полетели.

Машет женщина белым в окне.
Машет женщина явно не мне,
Потому что совсем не знаком
Мне с весёлыми окнами дом.

А когда-то давненько, бывало,
Меня женщина так призывала
На свиданье условным платочком,
Не жена мне, не мать, не дочка.

И теперь уже кажется мне,
Что она это машет в окне.

И откликнулось сердце на зов.
Хоть обман этот, знаю, не нов,
Но так мил мне привет издалёка,
Из других, подзабытых мной окон.

Подхожу я всё ближе и ближе,
Всё ясней и отчётливей вижу...
И уходит из сердца тепло:
Натирает до блеска стекло
Молодая хозяйка. Она
Ничего за пределом окна,
Кроме пятен мушиных, не видит...

Ну и пусть. На неё не в обиде,
Я вниманья к себе не прошу.
Я ей тоже рукой помашу.

*Художнику и поэту
Борису Медведкину*

Не берёт застольное веселье.
Я не знаю, что тому виной.
А привычка к табаку и зелью
Кажется всерьёз уже дурной.

Надоело мне глазеть на женщин –
Приостыла, загустела кровь,
И повадкой пошлой стало меньше
Рифмовать, как прежде,

«вновь – любовь».

Вот закроюсь в чистенькую келью,
Буду книги мудрые листать
С благородной и высокой целью –
Чтоб умом и сердцем чище стать.

Но мой друг даёт вина и спичку...
Я уже с тоской гляжу в окно.
До чего ж сильна-таки привычка
Жить в миру, курить и пить вино,

Улыбаться милым потаскушкам,
Слушать охи-ахи и враньё...
За окном церковные макушки
Облепило густо вороньё.

Хоть гадай, хоть колдуй, хоть пророчь:
Я зачат был в купальскую ночь.

От костров растекалась теплынь,
Месяц лодкой по озеру плыл,
А цветущего папорота пыль
Распаляла любовников пыл...

Я родился в конце февраля,
Ветрогона, гуляки, вряля:

Утром – хруст индевелых петель,
Днём – как лён голубая! – капель,
Ночью в ставни колотит метель,
Холод лезет погреться в постель...

Поневоле достанешь чернил,
Как когда-то поэт сочинил.

Наталье

Не пали ты зря свечей
По душе моей заблудшей
И не слушай тех речей,
Коль наскажут. Лучше

Собери в кружок друзей,
Мало их – хоть в полукружье,
Чашу полную налей
Для беседы дружьей.

Чаша нашего вина
Пусть пойдёт от друга к другу.
Не твоя, не их вина –
Выпал я из круга.

Раз уж свечек вечных нет,
Ставить тленные не надо.
Круговой той чаши свет
Будет мне лампадой.

В конце января (31.01.2019) остановилось сердце **Ивана Васильевича ШУЛЬПИНА**. В лучший мир безвременно ушёл один из лучших писателей России, около двух месяцев не дожив до своего семидесятичетырелетия. Тяжёлую и невосполнимую утрату понесли родные и близкие этого замечательного человека, Саратовское отделение Союза писателей России, наша культура, земляки Шульпина.

Родившийся в селе Бакуры Бакурского (ныне Екатериновского) района Саратовской области, он не прерывал душевной и духовной связи с деревенской Россией, на всю жизнь сохранив в себе самобытную и богатую культуру села и талантливо её воспевая. Не «вышел из народа», а навсегда остался в нём, будучи его (народа) частью.

Шульпин был постоянным и желанным автором журнала «Волга–XXI век». Мы можем гордиться, что проза такого художественного и нравственного уровня создана нашим земляком, и много лет спустя читатели с развитым литературным вкусом будут радоваться, читая его книги. Повести и рассказы Ивана Васильевича всклень наполнены поэзией, в них (вспомним определение В.И. Даля) – поистине живой великорусский язык. В них – правда.

Прекрасный прозаик, Иван Шульпин в не меньшей степени был и настоящим поэтом. Стихи его разнообразны – и философская лирика, и изящный юмор, и любовные стихи, и стихи, приближающиеся формой к народной (или советской – в лучшем значении этого слова) песне. А народный язык в них – не нарочитое подстраивание, не стилизация – это естественный (как дыхание, которое нельзя имитировать) язык самого автора. Такое же определение можно отнести и к образной системе поэзии Ивана Шульпина.

В последнее время, как бы подводя итоги творчеству, он решил опубликовать и издать свои произведения «малого жанра» – воспоминания, размышления. Эти эссе иногда становились своеобразной публицистикой (вполне художественной). Своеобразной – потому что публицистика И.В. Шульпина обходится без глумливого ёрничества, обвинительных выпадов и передёргиваний, мудра, интеллигентна, добра, культурна. Даже вступая в спор с собратьями (противниками Иван Васильевич не считал никого!) по перу, он всегда уважал их право на иное мнение, не задевая их достоинства, тем самым никогда не роняя своего.

Он любил Родину, малую родину, русскую словесность и служил им искренне, честно, не допуская в своих произведениях ни малейшей фальши. Иван Васильевич Шульпин был человеком увлечённым, жизнь ценил во всей её полноте. Прекрасный прозаик, поэт, эссеист, переводчик, он не изображал небожителя – в том смысле, что не только не чурался поработать на даче лопатой или граблями, но и не мыслил себя вне этих благородных крестьянских занятий. И, видимо, вдохновение и душевный отдых доставляла ему рыбалка, в которой он разбирался как мало кто другой и которой занимался в любую свободную минуту – и летом, и зимой.

Талантливый человек талантлив во всём. У Шульпина были золотые руки, что в сочетании с врождённым (да и всю жизнь сознательно приобретаемым) эстетическим чувством позволяло ему создавать из найденных корней и «собственноручно» выращенных овощей (или вырезать из дерева) то, что он скромно называл «поделками», а по сути, их можно бы отнести к изделиям-произведениям народного промысла, точнее, искусства, коим могли бы позавидовать мастера. Это наследие Ивана Васильевича теперь находится в фондах Областного краеведческого музея. И оно ещё более повышает доверие к Шульпину-писателю.

Вечная память и благодарность замечательному писателю и человеку!

Скорбим, выражаем глубокое и искреннее соболезнование родным и близким Ивана Васильевича Шульпина.



**Вячеслав
АРХАНГЕЛЬСКИЙ**

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ О БЛИЗКИХ ЛЮДЯХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Казалось бы, что-то сверхъестественное должно случиться в жизни, чтобы смогли оказаться рядом, на расстоянии вытянутой руки такие полярно противоположные по социальному статусу люди, как последний российский самодержец Николай Второй и мой дед Пётр Емелин – крестьянский сын из бедной поволжской деревни? Или академик Сахаров и отец мой – слесарь шестого разряда? Нарком лёгкой промышленности Анастас Микоян и прядильщица льнокомбината, моя незабвенная бабушка Матрёна Лукьяновна?

Этот перечень можно продолжить. Так, видно, распорядилась судьба, столкнувшая этих людей на каком-то важном, переломном моменте их жизни. И потому я чувствую, как через моих родных абстрактные понятия: Родина, история России – обретают вполне конкретные очертания и приближаются ко мне, пробиваясь сквозь наслоения десятилетий и веков. Я начинаю различать облик живых когда-то, реальных людей, а не забронзовевших идолов; и события, казалось бы, совсем отдалённого прошлого оказываются не такими уж и далёкими.

Я родился всего через тридцать четыре года после начала революции и свержения царя. И сейчас вспоминаю: а что же было эти три с половиной десятилетия тому назад в моей жизни? А это всего лишь 1983 год, когда появилась на свет моя младшая дочь и я принял участие в совещании молодых писателей в Доме отдыха на Шарташе, где нас поселили в одну комнату вместе с амбициозным, начитанным Марком Либерманом (ставшим впоследствии известным критиком Липовецким).

Всё неслучайно в этом мире. Время – не застывшее нечто, оно как бы разлито в пространстве, и ты окунаешься в него как

-
- Вячеслав Николаевич Архангельский родился в 1951 году в г. Мелекесе (ныне Димитровград) Ульяновской области. Окончил отделение истории искусств Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Искусствовед. Был предпринимателем. Курировал малый и средний бизнес в администрации Екатеринбурга. Кандидат экономических наук. Публиковался в журнале «Урал».

в воду и плывёшь, плывёшь «по волнам своей памяти». Совершенно не имеет значения, в какую сторону – ты волен делать всё, что хочется: плыть быстрым брассом или медленно на спине, глядя на белые лёгкие облачка в голубом небе. Ты здесь в своей стихии и тысячами нитей связан с прошлым благодаря предкам, а через своих детей и внуков – ты в будущем, на которое уже смотришь их глазами.

ПРАДЕДЫ

О своём прадеде со стороны отца я знаю только то, что рассказывала о нём моя бабуся. Он был кузнецом, и говорят, хорошим. С заказами к нему постоянно шли люди, и потому жила семья небедно. По крайней мере, он всем своим детям дал возможность учиться. Так, мой дед Михаил, будучи подростком, четыре года обучался в классической гимназии. Кстати, великий Бунин также окончил только четыре класса.

От деда осталась только одна фотография, сделанная в 1915 году в Симбирске, на которой он, стриженный наголо, статный шестнадцатилетний юноша, запечатлён с семьёй своего дяди. У прадеда, получается, было как минимум ещё два родных брата. Один – на фото, в картузе с блестящим козырьком, бравый усатый мастеровой. Другой, старший, пошёл по духовной линии: сначала окончил семинарию, потом постригся в монахи и дослужился до чина архимандрита – настоятеля одного из мужских монастырей в Подмосковье. Бабуся называла его «патрархиереем» – так, по крайней мере тогда, слышалось мне, но такого сана нет в церковной иерархии, и потому можно только предполагать, что значило это слово на самом деле.

Но дед Михаил видел своего дядю всего один раз, когда тот приезжал проведать брата в девятом или десятом году прошлого века. Приехал на собственной золочёной карете, в парчовых церковных одеяниях. Народ, увидев этакое чудо в их забытом богом захолустье, толпой бежал за каретой. А когда она остановилась и столичный гость пошёл по дощатым мосткам, проложенным через грязь, прямо к дому с крытой железом крышей и палисадником, какие-то люди кинулись в ноги священнику и стали целовать его царские одежды и руки с криками: «Благослови, Пресвященный!» Мой прадед со всей своей семьёй вышел встречать дорогого гостя, как положено, хлебом-солью на расшитом красными узорами белом льняном полотенце. Этот рушник я хорошо помню – он лежал у бабуся на самом дне сундука, потому как он перешёл к ней после их венчания с дедом Михаилом.

Сейчас, по прошествии многих лет, когда житейская суета поулеглась и не надо никуда торопиться, бежать сломя голову, бороться за место под солнцем, я заинтересовался своими корнями и стал вплотную изучать родословную. Начал с фамилии – Архангельский. Она, во-первых, не имеет никакого отношения к городу Архангельск и его славным гражданам – архангелогородцам. Предки с такой фамилией встречаются в исторических документах, начиная с шестнадцатого века, но тогда это была очень редкая фамилия. Широкое распространение она получила только два века спустя, когда многие выходцы из крестьян и людей низших сословий пошли на учёбу в семинарии и духовные училища. Некоторые из них – у кого были неблагозвучные фамилии или прозвища – меняли свою на церковную, связанную с православными святыми и праздниками. Так появились Вознесенские, Рождественские и Архангельские – в честь лидера небесного воинства – Архангела Михаила.

Мои предки-однофамильцы по преимуществу становились священниками в самой глубинке Российской империи – в сёлах и небольших городах. Я это выяснил, когда на сайте «Генеалогия» просмотрел список людей, носивших эту фамилию. Так вот, большая часть из них была попами, дьяконами, певчими, а некоторые, как мой двоюродный прадед, приняв монашеский постриг, становились церковными архиереями – настоятелями монастырей, епископами, преподавали в духовных академиях и семинариях.

И вот что особенно поразило: основная масса Архангельских, служителей культа, живших так же бедно, как и окружающее их население, паства, не приняли свержение царя и установление новой власти – власти Антихриста, то есть противостоящего Христу. Не могли они нарушить данную ими когда-то клятву православной вере и, как могли, разъясняли народу, что ничего хорошего от властей предержавших ждать не приходится. А когда повсеместно стали бороться с религией, как «опиумом для народа», – сбрасывать колокола, жечь веками намоленные иконы, закрывать храмы, устраивая в них склады, конторы, а то и конюшни, – досталось и священникам, которых всячески притесняли и гнобили...

Проанализировав массу документов, я могу с уверенностью сказать, что служители православной церкви с фамилией Архангельский стали одними из первых массовых жертв революции и гражданской войны. Их сажали в тюрьмы и расстреливали, начиная с 1918 года, многие получили сроки заключения в три-пять лет концентрационных лагерей – это страшное словосочетание появилось именно у нас в первые годы республики Советов. Все двадцатые и первую половину тридцатых годов гонения продолжались с утроенной силой, стали появляться и расстрельные дела с формулировкой: «за создание контрреволюционных организаций и активное сопротивление Советской власти». И пошло-поехало...

Любой из священнослужителей, произносящих проповедь с амвона, мог тогда по чьему-то безграмотному доносу или навету быть обвинён в антисоветской пропаганде и подвергнут аресту, допросу с пристрастием и осуждению. Не жалели даже больных стариков шестидесяти-семидесяти лет. Ну а уж тридцать седьмой и все последующие годы репрессий не знают аналогов в мировой истории. В списке, помещённом на сайте «Генеалогия», указано сто двадцать священников с фамилией Архангельский. Из них сорок шесть были расстреляны сразу после вынесения приговора особым совещанием или «тройками НКВД» – такого тотального, ненавистнического отношения к русским православным людям, своим согражданам, не было никогда до этого в отечественной истории. И, как мне показалось, именно сама наша фамилия и вызывала такую лютую ненависть у власти и тёмной массы необразованных, но жаждущих мести людей. Потому так длинен и нескончаем этот печальный мартиролог.

На сайте о белом духовенстве Русской православной церкви помещён свой скорбный список пострадавших священников. К сожалению, я так и не узнал мирского имени моего предка, а то бы непременно попытался отыскать хоть какие-то сведения о нём. Но думаю, почти наверняка он стал одним из тех мучеников совести, что были репрессированы и расстреляны. Потому что не могли они поступиться своей верой, принципами, главному из них: служба людям – служишь Богу.

Даже в глухие времена разгула государственного атеизма и воинствующего безбожия находились люди, способные говорить правду и просвещать свой народ. Я помню, как моя бабушка Прасковья истово молилась единственному стоящему на полочке в красном углу образу Господа. Она

соблюдала все посты – и великие и малые, отмечала все церковные праздники. И, может быть, именно поэтому, благодаря вере и постоянным, каждодневным молитвам, ушли на фронт, а потом вернулись живыми все её четверо сынов.

Вторая моя бабушка – Матрёна Лукьяновна, или, как мы все её в семье называли, бабуся – хотя и была партийной, но тем не менее по праздникам заходила в церковь – вернее, это был молельный дом – обычный пятистенок в четыре окна, но с небольшой маковкой на крыше, увенчанной деревянным, посеревшим от времени крестом. Она заносила туда списки, которые, сколько себя помню, я писал под её диктовку на тетрадных листочках, разделив их чертой пополам: на левой стороне – «за здоровье», а на правой – «за упокой души». В первом столбце имён было немного: мои родители и братья, вот во втором перечень внушительный, почти до самого нижнего края листа.

Где бы я потом, став взрослым, ни бывал, ноги сами приводили меня к храму. Всегда и в любом городе находил я действующую церковь и заходил туда с внутренним трепетом и волнением, покупал две свечи и ставил: одну – за здравствующих, другую – за покойных моих родственников. Тогда я даже не знал толком слов ни одной молитвы, но мысленно всегда просил Господа о снисхождении и поддержании моего слабого духа, о здравии и удаче в добрых начинаниях. Помню, что если приходил в храм в дурном настроении, нервным и задёрванным житейским неустройством, то уходил успокоенным, умиротворённым, и мне всегда на выходе в лицо светило солнце, словно говоря: «Всё наладится, всё будет хорошо». Дай-то Бог!

ДЕД ПЁТР

Конечно, правильнее было бы начать повествование историей о другом моём прадеде, но, к своему стыду, о нём я не знаю практически ничего. Известно, что он был родом из села Новая Майна, носил фамилию Емелин и был таким же, как и большинство – бедным крестьянином. Единственное, чем он мог гордиться, это тем, что младший его сын Петрушка два года ходил в церковно-приходскую школу и знал грамоту – умел читать, писать и считать аж до тысячи. И это обстоятельство определило в дальнейшем судьбу моего деда.

Когда ему исполнилось двадцать лет – а это случилось как раз на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий, – его призвали на военную службу, и попал он в часть, стоявшую под Петербургом, в самом Царском Селе, где жил император Николай Второй со своей семьёй.

Поскольку солдат Пётр Емелин ростом не вышел, то стоять в карауле или ходить строевым маршем на смотрах перед самодержцем и генералами его не брали. Но по причине некоторой грамотности определили денщиком к офицеру – начальнику одного из караулов царской охраны.

На протяжении всех шести лет службы он верой и правдой служил своему штабс-капитану, делая всё, что положено и что приказывали. Им были довольны. Зуботычин не получал, ходил в чистой форме и белых перчатках.

Не один раз рядовой Емелин видел, правда, издалека, как на золочёной карете выезжал из ажурных ворот дворца царь со своей семьёй: сначала с тремя дочерьми, а затем и с маленькой великой княжной Анастасией, сидевшей на руках у императрицы. Цесаревич Алексей появился на свет позже, когда моему деду оставалось служить около двух лет – уволили его в запас в 1906 году.

Но вспоминать о тех временах дед Пётр не любил, и когда бойкая моя мама, будучи в деревне в гостях, подначивала его: «Тятя, а тятя, расскажи, как ты в белых перчатках ходил?» – он только смущённо отмахивался: «Да ну тебя, Зойка, к Богу!»

Дед не любил много говорить, был молчуном. Но его доброе, открытое лицо с белой окладистой бородой никогда не искажала гримаса недовольства или раздражения. Он не повышал голоса, был тих и скромен, а также на редкость чистоплотен. Из привычек, оставшихся со времён царёвой службы, я помню, пожалуй, одну – он любил при случае выпить рюмку-другую ликёра. Зная это, мой отец всегда старался привозить для него из города бутылочку этого сладенького и слабенького, по сравнению с водкой, напитка. В местном магазине на прилавке красовались только два вида спиртного: «белое» – водка, и «красное» – вино, чаще всего недорогой портвейн.

Дед Пётр так и не принял революцию, не смирился со свержением царя, но и в гражданской войне не участвовал, ссылаясь на слабое здоровье и наличие большой семьи – только выживших детей было семь душ. Наверное, поэтому его не тронули ни красные, ни белые.

Хозяйство у Емелиных было немаленьким – за время службы дед подкопил деньги и потому, женившись, обзавёлся всем необходимым: справная лошадь, две коровы, бычки, свиньи с поросятами, с десятков овец и, конечно, куры, гуси. Жили и кормились только своим трудом – все подраставшие дети помогали отцу по хозяйству, у каждого была своя обязанность.

В сельпо ходили раз в месяц. Покупали только самое нужное: керосин, спички, муку, соль, четверть растительного масла и фунт сахару – ребятишек побаловать. Даже чай не покупали – бабушка сушила мелко нарезанную морковь и потом заваривала её кипятком. Получался морковный чай, который был хотя и мутноватым и не таким душистым, как чёрный, зато полезный и свой.

Когда началась коллективизация, у Емелиных забрали почти всю скотину, оставили только ледащую коровёнку и несколько кур. Бабушку Прасковью обязали вступить в колхоз, а дед отказался наотрез и, чтобы его оставили в покое, устроился сторожем в контору «Заготзерно», где дежурил ночами через день. В свободное время занимался по хозяйству: что-то ремонтировал, латал обувь, подшивал валенки.

А больше всего он любил, взяв удочку, уйти с утра пораньше на Авраль и там ловить рыбку. В этой неширокой, извилистой, но полноводной речушке наверняка водилась разная рыба, но я почему-то помню только мелких, но упитанных пескарей, которыми дед уже к обеду доверху забивал большую глиняную крынку. И даже я позже, когда деда Петра уже не стало, ходил на речку, на то же самое место, и всегда возвращался с приличным уловом – это были всё те же пескари.

Из этой рыбёшки бабушка и варила ушицу, и жарила на сковородке с растительным маслом, и пекла пироги – так её было много.

Сама бабушка Прасковья, отработав в колхозе, приходила домой и тут же, не переведа дух, бралась за чугунки и ухваты – готовила нехитрую еду на всю ораву. К слову сказать, её наградили орденом «Мать-героиня» третьей степени, и он, этот орден, хранился завернутым в белый ситцевый платочек за иконой Николая Угодника, на полке в уголке крошечной кухоньки, где помещался всего один стол.

Дед Пётр умер весной 1962 года на восемьдесят втором году жизни. Скончался он так же, как и жил, тихо, скромно: прилёт отдохнуть – и не проснулся...

У меня сохранилось несколько фотографий с этих похорон – там тогда собрались все мои дядя с жёнами и детьми, мама с отцом, её сестра. Меня почему-то не взяли – видно, в очередной раз болел, ведь именно в тот год какой-то циничный эскулап определил у меня «ревматизм сердца». Когда я спросил у него, что это такое и чем грозит, он мне, одиннадцатилетнему пацану, выдал: «Болезнь неизлечимая. Проживёшь лет до шестнадцати – и всё!» Может быть, он так неуклюже пошутил, но я, выйдя из больницы на улицу, безутешно и горько заплакал – так не хотелось умирать таким молодым. Мне мечталось стать лётчиком или моряком – а тут такое...

Деда похоронили на деревенском кладбище, установили деревянный крест – всё, никаких табличек и надписей. И когда потом, значительно позже, я приехал проведать его и бабушку, похороненную рядом с ним, через двадцать лет, то так и не смог найти их могилы – до того это кладбище расширилось и заросло деревьями и кустарником.

ДЕД МИХАИЛ

Как говорила моя покойная бабуся, я был здорово похож на деда Михаила, особенно в молодости, а он умер от болезней и ран двадцати семи лет от роду и был всего на год старше неё. «Весь в деда, – говорила она, – у него тоже на голове волосы тёмные, а борода – рыжеватая». Сохранилась всего одна фотография, о которой я уже говорил, где он запечатлён вместе с семьёй своего дяди. Михаилу Архангельскому на ней всего шестнадцать лет – высокий, коротко стриженный, стройный юноша в хромовых сапогах, новой поддёвке и жилетке под ней с какими-то затейливыми шнурочками и мелкими пуговками.

Мы действительно очень похожи. Порой мне кажется, что дед Михаил неотторжимо живёт во мне и смотрит на мир моими глазами. Это сложно объяснить, но я попробую...

Судя по бабусиным рассказам, он с детства показал себя смышлёным и шустрым мальчиком: всё схватывал на лету, быстро научился читать – по вывескам магазинов и заголовкам газет, которые изредка попадали в дом. Его отец – мой прадед – размещал в местной прессе объявления об оказании кузнечных услуг: подковка лошадей, изготовление скоб и гвоздей, оград и решёток. Заметив тягу сына к грамоте, сначала отдал его на обучение в обычную земскую школу, но тот очень быстро перегнал в учёбе всех своих сверстников – бегло читал, считал и даже знал письмо. Потому учителя и посоветовали отдать способного мальчика на обучение в классическую гимназию.

Михаил с честью выдержал свой первый экзамен, и после всех испытаний его зачислили, и он стал гимназистом – единственным во всей нашей многочисленной родне. Остальные его высот так и не достигли, а у его будущей жены за плечами был только один ликбез, где её научили худо-бедно писать свою фамилию, читать по слогам, ну а счёт она освоила сама ещё в детстве, когда была «в няньках» – возилась с чужими младенцами за сорок копеек в месяц.

Учился Михаил весьма усердно и не без успехов – имел похвальные листы и несколько книг с дарственными надписями: «За особое усердие и прилежание в изучении наук». Но так уж случилось, что дела у отца стали идти хуже: народ беднел, заказов становилось всё меньше, и платить за обу-

чение сына, как прежде, он уже не мог. Михаил успел проучиться в гимназии только четыре года, а дальше стал помогать отцу в кузне.

Через несколько лет грянула война с германцами, а вслед за ней огоршила растерявшийся народец и новость о том, что свергли царя и «свершилась революция». Моему будущему деду к тому времени исполнилось восемнадцать лет.

В городке было беспокойно: то тут, то там по ночам слышались выстрелы, городовые исчезли с улиц, а вместо них появились хамоватые, полупьяные мужички в серых шинелях без погон, на груди у которых булавками были прикреплены какие-то грязные, с махрящимися краями красные ленты. Эти бежавшие с фронта бывшие солдаты назывались «красной гвардией» и считали себя единственной законной властью.

Богатые купцы и местная знать, быстро упаковав свои чемоданы с драгоценностями и мехами, сбежали из города в одночасье. Как дальше жить, когда вокруг царили сушая анархия и вольница? А тут ещё поднял мятеж чехословацкий корпус и двинулся из Сибири на запад, на свою родину, попутно захватывая города и расстреливая всех неугодных – чаще всего большевиков и их сторонников, но под горячую руку попадали и невинные люди.

В это время – а это был уже восемнадцатый год – и началось великое кровопролитие, получившее позднее название «гражданская война», то есть массовое убийство одних граждан другими такими же гражданами. Что случилось с моим прадедом-кузнецом, я не знаю, а вот деду Михаилу пришлось хлебнуть лиха...

Именно тогда, летом, в наш город, который Артём Весёлый в своём романе «Россия, кровью умытая» назвал «Клюквин-городок», приехал будущий герой этой братоубийственной войны Василий Чапаев – он набирал бойцов в свою формируемую дивизию. Сначала потихоньку, несмело к нему двинулись мужики из фабричных рабочих и другой мастеровой люд, оставшийся без дела, записываться в армию. Михаил не долго думал, собрался и тоже пошёл к чапаевцам. Поскольку грамотных, а тем более имевших гимназическое образование было немного, то будущий легендарный комдив и герой массы анекдотов сразу назначил молодого и смыслёного паренька командиром взвода. В подчинении у него оказалось почти три десятка мужиков старше возрастом, но он не сплеховал – был смелым, находчивым и быстро, уже в боях, приобрёл непререкаемый авторитет и уважение у подчинённых. Имел ранения, переболел брюшным тифом и прошёл вместе с 25-й Чапаевской дивизией весь её боевой путь.

В двадцать третьем году, по окончании войны, его по состоянию здоровья уволили из Красной армии в запас. Вернувшись в родной городок, он долго лечился, но жизнь брала своё, и Михаил решил жениться. Кто-то посоветовал ему посвататься к Моте Каргиной, молодой вдове, у которой муж умер от ран ещё в девятнадцатом, а единственный ребёнок не выжил в страшном голодном двадцать первом году. Они сошлись, а потом и зарегистрировали брак, как положено, по новым законам. Через год у них родился сын, назвали его Николаем. А спустя две недели мой дед Михаил Архангельский скоропостижно скончался. Это случилось в июне двадцать пятого года, как раз перед днём рождения моей бабушки – Матрёны Лукьяновны Архангельской, которая умрёт в тот же день, но только по прошествии сорока девяти лет после смерти деда.

Я не знаю, что ещё можно сказать о моём деде, давшем жизнь моему отцу, а значит, и мне. Царствие Небесное рабу Божию Михаилу... Я люблю своего дедушку, хотя никогда не знал и не видел его вживе.

ДЕД ИВАН

Строго говоря, дед Иван, по существу, и не был мне родным дедушкой. Он, четвёртый муж моей незабвенной бабуся, умер, когда мне ещё не исполнилось и четырёх лет – летом 1955 года. И помню я его смутно – скорее, по рассказам бабушки и родителей.

Правда, у нас в доме на стене в большой раме под стеклом были две увеличенные фотографии в одинаковых витиеватых картонных рамках. На одной – Иван Николаевич, с лихо, по-будённовски закрученными кончиками острых усов и почему-то в кепке; на другой – бабуся, с причёской, какой я никогда у неё не видел: все волосы в мелких кудряшках. Фотограф-ретушёр явно перестарался, загладив все её морщинки и «одев» в белую блузку с кружевным воротничком, а также в какой-то модный жакет с широкими лацканами – таких вещей у неё не было никогда.

Так вот, Иван Николаевич появился в её жизни сразу после войны, но история о том, как они сошлись, до меня не дошла. Да и как-то не принято было в те годы говорить об этом вслух или интересоваться. Потому расскажу только о том, что помню...

Раньше у деда Ивана была семья, но в годы войны его жена Панка сошлась с каким-то мужиком, и он, придя с фронта, остался один – обычная по той поре история. У них был всего один сын Пётр, или дядя Петя, как я его звал, также провоевавший все четыре года.

Иван Николаевич работал маляром, причём какого-то самого высокого разряда, и все его очень уважали. Но, как большинство людей этой профессии, он «не любил» выпить, и этот самый большой его недостаток, как ни странно, очень сильно нас выручил...

Зима в конце пятидесят первого и в начале пятидесят второго годов отличалась особо крутыми морозами, и потому печку топили по два раза в день – утром и вечером. Тем более что в доме появился младенец – это я, трёхмесячный сосунок.

В один из таких морозных вечеров меня хорошо выкупали в большой оцинкованной ванночке, обтёрли насухо, накормили и спать уложили. Причём, чтобы тепло не выветривалось в трубу, а я в результате не замёрз, кто-то из родителей закрыл печную заслонку немного раньше, чем прогорели все угли...

Вся семья уснула, а угарный газ тем временем растекался по нашим двум комнатам. В одной из них, что поменьше, на широкой двуспальной кровати отдыхали дед Иван с бабусей, а рядом стояла моя маленькая кроватка.

Накануне Иван Николаевич пришёл с работы сильно подвыпивший – они с напарником закончили какую-то халтуру, что-то красили, и им в качестве оплаты выставили две бутылки «белой» с красной сургучной головкой. Бабуся никогда его не ругала, если он приходил навеселе, зато утром деду Ивану доставалось по полной... Похмелья он никогда не знал, соответственно, и голова у него не болела.

А тут среди ночи Иван Николаевич очнулся от того, что голова буквально раскалывалась на части, его страшно мутило, а всё тело охватили противная холодная дрожь и слабость. Слабость была такая, что даже встать на ноги он не смог – так и свалился с постели на пол. И, лишь оказавшись на холодном полу, он почувствовал, как в нос ему ударил угарный запах. С трудом, преодолевая головокружение и озноб, привстал, уцепившись за подоконник, и с третьего раза, дёрнув что есть силы, открыл настежь

форточку. Потом, держась за стенку, чтобы опять не свалиться, подобрался к зыбке и наклонился надо мной – я уже почти не дышал...

Он схватил меня, укутанного в серое байковое одеяльце и, чуть не выронив, опустил на колени. Одной рукой прижимая свёрток к груди, другой стал стягивать одеяло с бабушки: «Мотя, Мотя... вставай! Угорели мы...» – только и смог он из себя выдавить. А затем на четвереньках пополз вместе со мной к двери.

Добравшись, приподнялся и, скинув дверной крючок, на который запирались на ночь, отворил тяжёлую дверь.

«Коля, Зоя, – позвал он моих родителей, спавших в угарном одурении в другой комнате, – проснитесь! Угорели мы...»

А сам выполз со мной на груди в сени, где было холоднее, чем на улице. Но он всё же открыл и входную дверь, выпал с крыльца прямо на мороз и начал обтирать моё личико снегом, чтобы привести в чувство.

Придерживаясь за дверной косяк, в накинутой на плечи шали, покачиваясь, вышла бабуся с горящей в руке свечкой. Посветила на нас: «Ваня, застудишь ребёнка-то?» Но услышала от обычно спокойного Ивана Николаевича такую отборную матерщину, с какой он, наверное, только на фронте в атаку ходил: «...загубили ребёнка...» Она произвольно даже присела со страху.

Бабуся потом рассказывала, что губки у меня тогда уже посинели, я не дышал, и только дед Иван, проснувшийся как будто бы с сильного похмелья, спас меня и всю нашу семью от верной гибели.

Своим вторым днём рождения я полностью обязан ему. Потому как мой родной дед Михаил умер давно, в двадцать семь лет, когда моему будущему отцу было всего две недели от роду, Иван Николаевич стал для меня самым что ни на есть родным.

Умер он внезапно – остановилось сердце. И тогда в первый раз в своей коротенькой жизни я плакал навзрыд и никак не мог остановиться, потому что не мог представить себе, как буду жить без него. Без тетёшканий и катания на его сильной, согнутой в колене ноге, когда, усевшись на ступню и вцепившись в штанину, я то взлетал вверх, то падал вниз, как на качелях; без его игрушек-свистулек и корабликов, выстроганных из дерева и раскрашенных яркими масляными красками.

Гроб с телом деда Ивана повезли на кладбище в кузове грузовой машины, а меня посадили в кабину рядом с шофёром.

Помню, глаза застилают слёзы, в руке я держу бумажные цветочки и зачем-то тяну в рот медную проволочку, на которой они крепились. Когда я стал её жевать, водитель, увидев это, сказал: «Не бери эту проволоку в рот – она ядовитая, можешь умереть...» С тех пор для меня медная проволока стала символом чего-то страшного и смертельно опасного.

Больше моя бабуся замуж не выходила, хотя к ней сватались разные «самостоятельные», как говорили тогда, мужчины.

Иногда, устав от нескончаемых хлопот по дому и возни с нами, четырьмя сорванцами (у меня появилось ещё три младших братика), она, в сердцах хлопнув дверью, уходила на выходные в гости к дяде Пете – сыну Ивана Николаевича. Тот всегда называл её мамой и постоянно предлагал перебраться жить к ним, даже отдельную комнатку для этого выделил.

Но бабуся, отдохнув день-другой, возвращалась домой и снова тянула нелёгкий воз повседневных забот, пока папа с мамой трудились, добывая нам хлеб насущный, на льнопрядильной фабрике, работавшей в те годы в три смены.

О МОЕЙ БАБУСЕ

Моя Арина Родионовна – так я про себя называю свою бабушку, бабуся Матрёну Лукьяновну Архангельскую. Она родилась практически в один день с Александром Сергеевичем, в начале июня, только спустя ровно сто лет. Но не только поэтому, не только календарное совпадение даёт мне право так называть свою бабуся. Прежде всего, она для меня стала тем же, чем была нянька для Пушкина – кладезем народной мудрости, источником устного фольклора, сказаний, притч, легенд, носителем традиций нашего народа, человеком, связующим далёкое прошлое с настоящим. Её глазами на меня смотрели все мои предки: воины и священники, крестьяне и ремесленники. В её лице вся предшествующая история нашего рода прикасалась ко мне чуткими, но огрубевшими от работы пальцами, одаряла доброй улыбкой, подтрунивала над моими детскими горестями и неудачами, корила за невольные шалости, баюкала, чтобы я побыстрее заснул, тихо пела мне тягуче-щемящие и грустные песни, рассказывала страшные истории о тёмных лесах и свирепых разбойниках-душегубах; жаловалась на свою судьбу-судьбинушку, наставляла меня на путь истинный; познакомила со всеми грибными и ягодными местами в нашем лесу, научила отличать съедобное от поганого, и ещё много-много чего я впервые узнал от своей бабуся.

Эти заметки – попытка отблагодарить за всё, поклониться до земли и отдать дань светлой её памяти...

О её детстве

Детей в семье Лукьяна Каргина – отца бабуся – было много, практически они рождались через каждые год-полтора, но большинство умирало в младенчестве, и кроме Моти в живых остались только двое младшеньких – Мишка и Наташка, с которыми ей пришлось нянчиться, пока мать возилась со скудным своим домашним хозяйством, а отец пил горькую...

Жили они поначалу в большом старинном селе Тиинске, бывшем остроге, входившем с середины семнадцатого века в Закамскую засечную черту – охранную полосу, защищавшую центральную Россию от набегов разных кочевых народов. Свои немногие десятины суглинистой и тощей земли да на ледащей лошадаёнке Лукьян так и не смог обиходить-обработать, чтобы она принесла хоть какой-то прибыток-урожай, способный прокормить семью. От безысходности начал ходить в чайную, где наливали и в долг, но сперва он пропил всё приданое жены – ведёрный самовар, хромовые её лёгонькие сапожки и богатое, всё в цветном бисере и мелких серебряных монетках монисто. А когда ничего не осталось, за бесценок, почти даром продал свой заросший лебедой и польнью надел.

Чтобы выжить, семья двинулась в близлежащий Мелекесс, тогда ещё не город, а посад, где работали мельница и пивзавод, льнопрядильная фабрика и литейный завод. Избу заколотили досками и, сложив узлы с барахлишком на телегу, тронулись в путь... Устроились на съёмной квартире, фактически в одной тесной комнатухе. Для детей Лукьян соорудил из грубых, неотёсанных досок полати – там, на верхотуре, у самого закопчённого, давно не белённого потолка они втроем-вчетвером и обитали – его детишки.

Сам отец перебивался случайными заработками: то грузил мешки с мукой, то сторожил, но никому из хозяев не нравилось его беспробудное пьянство, и потому частенько семья жила только на хлебе и воде. А когда Моте

исполнилось шесть лет и стали своими ножонками ходить младшенькие брат и сестра, отец договорился с дальним родственником, чтобы тот взял её в няньки, возиться с его грудными ребятишками, за плату, конечно... Кстати, уже будучи на пенсии, дядя Миша, родной брат, всегда называл бабусю нянькой. Он так и говорил: «Нянька, ты уж прости меня непутёвого... Помогги...» И она всегда выручала, даже когда его на старости лет жена выгнала из дому, приютила в нашей маленькой комнате, где помещались две наши кровати, но оставалось место как раз для раскладушки, на которой дед, или дядя Миша, как мы все его называли, и спал, приходя ночевать к нам..

Родственник отца жил в своём доме недалеко от базара – шумного места, где всегда толкался народ, съезжались подводы из окрестных деревень, чтобы что-то продать или прикупить. Бежать Моте надо было с одного конца городка на другой раным-рано, опаздывать было нельзя: хозяин строгий мужик, мог и уши надрать в случае провинности. И потому, даже не поев, а зачастую и еды-то никакой не было, она бежала сломя голову босиком, если летом, или в подшитых мамкиных валенках на босу ногу – зимой.

Возиться приходилось с двумя карапузами: кормить их с ложки и из рожка, менять пелёнки, стирать замаранные, баюкать, укладывая спать, – и так до вечера. Только когда начинало смеркаться и хозяин приходил с мельницы, её отпускали домой. За день лишь один раз удавалось поесть постных щей из кислой капусты и пшённой холодной каши, залитой молоком. Да и за эту кормёжку у неё что-то вычитали из «жалованья». Оставалось Моте на руки сорок копеек, иногда в честь праздника накидывали от щедрот копеечку или две. Вот тогда она забегала на базар и покупала себе леденец-петушок или мятный пряничек, а пока быстрым шагом добиралась до дома, успевала это съесть. Ведь дома, кроме битков-колотков и ругани пьяного отца, она ничего хорошего не видела. И как только девочка приносила свой заработок – он тут же забирал у неё всё до копейки, а потом шёл пропивать в ближайшую пивнушку или кабак.

Однажды, придя домой особенно дурным и озлобленным, Лукьян и покалечил свою старшенькую дочку – сдёрнул её за ручонку с полатей, и она упала со всего размаха на пол, сломав при этом два ребра и ключицу... Отца тогда взбесило веселье, которое Мотя устроила на полотах с братишкой и сестрёнкой – у него гудела от выпитой сивухи голова, хотелось завалиться на кровать, а тут – шум-гам, детские визги-писки...

Как её лечили и лечили ли вообще – она не запомнила. Потому как сломанные верхние рёбра срослись криво, образовав слева под ключицей небольшой горб, который не давал ей затем расти – и осталась она на всю жизнь маленькой, сгорбленной, но с удивительно открытым и красивым лицом, живым, лучистым взглядом зазорных глаз, густыми волосами, которые она до самой старости ежедневно заплетала в косу.

Пока у неё заживали и срастались сломанные косточки, отцов родственник нашёл другую няньку – место было потеряно. Что делать, как жить? В это время отец устроился на льнопрядильную фабрику коновозчиком и сумел, подмаслив мастера, договориться, чтобы Мотю взяли, не оформляя, конечно, работать в прядильный цех – собирать в ящик пустые катушки из-под ровницы (льняной пряжи) и возить их на тачке к тому месту, где их снова ставили на прядильные машины. Ей было уже семь лет, и платили за эту работу побольше – два-три рубля в месяц. Но даже в то царское время детский труд считался незаконным, и, когда на фабрику приходили с проверкой инспектора, Мотю прятали в тот же самый ящик для катушек, перевернув его вверх дном.

Позднее, в семнадцатом году, в таких же ящиках, водружённых на тачку, с фабрики под улюлюканье фабричных парней-зубоскалов вывозили с позором всё местное начальство: инженеров, мастеров и учётчиков. За что и про что – непонятно, но называли их эксплуататорами и кровопийцами, хотя они были такими же наёмными работниками, как и весь фабричный люд – ткачи, прядильщицы, слесаря. Но таково веяние времени – революция требовала жертв, и их находили в самом ближайшем круге... Мотя не могла вспомнить ни одного случая, чтобы мастер или учётчик поругал её или даже прикрикнул, наоборот, её жалели и, чем могли, помогали.

Она была смышлёная девочка, хотя и неграмотная – читать-писать не умела до самого совершеннолетия, и только в годы гражданской войны прошла курсы «ликбеза» – ликвидации безграмотности. Читать худо-бедно научили, а вот с письмом хуже – кроме росписи напротив своей фамилии в карточке, когда почтальонка приносила пенсию, она ничего написать не могла.

И каким же радостным событием стал для неё тот момент, когда я научился и читать, и писать. Теперь перед каждым большим церковным праздником бабуся, улучив минутку-другую, тайком от моего партийного отца усаживала меня за стол, я вырывал из тетрадки в клетку листок, ставил чернильницу-непроливашку, брал перьевую ручку и под диктовку её необычно тихого и немного даже торжественного голоса записывал имена моих покойных предков и здравствующих родичей: «за упокой души» – в одном столбце, и «за здравие» – в другом. А потом, аккуратно сложив листок и завернув его в чистый платочек, шла в церковь, вернее, это был молельный дом – ни одного храма в нашем городе не было.

О её молодости

Будучи, по сути, ровесницей двадцатого века, моя бабуся пережила вместе со своей страной все её наиболее драматичные и переломные моменты: войны, революции, голод...

В 1916 году её семнадцатилетней девушкой выдали замуж за двадцатипятилетнего фабричного рабочего, из-за какой-то болезни непригодного к службе в армии. Через год родила своего первенца, умершего затем от золотухи в самом нежном и несознательном возрасте.

Когда началась гражданская война, фабричные рабочие записывались в Красную армию и уходили воевать «за власть Советов». Несмотря на болезнь, собрался и ушёл и её первый муж. В 1918 году через городок проезжал бронепоезд, сформированный по приказу Льва Троцкого, который выступал перед горожанами с балкона местного драмтеатра. Мотя стояла среди рабочих и слушала непонятные слова о какой-то «диктатуре пролетариата» и грядущей «мировой революции», а вся толпа после выступления кричала: «Ура! Да здравствует Советская власть и товарищ Троцкий!», и она тоже что-то кричала, не помня себя.

Вскоре пришла весть о том, что муж заболел и лежит в лазарете. Она добралась до уездного Ставрополя, где он, как оказалось, уже умирал от ран и тифа. Как могла, поухаживала за ним и другими ранеными, но муж скончался у неё на руках. Его похоронили в общей могиле с другими погибшими бойцами. А она вернулась в Мелекес, опять на фабрику, в свой подготовительный цех.

В двадцать первом году в Поволжье из-за засухи разразился страшный голод и мор. В городке не стало ни муки, ни крупы, съедены были все

запасы картошки. Толкли лебеду и пекли из неё лепёшки, варили древесную кору. Люди мёрли как мухи – целыми семьями и деревнями. В народе говорили, что это Божье наказание за то, что православные люди забыли Господа и его заповеди. Говорили и том, что где-то там, в Сибири, хлеба вдосталь и надо бежать туда, чтобы выжить и перемочь эту страшную пору. И тогда, взяв с собой младшую сестру Наташку, Мотя двинулась из города на восток – то пешком, то в забытых мешочниками товарных вагонах – туда, где обещали хлеб, а значит, и жизнь – так не хотелось помирать ещё совсем молодой.

По дороге они обе заразились сыпным тифом. Их вынесли из вагона и полумёртвых бросили на перроне вокзала Петропавловска (по стечению обстоятельств 48 лет спустя меня призвали в армию, и именно там, холодной зимой 1969 года я проходил «учебку», или «курс молодого бойца»). Какой-то добрый человек, пожилой фельдшер из армейского госпиталя, подобрал их, поместил среди раненых и больных, выходил-вылечил. Сначала встала на ноги Мотя, помогла оправиться сестре, а потом они вместе с фельдшером ухаживали за другими тифозными. Как потом выяснилось, этот добрый человек потерял в мясорубке гражданской войны всю свою семью: жену и двоих детей...

Вот так они спаслись от голода, а по весне вернулись домой.

Отца и матери в живых уже не было, остался только младший брат Мишка, которого спасли от голодной смерти какие-то дальние родственники. Она вернулась на фабрику и работала снова ровничницей на «мокрых ватерах» – что это такое, я узнал совсем недавно с помощью интернета. Оказывается, это наиболее тяжёлая работа в прядильном производстве: при мокром прядении на ватере имеется корыто с горячей водой, через которое проходит ровница, льняные волокна там размягчаются, разбухают склеивающие волоконца вещества, благодаря чему волоконца скользят, а не рвутся при вытягивании ровницы, поэтому на мокром ватере можно получить более тонкую, более крепкую и гладкую пряжу, чем при сухом прядении. Но работнице-то приходилось в горячем пару и поту отстаивать всю восьмичасовую смену. Потом это всё сказалось на здоровье моей бабуся – частенько у неё побаливали руки и ныли натруженные ноги.

Когда я стал школьником, нас водили на экскурсию в прядильный цех, но запомнились мне только шум работающих машин, пыль в воздухе, а также какие-то совсем нерусские слова: «банкаброш», «кострига». Тогда же я впервые увидел отца и мать в рабочих спецовках: у моего родителя она была вся замасленная, а у мамы – комбинезон с помочами. Никогда больше я не видел её в брюках.

Очень быстро Мотя научилась обгонять опытных работниц. Была задорной, боевой девушкой – всегда на виду. Неслучайно, когда закончилась гражданская война и в цеха стали возвращаться молодые парни и мужики, отбоя от женихов у неё не было.

В двадцать четвёртом, по весне, за ней стал ухаживать Михаил Архангельский – бывший командир взвода Чапаевской дивизии. Каким он был в ту пору, я могу только представлять – не сохранилось от моего деда ни одной фотографии (только та – одна-единственная, где ему шестнадцать лет). Но то, что он выделялся из фабричной молодёжи и умом, и образованностью, и обходительностью, было очевидно. В особенности на фоне основной массы мужиков – охальников и зубоскалов, пьяниц и матерщинников. Да и то сказать, из хорошей семьи: отец – кузнец, дядя – священник высокого церковного чина, а сам в прошлом гимназист, высокий, стройный – таких молодцев ещё поискать!

Они встретились, полюбили друг друга, а осенью поженились – официально, по-новому зарегистрировали брак. И стала Мотя Каргина – Архангельской. Под этой фамилией её и будут знать многие люди в нашем городке. Только недолговечным оказалось их счастье – мой дед, израненный на войне, умер молодым, двадцатисемилетним, через две недели после рождения сына Николая...

Как пережила она смерть любимого мужа, история умалчивает, а сама бабуся никогда об этом не рассказывала. Через несколько лет к ней посватался также вдовый и непьющий мужик, работавший на стройке. Пожили они какое-то время, и уже в начале тридцатых годов он погиб – его завалило землёй, когда обрушился свод небольшой пещеры, откуда он выгребал песок для строительных работ. Совершенно нелепая и жуткая смерть.

Долгое время после этого она жила одна – растила сына, ударно работала, всегда была в передовиках. Однажды её даже поощрили необычным подарком – полётом на самолёте «У-2» – три круга над городом. Но она отказалась, сославшись на страх, хотя, сколько я помню, никогда и никого она не боялась. Испугать её было сложно, просто решила, что рисковать своей жизнью она не может – оставить сына не на кого. Но я не мог смириться с таким фактом: как же отказаться от такой счастливой возможности взлететь и парить как птица над городом, упиваясь свободой, голубизной неба и чистым воздухом?!

Когда в стране развернулось Стахановское движение, она сразу же стала одной из первых ударниц своей профессии в стране, и её выбрали делегаткой на первый съезд стахановцев лёгкой промышленности. Вдвоём с подругой они поехали в Москву, где она видела и слышала Сталина, разговаривала с наркомом Анастасом Микояном...

О радио

В маленькой комнате нашей квартиры стояли напротив друг друга две кровати. Одна, с никелированными сверкающими спинками, – бабусяна, другая, поменьше, с круглыми голубыми шишечками над всеми четырьмя ножками, – моя. Головами мы лежали к двери, а смотрели – прямо в окно, справа от которого на побелённой с синькой стене висел чёрный круглый репродуктор – радио. В середине него размещалась грушевидная рожица с носом – чёрной ручкой, регулятором громкости звука.

Радио в ту пору казалось мне живым, абсолютно одушевлённым. Оно сообщало последние известия, рассказывало сказки, читало стихи и пело грустные, волнующе-щмящие моё сердчишко песни, от звуков которых слёзы сами наверчивались на глаза, а по коже бежали мурашки. «Далеко-далеко, где кочуют туманы...» – этот запев всегда вызывал во мне желание разглядеть за окном нашей комнаты эти голубые, кочующие туманы, и манила-притягивала безграничная синяя даль – там что-то было и звало меня, сердечко взволнованно билось и сладко сжималось от какой-то неоформившейся ещё грусти по дальним краям, где меня ждут интересные люди, красивые места и какая-то большая радость, ради которой я готов был сию же минуту собраться и бежать на этот едва уловимый зов...

Как потом выяснилось, примерно в это же время, за тысячу километров от нашего дома, слушая такое же радио, сидела у окна девочка с косичками, немного постарше меня, и тоже грустила об этом «далеко-далеко» – будущая жена и любимая моя женщина...

Но особенно нам нравилась с бабусей передача «Театр у микрофона». Когда мы слушали спектакли самых знаменитых столичных театров и голоса известных артистов: Яншина, Качалова, Попова, Тарасовой, Пашенной и многих других, – мысленно я видел их одухотворённые, красивые лица, смотрел на ярко освещённую софитами сцену и представлял себя сидящим в первых рядах, недалеко от них. Чёткие, хорошо поставленные голоса призывали, возмущались, кричали и шептали удивительные и волнующие слова: Любовь, Дружба, Красота, Нежность...

А ещё я слушал инсценировки рассказов. Помню одно название: «Красный вагон» и слова песни «...В пору былых годин, в злую метель-пургу шёл человек один, шёл человек в тайгу. Лютый трещал мороз, стон по тайге стоял, что он с собою нёс? Кто его в путь послал?» И я представлял, как пробираюсь через таёжные дебри, утопая в снегах, борясь с ветром, спеша к нуждающимся в моей помощи людям, и ради этой высокой цели я готов был претерпеть и голод, и холод...

Потом в доме появится радиола с зелёным глазом-огоньком и подсвеченной шкалой с названиями городов и радиостанций, которые можно услышать, подкручивая ручку настройки, «ловя» их далёкие звуки. Музыка, доносящаяся из приёмника, была громче, а главное – разнообразнее, чем на радио. И песни звучали необычные, лёгкие и весёлые: «А снег идёт, а снег идёт. И всё вокруг чего-то ждёт...», «Держись, геолог, крепись, геолог. Ты ветру и солнцу брат...» или песня о Тбилиси Вано Мурадели; запомнились голоса Бунчикова и Нечаева, сестёр Рузанны и Карины Лисициан...

О болях и болезнях

Дети, особенно маленькие, часто болеют – видно, им очень трудно приспособиться и входить в этот мир, полный опасностей, вредных вирусов и инфекций. И потому, наверное, что они так беззащитны, на них и набрасываются все хвори – то разом, то поочерёдно, то друг за дружкой.

Мой «джентльменский набор», или «букет», включал практически все болезни детского возраста: корь, скарлатина, дифтерит, свинка, краснуха и, конечно, кариес – зубы болели всегда, сколько себя помню... А зубного врача, или, по-старому, дантиста, я боялся до дрожи в коленках – так всё там было жутко и больно. Как вспомнишь это высокое, как эшафот, и холодное кожаное кресло, страшные в своей безжалостной, сверкающей красоте инструменты, бесконечное жужжание бормашины, приводимой в движение давлением ступни врача на педаль... Округлая головка бора вращалась с разной скоростью – то убыстряясь, то ослабевая, и от этого моя голова буквально тряслась как у паралитика, а обезболивания при лечении тогда не было... Не раз после посещения этого кабинета пыток меня приводили в чувство ваткой, смоченной нашатырём.

Бабуся очень переживала за меня и потому, как могла, пыталась облегчить страдания любимого внучонка. Долгими зимними ночами неустанно хлопотала: то приносила какой-то чудодейственный порошок, то приготавливала полоскание, настойное на травах, то подвязывала своим мягким пуховым платком раздувшуюся щёку, то баюкала, успокаивая и поглаживая по голове... Она делала всё что могла.

Но вот наступал день, когда я уже не мог ни есть, ни пить, ни тем более спать. Необходимо было что-то делать, а идти к зубному я просто не мог физически – меня всего заранее трясло. И что же в этот критический момент придумала моя смекалистая и находчивая бабуся?!

В нашем фабричном посёлке вся жизнь на виду, тут все и всё друг о друге знают, ничего в те пятидесятые годы скрыть от посторонних глаз было просто невозможно. Не только кто и с кем поругался, но даже из-за чего; кто и что купил, потерял или нашёл, выкинул какое-то барахло на помойку, – обо всём становилось известно сначала соседям (шабрам – как их бабуся называла), а потом по цепочке и всему околотку. Тем более если это касалось владения какими-то навыками или ремёслами.

Глуховатый из-за контузии дядя Вася, к примеру, вязал на дому разные сети для рыбалки: бредни, сетки, «морды»; одноногий инвалид войны дядя Коля валял валенки для всего посёлка – он был частником, ему почему-то разрешили это делать; по домам и баракам тогда ходили доморощенные фотографы и художники: если первые предлагали сделать ретушь старых фотографий, их увеличение и вставку в витиеватые картонные рамки, то вторые приносили настенные коврики – на клеёночной основе были намалёваны белые лебеди в пруду или «мишки в сосновом бору». Да много чем тогда деятельный и рукастый народец промышлял – после войны всего не хватало, везде были «нехватки-недостатки», как говорила бабуся.

И вот она повела меня к старушке – известной у нас целительнице, ведунье и травнице, которая жила, как и большинство в нашем посёлке, в двухэтажном бревенчатом бараке. Занимала она небольшую, в одно окно, темноватую комнату, и пахло у неё как-то удивительно свежо, по-летнему: душистыми травами и настойками, что само по себе резко отличалось от кислых, отдающих сыростью и псиной запахов коммунальных коридоров.

Старушка посадила меня боком на венский стул возле окна, и я, повернувшись к ней больной стороной – стреляющей и ноющей, воспалённой от страшного нарыва, уже не ждал ничего хорошего... Она спросила, как меня зовут – я что-то промывчал в ответ сквозь стоны и всхлипы. Потом легонько притянула мою голову к себе и стала осторожными, едва ощутимыми пассами водить по моей щеке своим прохладным мизинцем правой руки вокруг воспалившегося зуба. При этом она что-то тихо приговаривала наподобие того, что нашёптывала мне иногда бабуся: «У волка боли, у медведя боли, а у нашего Славы – не боли, не боли...»

Так продолжалось какое-то время, и понемногу боль стала утихать, переставая быть острой, стреляющей – она как бы сворачивалась и куда-то утекала незаметно. Я уже не всхлипывал и не шмыгал носом, мне стало спокойно и по-домашнему тепло и уютно. Захотелось спать, глаза непроизвольно начали закрываться, и откуда-то издалека доносился до меня успокаивающе-убаюкивающий голос старушки, и, как мне сейчас кажется, успокоила она тогда ту жуткую боль словами вот этого заговора: «...Захарий да Макарий, сёстры Дарья да Мария, да сестра Ульяна, они говорили, чтобы у раба Божьего Вячеслава щёки не опухли, зубы не болели, отныне и до веку, сим словам ключ и замок. Ключ – в воду, замок – в гору». Первые слова могли быть и другими, но про ключ и замок я помню доподлинно, даже сейчас, по прошествии шести с лишком десятков лет. А выражение «заговаривать зубы» воспринимаю буквально, и оно всегда напоминает мне тот случай из детства, а не ироничную улыбку...

А потом была скарлатина, как известно, болезнь тяжёлая, с высокой температурой, и потому меня с братом положили в больницу, где за нами ухаживала бабуся. В первое время термометр показывал сорок один с половиной градус по Цельсию, я находился в критическом состоянии. То и дело менялись влажные компрессы – на разгорячённом лбу они быстро высыхали. Внутри меня перед мысленным взором крутилась какая-то нескончаемая

круговерть: кроваво-красные круги сначала медленно, потом, всё убыстряясь и усиливаясь, раскручивались, а затем, достигнув своего максимума, начинали резко сжиматься до какой-то небольшой центральной чёрной точки. Потом медленно начиналось вращение по спирали в обратную сторону – и так до бесконечности, до тошноты и неприятного свербения и горячечного зуда в ладонях, которые хотелось немедленно окунуть в ледяную воду, чтобы они охолонули и успокоились, чтобы наконец прекратилась эта жуткая, нескончаемая пытка.

Так продолжалось два дня и две ночи. Мой братишка перенёс болезнь легче, а я, как говорили потом врачи, еле-еле выжил. Бабуся в очередной раз спасла меня своей заботой и своими мысленными молитвами – она была партийной, но, как я потом понял, никогда не теряла веры в Господа Бога нашего Иисуса Христа.

Я становился старше, подрастали вместе со мной и проблемы. Как-то весной, когда солнце вовсю припекало, с горок бежали весёлые ручьи, а снег буквально на глазах оседал и таял, мы кололи с соседом Сашкой лёд возле барака прямо под окнами его комнаты. Я был в расстёгнутой телогрейке и валенках с калошами, на голове у меня была чёрная кроличья шапка, которую так и подмывало сбросить с головы. С азартом орудовал я небольшим, но тяжёленьким ломиком, откалывая тонкие, сахаристые пластинки льда, а Сашка это делал ребром железной штыковой лопаты. Работа шла споро. Мы так увлеклись процессом, что не замечали друг друга, и когда я, наклонившись, пытался отколоть очередной ледяной кусок, мой товарищ со всего размаху долбанул меня острым ребром лопаты прямо по макушке головы, по темечку... Боли я не почувствовал, только сразу как-то ослаб, потемнело в глазах, а из-под мехового ворса шапки, стекая по лбу, на снег упали первые капли моей крови. Всё же кроличий мех хоть и смягчил удар, но кожу на голове Сашка лопатой мне рассёк.

Сашкина мать, увидев всё это, ахнула и помчалась к нам домой звать на помощь. Бабуся тут же прибежала с ватой и чекушкой водки. Я сидел на тающем и оседающем подо мной сугробе, кружилась голова, спину припекало солнце, а надо мной хлопотала, обрабатывая рану, бабуся – мой доктор и ангел-хранитель, моя палочка-выручалочка на все случаи жизни.

ОТЕЦ

Болезьщик

Сейчас я практически не слежу за результатами спортивных соревнований, а было время – постоянно был в курсе всех значимых событий в футболе и хоккее. И привил мне этот интерес мой отец – самый азартный болельщик из всех, кого я знал в своём детстве и юности.

Сколько себя помню, он постоянно брал меня на стадион: зимой мы мёрзли, глядя на то, как загоняют в ворота оранжевый плетёный мячик хоккеисты, а летом – футбол – матчи Первенства города и области. Проходили на городском стадионе и другие соревнования: в зимнюю стужу гоняли по льду, поднимая снежную пыль, мотогонщики, а когда наступала летняя пора, тут мерялись силами легкоатлеты.

В хорошую погоду на стадион мы всегда ездили с отцом на велосипеде, где у меня на раме перед рулём было своё законное место: отец прикрепил на металлические хомутики выструганное из доски сиденье – как

раз под мою попу; оно было жёстким, но всё-таки на нём я себя чувствовал вполне безопасно. Конечно, когда велосипед своим передним колесом налетал на камешек или проваливался в выбоину, меня подбрасывало и больно стучало костлявой заднюшкой о жёсткую твердь сиденья, но я терпел и только крепче держался обеими руками за руль. Я не жаловался, ведь отец мог меня и не брать с собой – это то, чего я больше всего тогда боялся.

Помню молодого отца, тогда ему было немного за тридцать, в белой шёлковой тенниске с замочком-молнией, широких брюках, которые он у щиколотки прихватывал бельевыми прищепками, чтобы штанину не затянуло в велосипедную цепь, и себя – пятилетнего, в коротких вельветовых штанишках на помочах и лёгкой рубашонке с короткими рукавами.

Мы ехали через весь наш небольшой поволжский городок: сначала спустились с ветерком с крутой горки, затем катили по двум-трём заасфальтированным улицам мимо высокой пожарной каланчи, мимо красного кирпича двухэтажной школы, мимо хлебопекарни. Отец весело и сильно давил на педали, и велосипед, послушный его воле, стремительно рвался вперёд.

Подъехав к дощатым воротам стадиона, отец ссаживал меня, а сам становился в очередь в кассу за билетами, ведя за руль рядом с собой запыхавшийся велосипед. Тут он встречал своих знакомых, они здоровались за руку и о чём-то весело переговаривались, шутили в предвкушении праздника.

Мы вместе с другими заходили через открытую калитку на стадион, выбирали свободную лавку, желательно напротив центра поля, чтобы хорошо просматривались и те, и другие ворота. Велосипед пристраивали к забору сзади нас, потом по-быстрому занимали места на лавке, ожидая начала матча...

Вот из репродукторов, висящих на столбах, звучит всем известная бодряя мелодия футбольного марша, и на поле с двух сторон выбегают команды в красно-белой и жёлто-зелёной форме. После краткого приветствия: «Команде льнокомбината – физкульт-привет!» – и ответного физкультурного приветия нашей команды капитаны подходят к судье, который подбрасывает монетку, определяя, кому и какие ворота занимать, а также право первого удара по мячу.

Футболисты разбегаются по своим сторонам, вратари натягивают перчатки, и после длинного свистка судьи игра начинается.

Первые минуты игроки действуют вяло, как бы нехотя, с ленцой передавая друг другу мяч, но вдруг кто-то из нападающих делает рывок вперёд, и ему на ход следует передача. Футболист ловко глушит отскочивший от газона мяч, перекидывая его с ноги на ногу, обыгрывает одного защитника, другого, врывается в штрафную и сильно бьёт по воротам. Но мяч летит значительно выше: «Эх, мазила!» – разочарованно вскрикивает отец и лихо свистит при этом, заложив два пальца в рот. У меня даже в ушах ещё некоторое время звучит этот свист.

Игра продолжается. Теперь уже противник, владеющий мячом, рвётся к воротам с другого, противоположного края поля. Отец приподнимается с лавки, чтобы получше видеть, что там делается. Мяч навесом летит в штрафную площадку нашей команды, где происходит уже вавилонское столпотворение. Центральный нападающий, не успев принять мяч на грудь, падает, его сносят, играя в корпус, сразу два защитника – как говорит отец, «взяли в коробочку». Падает он на газон, широко раскинув руки. Следует свисток судьи, показывающего на одиннадцатиметровую отметку – пенальти!

«Судью – на мыло!» – кричит мой отец, недовольный этим решением, ведь нападающий был без мяча, и защитники сыграли в корпус, а не били

по ногам. Страсти накаляются, на стадионе поднимается шум и гвалт: одни свистят, недовольные судьёй, другие кричат в его защиту, а третьи громко и возбуждённо переговариваются в предвкушении поединка вратаря с нападающим. Мяч торжественно устанавливается на отмеченный мелом кружок. Раздаётся трель судейского свистка, футболист разбегается, следует сильный удар – и мяч попадает в перекладину. Вратарь даже не успел правильно среагировать, кинувшись в другую сторону. Отскочивший мяч добивает в пустые ворота набежавший тут же игрок – гол!

Крики становятся громче: одни болельщики ликуют, другие возмущены. Отцу так досадно, что он вскакивает с места и что есть силы выдаёт: «Вратарь – дырка, из команды – решето! Позорники!»

В перерыве между таймами мы идём к дощатому киоску, где продаются всякие напитки на разлив: тут и ядрёный квас, сладковатый фруктовый морс, и щиплющее язык сидро, а также бочковое «жигулёвское» пиво. Я люблю сидро, и отец покупает мне стакан, а сам он пьёт квас. Пиво он покупает по субботам – бутылочное, к пельменям, которые стряпает мама, а бочковым он брезгует, считая, что его безбожно разбавляют водой...

После отдыха команда, за которую мы болеем, оживилась и стала всё чаще и чаще бить по воротам противника, и эта настойчивость в одном из эпизодов увенчалась успехом: после сильного удара вратарь отбивает мяч кулаками, затем следует ещё один удар – «Штанга!» И тут отскочивший мяч буквально проталкивает в ворота кто-то из игроков – «Гол!» Судья показывает на центр поля. «Хоть и сопливенький, зато трудовой гол», – удовлетворённо комментирует отец. Он оживился, глаза его блестят: «Ну, теперь посмотрим, чья возьмёт...»

На поле тем временем идёт жёсткая борьба. Футболисты то и дело падают на траву, а отец тут же вскакивает с места, свистит, кричит, жестикулируя руками, – он весь там, в игре, кажется, ещё немного, и он выбежит на поле и сам погонит мяч к воротам.

Победный гол случается уже в самом конце матча, и отец мой наконец немного успокаивается, призывая свою команду не спешить и тянуть время до финального свистка.

Обратно мы едем не торопясь. Поскрипывают педали, шуршат шины. Тёплое вечернее солнце уже закатывается за горизонт. И вдруг в ноздри мне ударяет резкий и такой духмяный запах свежеевыпеченного хлеба – мы проезжаем мимо пекарни. Слюнки у меня не то что текут – не то слово! – я их просто не успеваю проглатывать.

Отец, заметив моё состояние, сворачивает с дороги на тротуар и подъезжает к оконцу пекарни, через которое иногда продают хлеб. Он легонько стучит по стеклу – из окна выглядывает пекарь, весь в белом, даже лицо у него кажется обсыпанным мукой. Отец протягивает ему мелочь – как раз на буханку белого, тот берёт деньги и подаёт нам кирпичик ещё горячего хлеба.

Отец щедро отламывает мне самую горбушку, и я впиваюсь зубами в так вкусно пахнущую, горячую и хрустящую корочку – какая это вкуснотища! Сейчас ещё бы холоденького молочка – и вообще всё было бы просто здорово! Но до дома нам ещё ехать и ехать...

Я прижимаю одной рукой тёплую, словно живую, буханку к своей груди, а другой держусь за руль. Мы, довольные и счастливые, медленно едем по вечернему городу домой – что ещё нужно человеку для этого: чистое небо над головой, вкусный хлеб, тёплое, щекочущее затылок дыхание родного человека за твоей спиной, дыхание человека, защищающего тебя в этот миг от всех напастей.

Рыбак

Благодаря отцу рыбачить я начал рано – лет в пять. Из тонких и недлинных ивовых прутьев излаживал удочку: леска «ноль пятнадцать», маленький серебристый крючок, свинцовое грузило и выстроганный из сосновой коры поплавок.

Обычно я брал с собой горбушку хлеба – чёрного или белого, в зависимости от того, какого из них было дома больше – и, когда мама шла на речку полоскать бельё, снаряжался идти на рыбалку. Собраться мне было – только подпоясаться: старые сандалики на босу ногу, чёрные сатиновые штанишки и рубашонка с короткими рукавами составляли тогда весь мой летний гардероб.

До Литейки, неширокой речушки, с пологими, поросшими травой берегами, идти было недалеко – всего-то спуститься с горки, на которой стоял наш одноэтажный бревенчатый дом и росли невысокие, но крепкие сосны, да перейти улицу, где уже надо было ухо держать востро. По ней изредка, грозно урча и сильно газуя, проезжали грузовики и редкие в ту пору легковушки.

Уже на подходе к речке я начинаю разматывать леску, спиралью закрученную вокруг коротенького удилища. А когда мы с мамой оказываемся на берегу, отщипываю от горбушки кусочек хлебного мякиша и скатываю указательным и большим пальцем крошечный шарик. Насаживаю его на крючок, чтобы, как показывал отец, не высовывался его острый кончик, и тут же после короткого размаха забрасываю снасть в воду. А чтобы рыбки увидели приманку и подплыли к ней, надо прикормить то место, где стоит в воде поплавок, и я отламываю, а потом кладу в рот кусочек хлебной корочки, долго и тщательно его пережёвываю. Получившуюся кашицу вываливаю на ладонь, а затем с размаху бросаю в воду. Причём с первого раза попадаю прямо в коричневый поплавок. И тут же вокруг него начинается оживлённое мельтешение – мелкие рыбки снуют, хватая размокшие, быстро тонущие крошки своими жадными ртами.

Но вот поплавок слегка качнулся, затем дёрнулся, исчезая под водой, и снова вынырнул – а я всё жду, когда его утянет поглубже. Надо ещё подождать, но не прозевать нужный момент. Поплавок резко тонет, я что есть силы дёргаю вверх удилище, но вытаскиваю леску с голым крючком – не успел, насадка съедена.

С огорчением от неудачи оглядываюсь по сторонам: чуть ниже меня по течению мама на мостках уже полощет бельё. Чаще всего это была отцовская спецовка, которую она кипятила дома в тазу с каустической содой, чтобы отошли масло и солидол, впитавшиеся в ткань за шестидневную рабочую неделю отца, работавшего помощником мастера на льнокомбинате. Там ему частенько приходилось подлезать под прядильные машины, чтобы отремонтировать их, когда они ломались.

Я снова скатываю из хлебного мякиша очередной шарик, насаживаю его на крючок и забрасываю леску в воду. Рыбки уже съели всю приманку и потому разбежались в разные стороны, приходится опять жевать чёрствую корку хлеба и закидывать приманку поближе к поплавку. Теперь то уж рыбка меня не обманет! Как только поплавок заплясал на водной глади и слегка пошёл вниз, я сразу дёрнул удилище вверх и подсёк рыбёшку – небольшую, серебристую, похожую на кильку, отчаянно трепыхающуюся на крючке. Это синтёпка, как у нас её называют, мелкая рыбка, которая плавает поверху и любит порезвиться в тёплой, подсвеченной солнечными лучами речной водичке. Окунь этим пользуются, гоня беззаботно суетящу-

юся синтёпу, которая, удирая от острых зубов хищника, то и дело выпрыгивает из воды, стараясь спрятаться в траве ближе к берегу.

Но я уже знал: окуня мне на хлеб не поймать. Нужно было накопать червей – только на них этот маленький прожорливый полосатый хищник и клюёт.

Вытянув пойманную рыбку на берег и сняв её с крючка, я из отломанный с куста веточки изладил кукан. Прodeвая прутик через раскрытый рот рыбёшки, а затем через жабры, я насаживаю на него свой улов – нашему коту лакомство и радость. Кот Василий старше меня лет на шесть или семь, бывалый, с расцарапанной мордой и обгрызенным крысами кончиком одного уха, постоянно опекал меня и всегда спал в ногах, согревая их в холодные зимние ночи.

Конечно, много я поймать, пока мама была занята полосканием, не мог, но несколько рыбёшек всегда приносил домой. Васька моментально с ними расправлялся: два жевка, хруст – и очередная рыбка исчезала, словно её и не было никогда...

Когда я стал постарше года на два, но в школу ещё не ходил, отец начал брать меня с собой на настоящую рыбалку. Вставать надо было рано – часа в четыре утра. Наскоро поев молока с хлебом, мы выходили из дома. Отец прилаживал, привязав бечёвкой к велосипедной раме, несколько бамбуковых удилиц с красивыми, бело-красными, из гусяного пера поплавками. Потом сажал меня на детское сиденье перед рулём, которое к тому времени стало маловато, и мы выезжали со двора.

Настоящая рыбалка – это Черемшан – широкая и глубокая река с песчаными берегами, впадающая в Волгу. Часам к пяти мы были на месте. Отец знал такие заливы, где всегда водилась хорошая крупная рыба: судак, лещ, золотистый упитанный лень, краснопёрка, язь. Из приманки у нас с собой – сваренная накануне с растительным маслом крупа-перловка и хлеб. Для насадки чаще всего – засыпанные влажной землёй красные навозные черви в жестяных банках из-под консервов, иногда брали опарыш – белых пузатеньких червячков. В общем, на любой рыбий вкус...

Солнце, ещё неяркое, поднималось над темно-зелёной зубчатой кромкой леса на противоположной стороне реки, освещая оранжево-красным заревом и лаская своим теплом наши лица. Размотанные удочки отец пристраивал на рогульки, воткнутые в дно недалеко от берега. Водная гладь в этих затонах ровная, никуда не двигается, и это мне нравилось – не надо то и дело переакидывать снасти. Прикорм уже заброшен, и мы сидим на корточках в ожидании поклёвки.

Отец тогда говорил мне, что рыба всё слышит, и потому не надо шуметь, даже разговаривать. Как правило, первая поклёвка бывает на его удочках, и это какая-то хитрая рыба. Сначала осторожно и несильно тянет поплавок вниз, затем небольшой перерыв, и снова несколько лёгких подёргиваний, и тут же поплавок наклоняется, начинает уходить в сторону и резко исчезает под водой. Подсёк – и из воды показывается приличная рыбина. Так хитро, я уже знаю, клюёт только язь – хищник покрупнее любого окуня. Отец осторожно подводит, перебирая обеими руками натянутую леску, рыбу к берегу, затем подсовывает под неё садок – и трепыхающийся в паутине садка язь оказывается на суше.

Начало положено. Клевать начинает и у меня. Удочка моя покороче, но настоящая, бамбуковая, как у отца, и леска закинута не так далеко от берега и не на такую большую глубину, как у него. Потому попадают мне некрупные окуньки, порой из-за своей жадности заглатывающие крючок с наживкой так глубоко, что приходится чуть ли не с внутренностями выдирать его из прожорливой пасти.

Я люблю ловить сорочу, или краснопёрку, – благородную красивую рыбу, даже клюющую как-то интеллигентно, скромно, не с такой резкостью и жадностью, как вечно голодный окунь. Сороча – рыбка вкусняющая, особенно поджаренная на подсолнечном масле. Ну и совсем деликатесом считается её икра, которую мама готовит на отдельной сковородке по особому рецепту. Доставалось нам этой вкуснятины всем понемногу, зато это было настоящим пиршеством – золотистая, блестящая от масла и нежная, она буквально таяла во рту.

Отец научил меня распознавать повадки большинства рыб, обитавших в Черемшане. Как и кто из них подходит к насадке и клюёт; кто и на какую приманку соблазняется; где и в каких местах водится окунь, а где – подлещик и настоящие крупные лещи; у щук свои излюбленные места, но этих противных созданий я не любил.

Однажды отец то ли поймал, то ли купил у какого-то рыбака огромную и толстую, как полено, щуку, с выпученными, ещё живыми глазами и огромной чёрной пастью. Она лежала, вытянувшись во всю длину кухонного стола. Когда я приблизил к ней случайно свою ручонку, щука схватила меня за мизинец, впившись острыми зубами. От ужаса и боли я вскрикнул и заплакал. Отец ножом разомкнул челюсти этого чудовища, освободив мой палец, а потом для верности крепко стукнул щуку кулаком по чёрной противной башке. Из укушенного пальца сочилась кровь, из глаз текли слёзы, было больно и обидно. С тех пор я щук не люблю, а их костистое и жёсткое мясо навсегда осталось для меня невкусным.

Зимой отец брал меня на подлёдный лов. Тут была своя наука. Накануне, взяв у кого-то из соседей черпак из металлической сетки, насаженный на длинную крепкую жердь, мы шли на прорубь на небольшом озере, где все рыбаки «мыли мотыля» – добывали из придонного ила мелких красных червячков. Процесс этот был тяжёлым – отец использовал всю свою силу, чтобы поглубже зачерпнуть, а потом вытянуть из проруби сетчатый черпак, забитый доверху тёмно-зелёным илом и придонной земляной жижей, в которой копошился мотыль, или малинка, как называют его на Урале. Затем наступал мой черёд – я поштучно выбирал красных червячков, запутавшихся в иле, и складывал их в пустые спичечные коробки. Помню, как мёрзли кончики пальцев – их то и дело приходилось отогревать своим дыханием... Зато у нас была славная наживка!

Вечером дома отец «вязал пучки»: из тонкого чёрного резинового ниппеля нарезались узенькие колечки, которые натягивались на сделанный из тонкой жестяной трубки конус с полый широкой частью внизу, а остриём он втыкался в деревянную столешницу. В раструб вкладывались три-четыре червячка мотыля, а потом резиновое колечко, дотянутое до широкого конца, от толчка слетало, стягивая мотыля в единый пучок. На морозе насаживать по одному мелких красных червячков было очень хлопотно, а тут – зацепил крючок за резиновое колечко, и всё – забрасывай в воду.

Удочки у отца тоже были самодельные – деревянная округлая ручка и тонкое эбонитовое удилице, вставленное в отверстие этой ручки и, для верности, заматанное синей изолентой. А на конце удилица была приделана спиральная пружинка, через которую уже протягивалась леска.

Для пробивки лунок мы брали пешню – стальной четырёхгранный лом со скошенным книзу остриём и деревянным черенком, через отверстие в котором была продета верёвка – для страховки, чтобы не утопить ненароком в проруби, да и удобно тянуть пешню за собой, когда она на верёвочке легко скользит по льду.

Одевались тепло: на ногах толстые шерстяные носки, специально связанные нашей бабусей, валенки с калошами, в них заправлены ватные стёганые штаны, а под ними ещё и трико; утеплённые рукавицы и дигейковая шапка с распущенными ушами. За спиной у каждого свой рюкзак: у меня маленький, с удочками, у отца побольше, с раскладным стульчиком, термосом, немудрёным перекусом и специальным отцепом – подшипником, привязанным к толстой леске, намотанной на прямоугольную фанерку с вырезами посередке. В случае, если крючок зацеплялся за корягу на дне, подшипник через ручку удочки продевался и опускался вниз по леске в прорубь до самого дна. Таким образом, подёргивая, мы освобождали крючок от зацепа. Очень нужная вещь.

Самое главное в зимней рыбалке – это найти то место, где стоит косяк рыбы. На Черемшане, особенно в его верховьях, было несколько таких приметных, их называли ярами. У каждого своё название: Светлый, Глинка, Клубничный. Яр – это глубокое место на повороте реки под крутым обрывистым берегом, именно там и стояла рыба зимой.

Отец показал мне все эти знатные места, а потом я, став уже подростком, ходил туда один и со своим братишкой. И никогда, ни одного раза мы не возвращались без улова...

А мой родитель всю оставшуюся свою недолгую жизнь ходил рыбачить по выходным, и дома у нас всегда была и сушёная, и вяленая рыбка: сухая, тонкая, как листик, – густера, жирная сороча – мировая закуска к бочковому «жигулёвскому» пиву.

Отец выбирался на Черемшан в любую погоду и оставался дома только в самые лютые морозы. Более заядлого рыбака, чем он, я не видывал. Как у любого профессионала, у него было всё, что необходимо для рыбалки: и снасти, и насадка, и одежда.

Я, правда, пошёл не в него и, став взрослым, уехал в чужие края, где всё, чему меня научил отец, мне так и не пригодилось. Но изредка, бывая наездами на своей малой родине, стараюсь обязательно сходить с братьями на рыбалку и зимой, и летом. Вот тогда всё, чему нас научил отец, тут же пригождается, и мы всегда с доброй добычей приходим с реки нашего детства.

Стрелок

В своей жизни я знал немало метких стрелков из винтовок, автоматов и пистолетов, но более хладнокровного и беспощадно точного, чем мой покойный отец Николай Михайлович, встречать не приходилось.

Я ещё не учился в школе, когда отец однажды принёс домой настоящую винтовку, правда, малокалиберную, но в остальном всё было при ней: длинный чёрный ствол, деревянный полированный приклад и затвор. И две картонные коробочки патронов в придачу. На следующий день мы пошли с отцом в ближайший к нашему дому неглубокий овраг и спустились на его дно. Отец с силой воткнул в глинистую землю деревянный кольшечек, к которому была приделана небольшая фанерка. На неё он прикрепил булавками бумажный листочек мишени с чёрными и белыми кругами и мелкими цифрами посередине. После этого он широкими шагами отмерил расстояние в двадцать пять метров и тут, прямо на кучке рыжей глины, устроил невысокий бруствер – позиция для стрельбы по мишени.

Надо сказать, что всё это волнующее меня великолепие – винтовку и патроны – отцу выдали на работе для тренировок: предстояли соревнования по стрельбе на Первенство города, а у моего родителя ещё со времён

учёбы в ремесленном училище был какой-то высокий разряд, и я даже держал в руках картонную книжечку, подтверждавшую этот факт.

В годы войны отцу дали бронь и как слесаря высокой квалификации (шестой разряд) отправили на оборонный завод, где для фронта делали боеприпасы. На том же машиностроительном заводе в Ульяновске работал в войну инженером конструкторского бюро будущий «отец водородной бомбы» академик Сахаров, но только об этом отец так никогда и не узнал. Хотя в ту пору они наверняка могли не раз встречаться по работе.

Повоевать ему так и не пришлось, зато у них на заводе была обязательная военная подготовка, включавшая в себя и огневую – стрельба из винтовки и миномёта. Потом в военном билете в графе «военная специальность» было записано: «стрелок 82-миллиметровых батальонных миномётов». Тогда пристрастился он и к стрельбе из винтовки, и весьма успешно, как сам рассказывал, результаты были очень даже неплохие. В положении «лёжа» из тридцати всегда выбивал тридцать, из пятидесяти – сорок девять, а из ста его результат составлял девяносто семь очков, то есть только три пули попадали в девятку, остальные – «в яблочко».

В овраге недалеко от нашего дома окрестные жители всегда добывали жирную красную глину, которую использовали для замазки щелей в стенах домов и печках. Там на дне было тихо и безветренно, как в тире, именно поэтому отец и выбрал это место для тренировки.

Он расстелил на глинистой земле взятую с собой газетку, на неё бросил свою вельветовую куртку, а потом прилёг и сам. Расчехлил винтовку, открыл коробочку с патронами и, отодвинув затвор, вставил одну пульку. Поудобнее пристроив цевьё «мелкашки» в ложбинку на бруствере, отец расставил пошире локти и прицелился. Мне наказано было сидеть тихо, как мышке, что я и сделал, пригудившись на корточках, с замиранием сердца ожидая звука выстрела. Но, к моему удивлению, он прозвучал негромко, но сухо и чётко, словно треск сухой сломанной ветки. Один за другим последовало ещё несколько таких же звуков – отец быстро перезаряжал винтовку, и пули стремительно уходили к мишени.

Отстрелявшись, он поднялся с земли, отряхнул от пыли брюки и сказал мне: «Пойдём посмотрим». Когда мы открепили листочек мишени, отец вынул откуда-то коротенький химический карандаш и стал отмечать попадания – выходило совсем неплохо, но почему-то он был не вполне доволен и даже озадачен результатом. Правда, потом всё прояснилось. «Вот смотри, – показал он мне большее, чем другие, отверстие с махрящимися краями в центре мишени, – три пули попали одна в другую...»

Потом отец стрелял ещё и ещё раз, меняя мишени. В конце, когда в коробке осталось всего несколько пуль, он предложил: «Ложись сюда рядом. Я покажу тебе, как надо заряжать, как прицеливаться и стрелять».

Винтовка оказалась тяжёлой, когда я попытался её приподнять. Вставив первый патрон и с трудом закрыв затвор, я стал, прищурившись, искать мушку; кое-как её нашёл, а затем так же неумело и поспешно ухватился за спусковой крючок. Прикрыв глаза в ожидании треска и толчка отдачи, дёрнул его – звук выстрела раздался неожиданно громко, я даже испугался. Но отец меня успокоил, и я выстрелил ещё два-три раза.

Потом мы пошли смотреть мишень. В середине она была не повреждена, лишь в верхнем правом углу и ближе к левому краю оказалось две дырочки. «В молоко попал», – констатировал отец. «А остальные куда?» – в недоумении спросил я. «Как куда? Попали в белый свет как в копеечку...» Долго после этого случая я задираю голову к небу, старался, при-

жмурясь, разглядеть эту самую «копеечку» – почему-то я воспринял тогда слова отца буквально.

Однажды уже после соревнований, где отец занял первое место и ему выдали почётную грамоту (которую он прикрепил к стене на кнопки), в нашем дворе поднялся какой-то шум. Ребятня бегала среди сосен, задрав головы кверху, и кричала: «Белка! Белка!» Никогда до этого я не видел этого шустрого пушистого зверька, а тут он появился в городе, хотя до леса от нашего дома и было совсем недалеко. То ли наступила бескормица, то ли лесные пожары заставили белок покинуть места своего обитания, но факт остаётся фактом: белки начали перебираться в другой лес прямо через город – с дерева на дерево. А городок наш тогда был зелёным, и его иногда в местной газетке называли «город в лесу» или «лес в городе».

Вышел из дома посмотреть на белок и отец, а потом – то ли ему кто-то подсказал, то ли он сам решил – быстро сходил за «мелкашкой», зарядил патрон и, прицелившись, сказал: «Сейчас я попаду ей в левую заднюю лапу». Он так и сделал. Я, задрав голову, чтобы увидеть вершину сосны, заметил белку, как она дёрнулась после попадания пульки, затем свалилась на ветку пониже, но удержалась передними лапками, а на серый песок упало несколько капелек её крови. Почти сразу же после этого белка скрылась из вида.

Отец больше не стал стрелять. Пацаны, стоящие вокруг него, громко и наперебой восхищались такой меткостью: «Вот это да! Законно! Козырно!» Но он, как-то сникнув и смутившись, быстро ушёл домой, повернув винтовку стволом вниз.

Мне было жаль тогда эту белочку, жалею её я и сейчас. Зачем тогда отец это сделал? Не знаю... Может быть, захотел проверить свою меткость и твёрдость руки не на бумажных мишенях? Но факт остаётся фактом, из песни, как говорится, слова не выкинешь. Правда, после этого случая он унёс ту злосчастную винтовку из дома и больше никогда не приносил.

У нас в шифоньере на верхней полке, где лежали зимние шапки и кепки, в самой глубине у задней стенки сохранилась картонная пачка малокалиберных патронов – тяжёленькая, когда я брал её в руки. Подняв верхнюю крышку, я смотрел на тёмно-серые свинцовые головки пулек, выстроившихся ровными рядками: они безмолвно были нацелены мне прямо в переносицу. От этого во лбу у меня ощущались какое-то свербение и тяжесть, казалось, что ещё мгновение – и они вырвутся из гильз и полетят прямо в меня. Я тут же закрывал коробку, возвращал на место, чтобы отец не обнаружил, что её кто-то трогал, хотя найдена мной она была совсем случайно.

Потом, значительно позже, когда я, уже отслужив в армии, вернулся домой, при переезде на новую квартиру коробочка с пулями обнаружилась. Взяв один патрон, я слегка дёрнул за свинцовую головку – она тут же отвалилась, крошечная щепотка пороховой пыли высыпалась мне на ладонь. Они просто пришли в негодность, эти малокалиберные игрушечные патрончики, и я их выбросил вместе с другим ненужным хламом в железный мусорный бак на помойке. Мне, стрелявшему боевыми из «калашников», они показались просто смешной детской забавой.

Мой отец не дожил всего один год до начала горбачёвской перестройки.

Иногда я, грешник, думаю: «И хорошо, что он не увидел всего приключившегося со страной и с нами». Он никогда бы не понял и не принял этих страшных перемен, это стало бы личной трагедией, перечеркнувшей крестнакрест всю его честную трудовую жизнь.



**Василий
ДОМРАЧЕВ**

ГОРЕЛА НОЧЬ В МОЁМ КОСТРЕ...

Я не больше, чем другие, знаю
и не дальше вижу, чем другой.
Может быть, лишь чаще прикасаюсь
к травянистой нежности земной.

Может быть, лишь только чаще плачу
и чуть больше, может, у реки
мыслей и воспоминаний трачу,
наблюдая времени круги.

В молодости, стоя на распутье,
я о вечном много размышлял
и, горя во всём дойти до сути,
греческих философов читал.

Позже я добрался до Бердяева.
Но нашёл ли смысл бытия?
Сердцем прозревая, бередя его,
надо жить – нашёл я для себя.

Лишь любя, сочувствуя, жалея,
втоптанную можно подобрать
розу, не тревожа зря аллею
книжным оправданием Добра¹.

Истины другой пока не знаю.
И чем старше солнце надо мной,
тем сильнее и чаще прижимаюсь
к травянистой нежности земной.

¹ «Оправдание Добра» – сочинение В. С. Соловьёва.

-
- Василий Иванович Домрачев родился в 1948 году в деревне Русская Гарь Марийской АССР, окончил в 1972 году физический факультет Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина. Работал в Казанском научно-исследовательском институте радиоэлектроники, пройдя путь от лаборанта до ведущего инженера-конструктора. Печатался в журналах «Юность» и «Идель». Автор книг стихов «Зелёные реки», «Любовь-и-правда» и «Щедрое лето». Живёт в Казани.

АВГУСТ

Избытку дивясь, излишку,
садами проходит август
и, будто весёлый Бахус,
порою бежит вприпрыжку.

Боится ложиться солнце
на ёжик ячменной нивы.
На чёрной воде колодца –
смирненные листья ивы.

Уж косят в лугах отаву,
и близится третий Спас.
Я первого рано встану
и вновь пойду в первый класс.

По вялой ботве картофеля,
по шороху трав у дороги –
открыть Куприна и Гоголя
и встретить друзей немногих.

Отведать банан Сулавеси,
нырнуть в реку Колорадо,
родные поля и веси
учиться любить как надо.

Горела ночь в моём костре.
Хотя была густой и ёмкой,
вся посветлела на заре,
качнулась веточкою тонкой.

Уходили ненастные дни –
им на смену тянулись другие.
Но теперь оказалось: они
были тоже совсем не плохие.

Всякий прожитый час, всякий миг –
о тебе одной только и помнил.
Пролистал кое-как пару книг
и тетрадку стихами заполнил.

Прощай, мой временный приют,
прощай, моя гостиница.
Меня теперь уж дома ждут,
ещё – любви, ещё – гостинца.

На этажах полупустых,
в каморке тихой, каменной
во мне возник не то чтоб стих –
мотив печальный, камерный.

Лежу у красного ковра
на сетке рваной панцирной
и наблюдаю, как с утра
день поливает пасмурный.

Пора, пора и мне домой.
Прощай, приют мой временный!
Дарю кусочек жизни мой,
быть может, непотерянный.

ЧИТАЯ ПОЭТОВ-ФРОНТОВИКОВ

*Не можем мы от века отказаться,
Другим доверить глубину и высь,
Мы сами будем веком заниматься
И строить безошибочную жизнь.*

Михаил ЛЬВОВ (1945 г.)

Листы по краям спалены желтизной
и ею охвачены к центру дороги.
А там, словно в снежных полях под Москвой,
вели оборону сурковские строки.

Без жалости враг по живому кроил...
Когда в девяностых страну мы сдавали,
похоже, что Слуцкий да Львов Михаил –
они лишь с друзьями – её защищали.

Российское Нечерноземье.
Забывость. Запустенье.

Пока машина бежала,
глаза исклевала жалость
и сердце жало.

Посредине деревни –
один дед древний.

Смотрел на завалинке,
как худели валенки.

Когда поля лебеды,
орден Красной Звезды,

рябина и две избы, –
как её, боль, избыть?

Как унять мне волнение?..
Забытость. Запустенье.

Откуда души нашей мужество? –
и нынче в вопросах вся мечется.

Она из страны почемучества,
страны беспокойного гдечества.

Она лучше выберет мученичество,
чем хлеба другого отечества!

На верхние ветки костлявого тополя
уселась пичуг серо-жёлтая стайка.
Качалась, вертелась, по воздуху топала –
чего дожидалась? Поди угадай-ка!

Порою одна из птах, тонкую ножку
от ветки легко отрывая, полого
слетала на узкую, в листьях, дорожку,
петлявшую долго по мокрому лугу.

В печальном, холодном и сером пространстве
безрадостно, тихо летели листочки.
А радость лежала в сияющем ранце
летевшей на крылышках школьницы-дочки.

А радость держалась за веточки тополя,
где птичек сидела шумливая стайка.
Качалась, вертелась, по воздуху топала –
чего дожидалась? Поди угадай-ка!

ПАСЕЧНИКУ НИКОЛАЮ

Тепло всё выше, выше,
всё дальше – к облакам.
Метёлки подвязанных вишен
снега разметут по полям.

А годы всё быстрее
под горочку скользят.
Прощальнее всё и нежнее
на землю бросаем мы взгляд.

Не вымажут уже пчёлки
в пыльце брюшко и лапки.
Но мёдом заставлены полки –
прозрачным, текучим и сладким!

Душе на стылой пасеке
пусть грустно, но не горько:
здесь доброго мёда в запасе –
себе и деревне – надолго!

Так что не никни усом,
в печаль шампанским брызни
и не поддавайся укусам
ни пчёл, ни морозов, ни жизни!



**Евгений
САФРОНОВ**

МАСТЕР-КЛАСС

– Да, да. Это самый популярный вопрос. Мне его часто задают, и я, кстати, люблю на него отвечать. Почему? Да потому, что всем нравятся хорошие истории, мы фактически целыми днями напролёт только и занимаемся тем, что слушаем-смотрим или рассказываем-показываем. Откройте книгу или сайт, включите телевизор, сядьте позавтракать со своими близкими или перемойте косточки вашему начальнику в дружеской беседе с коллегами. Что вы делаете во всех этих случаях? Правильно – соприкасаетесь с историями.

Вот вы меня спрашиваете, как я начал своё дело. И в ответ ждёте историю. Пожалуйста. «Ноу проблемс», – как говорят американские проповедники.

В России «бюджетник» – понятие столь же широкое, пустое и многозначное, как, к примеру, «региональная идентичность» и «толерантность». Кто работал в домах культуры, библиотеках, учительствовал или ходил в белом халате по замызганному кафе-поликлиники, тот отлично знает, о чём я говорю.

У меня было ещё интереснее: я работал контент-менеджером в одном официозном издании. Пояснять, что такое «контент-менеджер» надо? Нет? Тогда «Гугл» вам в помощь...

Ну, если коротко: я должен был каждое утро к восьми «ноль-ноль» приходить в самое центральное здание самой центральной улицы нашего городка, пикать синим пластиковым пропуском в турникет и, усевшись в серое офисное кресло, заполнять официальный сайт всякой хренью. Ну что-то наподобие: *«Сегодня в рамках очередного мероприятия был дан старт очередному проекту. В ходе торжественного открытия Такой-то Такойтович высказал слова благодарности, адресованные собравшимся...»* И так далее. Знакомо?

Тут ошибиться сложно. У этих текстов одни и те же легко узнаваемые приметы – как синяки под глазами у женщины, живущей с мужем-алкоголиком. Если натыкаетесь где-нибудь на сло-

-
- Евгений Валериевич Сафронов – фольклорист, кандидат филологических наук, писатель. Автор более 30 научных публикаций, в том числе – монографии «Сновидения в традиционной культуре. Исследование и тексты». М.: Лабиринт, 2016. Автор двух сборников художественной прозы. Лауреат международной литературной премии имени И. А. Гончарова. Рассказы публиковались в журналах «Симбирск», «Карамзинский сад», «Литерра Nova»; сборниках «Отражения», «Первая роса», «Зелёная лампа 2.0», ульяновских газетах, интернет-журналах «Пролог», «Иная реальность» и др. Живёт в Ульяновске.

вечки и обороты: «партийный проект», «в рамках», «в ходе», «в преддверии» или «не секрет, что...» – знайте, что это они – чёткие признаки текстов, созданных армией контент-менеджеров.

Я работал там семь лет. Семь лет – идеальный срок, время, когда у ребёнка просыпается какое-то самосознание, рефлексия. Ну не просто там вопросы из серии: «А на фига?» Нет. Поглубже, посерьёзнее.

В офисе, где я нажимал белые клавиши клавиатуры в окружении ещё троих таких же «счастливчиков», были большие окна. Светлые, чуть ли не до пола закрытые вертикальными полосками пыльных жалюзи. Вечером я поднимался с серого кресла, вставал на задеревеневшие, затёкшие от многочасового геморройного сидения ноги и глядел через щёлки жалюзи на постепенно падающее за горизонт солнце. Мы часто торчали в офисе допоздна, потому что к вечеру у тех, кто заказывал тексты о «в рамках» и «в преддверии», просыпалась нездоровая активность.

– Сашка, ты веришь в энергетических вампиров? – не раз спрашивал у меня Лёшка Рубцов, html-верстальщик и мой неизменный соратник по курилке. Наведывались мы туда раз в полтора часа, дымили друг на друга и жаловались на жизнь.

– Да не очень. А что? – вяло отвечал я, заранее зная, что услышу от него.

– Была тут у нас одна, руководителем аппарата работала. Сухая, как доска, похожая на воблу и лису одновременно. Вот с ней поговоришь и чувствуешь, как энергия из тебя ручейком так и бежит, так и льётся... – говорил Лёшка и блаженно щурился, словно вспоминал о самом приятном.

А у него из приятного – известно что: напарница по вёрстке Наташка Бехерева.

– Да, этого добра у нас навалом, – соглашался я. – Это ты тут сидишь целыми днями, в экран пялишься, а я, извини за выражение, ещё и на *ме-ро-при-я-ти-я* хожу. Вот знаешь, Лёшка, что такое эти самые «ме-ро-при-я-ти-я»? Это когда собираются в одном месте штук тридцать-сорок, как ты говоришь, энергетических вампиров – и давай! Пошли чесать языками про стратегическое развитие, патриотическое воспитание, инвестиционную привлекательность и тому подобную лабудень. А тебе не просто уши развесить надо, а запоминать-записывать – для того чтобы потом контент нарисовать. Вот тут уж не ручейком – тут энергия от тебя к ним речным потоком льётся!

Рубцов выдыхал дым, сочувственно кивал, и мы с ним возвращались на свои рабочие места. Он – чтобы играть «в шарики» или «танчики», а я – чтобы вбивать контент в поддерживаемый им веб-ресурс.

– Да, простите, я отвлёкся немного. Сейчас самое время рассказать о встрече, перевернувшей всю мою жизнь. Знаете, я на своих бизнес-тренингах и мастер-классах часто этот оборот использую – «перевернувшей всю мою жизнь». Аудитории нравится...

А ведь, если по-честному, никакого переворота и не было! Нет, встреча, конечно, была, но вот переворота... Изменения начались ещё до того, как я познакомился с Черновым. В общем, как часто повторяют плохие ораторы, расскажу всё по порядку.

Вы в чудеса верите? Нет, я серьёзно. Я не про шапку-невидимку, мгновенное исцеление от рака или зелёных человечков, похитивших вашего соседа по лестничной площадке. Я – про совпадения. Неожиданное исполнение

желаний. Вот приведу только один пример – самый будничный и обыкновенный. У меня друг – Паша Емельянов, он от бизнеса далёк, наукой занимается. Так вот, он всегда говорит, что стоит ему в уличных вывесках заметить ошибку в каком-нибудь слове, так потом это слово попадается везде, куда ни глянь – и в книге, и в газете, и по телеку что-нибудь ляпнут, близкое к этому.

Я ему говорю: «Паша, ты настроился просто, мозг включил на определённую волну, вот он у тебя и выхватывает из реальности только то, что тебе хочется видеть». А он в ответ: «Ты прав лишь наполовину. Мозг точно настроился – это очень важно. Но не он выхватывает, а сама реальность начинает под этот настрой перестраиваться». Гуманитарий, одним словом, много ли с него возьмёшь?

Короче, закавыка-то вся в том, что до встречи с Черновым я тоже иногда сталкивался с подобным. Подчиняешься какому-то внутреннему голосу, интуиции – и на тебе: совпадает до мурашек по спине. Помню: покупаю я однажды билет на самолёт, а внутри – как тяжёлое похмелье какое-то. Вот нехорошо на душе, и всё тут. Маялся-маялся, а потом по «электронке» отменил заказ на этот рейс. В 2015 году, помните, самолёт разбился – из Египта в Питер летел? Ага. Он самый.

Я это всё к чему говорю? Не для того, чтобы свою историю приукрасить, у нас мастер-класс вообще про другое. Мне просто хочется, чтобы вы поняли, что я пережил, как я вообще попал из бюджетников в разряд людей, которые принадлежат сами себе. Вы ведь за этим сюда пришли, так ведь? Научиться делу. А что может быть лучше конкретного примера?

Чернова я впервые увидел так. Твёрдый и решительный стук в дверь – я даже не успеваю ответить, а на пороге уже появляется мужичок. Вот это слово больше всего к нему подходит: чисто выбритый, подвижный, худощавый ртуть-мужичок. Сколько ему лет – непонятно: вроде бы виски седые, а усы – чёрные, как монитор Славки Овчинникова, моего соседа, чей стол напротив. В руках у неожиданного гостя – аккуратная сумка а-ля сундук.

– Мёдом интересуетесь?

Я пялюсь на него и не могу сообразить, как его могли пропустить через турникет на первом этаже. Кто его знает, может, он с охранником в тесной дружбе пребывал? В офисе тогда никого, кроме меня, не было – такое нечисто, но случалось.

– Мёдом? Нет, мне не нужно.

– А зря! – говорит этот типчик, и я не успеваю глазом моргнуть, как он уже выставляет свои пластиковые контейнеры на Славкин стол. – Вы свои мешки под глазами видели? Вам бы гречишного и донника взять. По столовой ложке под язык – вечером и утром. Иной жизнью заживёте, молодой человек!

А мне надо срочно писать очередной пресс-релиз – кровь из носа, вынь да положь! Приезд иногородней делегации по обмену премудростями в сфере авиапрома. У меня тот день вообще суматошный был: «Саша – туда, Саша – сюда!», «Саша, это слишком дурацкий заголовок!», «Саша, это что за фотографию ты поставил?» – короче, обычный, повседневный дурдом. А тут этот нарисовался – с мёдом который.

– Уберите, – говорю, – пожалуйста. Меня это совсем не интересует! Да и денег сейчас лишних нет. И мёд я не люблю совсем.

– Как же можно любить или не любить, если вы мёда нормального в своей жизни не пробовали ни разу? – качает головой чисто выбритый мужичок. – Вы, наверно, и молока-то настоящего не пили. Я вам образцы

оставлю, это бесплатно. Там визитка моя: «Пасека Чернова Виталия Ивановича».

И испарился из кабинета. А две пластиковые квадратные баночки остались – в одной что-то коричневело, в другой – по-солнечному желтело.

Я пожал плечами и продолжил стучать белыми клавишами.

«– В случае реализации наших амбициозных планов авиационный кластер в регионе перейдёт на качественно новую ступень развития», – подчеркнул директор предприятия...» – на автомате отбивали глупую дробь мои пальцы, а на мысленном экране то и дело показывалось усатое лицо пчеловода.

Я прервался и потянулся за жёлтым куском картона, лежавшего на крышке одного из пластиковых контейнеров. Простая надпись на визитке: «Пасека Чернова В. И.» – и внизу номер сотового телефона. В левом верхнем углу – изображение забавной пчелы, наполовину спрятавшейся в одуванчике.

«По словам заместителя главы департамента промышленности и транспорта, возросшее число заказов – яркое свидетельство правильной инвестиционной политики, ориентированной на...» – пальцы сами собой тянутся к чайной ложке, торчащей из кружки с недопитым кофе. Пластиковая баночка с жёлтой начинкой вскрыта, и – под языком начинается медленно таять смесь солнца, полевого разнотравья и свежего воздуха.

«Иной жизнью заживёте, молодой человек!» – вспоминаю я слова торговца мёдом и вздрагиваю. По инерции направляюсь в сторону курилки, там распечатаваю пачку вишнёвого «Марко Поло», верчу сигарету в руках и засовываю её обратно. До сих пор не могу вспомнить, дописал ли я в тот вечер чёртов пресс-релиз про авиационный кластер. Но, видимо, да: на автомате достучал, иначе мне бы не миновать звонков на сотовый.

Я унёс медовые образцы домой, а уже через месяц положил заявление об увольнении по собственному желанию на стол своего начальства. Контент-менеджер в считанные недели превратился в помощника пчеловода. Да, именно так всё и произошло. Но что это был за месяц!

– Как? Я не говорил, что я к тому моменту был уже женат? Нет? Ну, это большое упущение с моей стороны. Не знаю, почему, но успешные бизнесмены всегда рассказывают на мастер-классах о семьях. Демонстрируют фото своих маленьких детей – например, умильные «обнимашки» с малышами на фоне природы. Это в тренде, модно – в общем, это как-то настраивает аудиторию на положительный лад. Я фото детей показывать не буду, но ребёнок у меня есть. Да, девочка, шесть лет.

Так вот. Жена, в принципе, меня и спровоцировала: «Ах, какой хороший мёд! Позвони, закажи ещё баночки три, я маме отвезу».

Но я вру, конечно. Тут – другое. Я после того, как Чернов объявился у меня в кабинете, полночи без сна пролежал, с боку на бок проворочался. Вот не идёт он у меня из головы, и всё тут! Хоть ты тресни. Почувствовал я что-то такое важное, тёплое, какое-то... медовое в душе. В конце концов вскочил с кровати, пошёл на кухню, зачерпнул чайную ложку донника и – под язык. Тогда только и заснул – яко младенец.

А наутро жена мёд попробовала и давай меня теребить: «Саш, позвони, закажи у него, у пчеловода твоего, ещё несколько баночек». Я про себя думаю: «С каких это пор он «моим» сделался?» Эх, как она потом жалела о том, что попросила меня позвонить ему! До сих пор думает, что, если бы

не она, остался бы я на всю жизнь предсказуемым и понятным контент-менеджером. А я уверен в другом: чудеса, господа-товарищи, случаются. Надо, как говорил мой друг – учёный Пашка Емельянов, просто мозг правильно настроить, и реальность изменится сама собой!

Я в тот же день Чернову и позвонил: так, мол, и так. Вы заходили, оставили образцы. Хочу приобрести ещё. А он и отвечает: «Вы тот самый молодой парень с синими мешками под глазами? Э-э, нет! Так дело не пойдёт!»

Я опешил и даже сразу не нашёлся, что ему ответить. «Как? Почему не пойдёт?» – спрашиваю. «Как вас зовут? Сашей? Саша, мне в эти выходные 70 лет исполняется, круглая дата, так сказать. И вы хотите, чтобы старый человек на ваш третий этаж тащился и принёс вам мёд – на блюдечке с голубой каёмочкой? И где здесь здоровье? Чему вы научитесь? Съедите этот мёд, а там снова – за старое? Нет и ещё раз нет! Давайте лучше так: у меня есть пасека, всего километров 150 от города. В великолепном месте! Заброшенное село, там пешочком пройтись – мило дело: холмы, лес, речка, свежий воздух. Кра-со-та! Вместе с вами накачаем свежего разнотравья, посмотрите хоть, как это жёлтое золото добывается. Ну, согласны? В эти выходные...»

Я молчал и глупо улыбался в трубку. В выходные? В заброшенное село? Жёлтое золото? И это – после банального вопроса о покупке полутора килограммов мёда?

«Я подумую, – бормочу я наконец. – Тут у меня всё-таки планы. Неожиданно как-то...» – «Какие такие планы, Саша? У компа торчать? Бросьте. Вся рабочая неделя будет впереди. Настучите ещё вашими пальцами о белые клавиши!»

Я прямо-таки вздрогнул: как точно, почти дословно он воспроизвёл мои потаённые мысли!

«Ну ладно! – выдавливаю я и продолжаю глупо улыбаться. – Я позвоню вам вечером в пятницу, договоримся, если я свободен буду». – «Да, конечно, будете свободны! Всё, замётано. Жду вашего звонка в 20 часов по Москве. Просьба не опаздывать: я ведь бывший военный – у меня всё чётко должно быть!»

И короткие гудки в трубке.

Вот так занятный мужичок... «Бывший военный». Час от часу не легче.

– Сиденья бордовой «семёрки» едва уловимо пахли чем-то забытым и приятным. Только уже на обратном пути я понял, что черновская машина насквозь пропитана запахом «пчелопродуктов».

– Саша, вот ты думаешь, пчёлы – это только мёд? Так? А это совсем иное. Пчёлы – это и перга, и маточное молочко, и прополис, и забрус. Знаешь, что такое забрус? Вот когда мёд забираешь, у сот крышечки верхние срезаешь. И вот будешь жевать такую штуку – и никаких тебе инфекций и болезней горла. А хондроз? Ты вот говоришь: шея у тебя от работы за компьютером болит? Так?

Я нехотя кивал: шейный хондроз у меня и впрямь был нешуточный, боли были такие, что иногда хоть вешайся. Только вот когда я ему, блин, проговорился об этом?

– Пчёлы от твоего хондроза – первые помощники. Я тебе тряпицу из улья дам – она вся воском да мёдом пропитана, пчёлками нагажена-наси-

жена. Поносишь на шею – как рукой снимет. Апитерапию – это когда пчёлы кусают, слышал? – я тебе не предлагаю, на это особая лицензия нужна.

За два часа пути, пока мы добирались на машине до «точки икс» (черновское выраженьице!), он рассказал мне о пчёлах больше, чем я слышал за всю свою сознательно-бессознательную жизнь.

– Пчела, Саша, – великая труженица! Человеку и миллиона-то лет нет, а она трудится на земле-матушке больше 200 миллионов годков. И, в отличие от людей, никакого вреда для окружающего мира от неё нет. Что ни возьми от неё – всё сплошная польза. Так-то!

«Точкой икс» оказалась ближайшая к заброшенному поселению деревенька.

– Тут асфальт заканчивается, дальше пешкодралом придётся. По лесам да по долам. Но ты не бойсь: тут недалечко – семь километров туда, семь обратно. Готов?

Я поджал губы: мол, эка невидаль – семь километров! Виталий Иванович надел походный рюкзачок, нацепил на шею какой-то пакет и перекинул его назад – так, чтобы он болтался за спиной.

– Руки должны быть свободны, – пояснял мужичок. – Сейчас узнаешь, зачем.

Мы бросили машину на одной из сельских улиц, а сами устремились по едва заметной тропке в ближайший лес. Земля была мягкой и слегка влажной, хотя я не помнил, чтобы в городе за последнюю неделю шёл дождь.

– Местность здесь немного болотистая, – говорил Чернов, – но красивая – сам сейчас увидишь.

Он бодро стартанул и шёл всё время впереди. В первой же рощице он залез в какой-то бурелом и вышел оттуда с широченной улыбкой и четырьмя палками-посохами.

– Ты, Саша, что-нибудь о скандинавской ходьбе слышал? Ага. Ступать за мной нужно след в след, и палками себе помогай – как будто на лыжах идёшь. Устанешь – говори, остановимся.

Затем он взял такой темп, что я едва поспевал за ним. Уже километра через два я в полной мере оценил идею пчеловода насчёт скандинавской ходьбы. С палками и правда было намного легче идти.

Я вглядывался в спину шагающего впереди меня человека, смотрел на его размеренно работавшие руки и думал: «Неужели ему на днях исполняется 70 лет? Вот это прыть!»

Ещё через три километра мои привыкшие к офисной жизни ноги и руки начали ныть. Поясница и левая коленка нещадно болели, шея задеревенела, хотелось остановиться и растянуться на влажной земле. Но стоило взглянуть на худощавую энергичную фигурку Чернова, и становилось стыдно просить об остановке.

– Я ведь полковник в отставке. Приходилось в Африке служить два года, в Эфиопии. Вот идём мы как-то с колонной, и вдруг вижу: облако какое-то! Думаю: что это за феномен такой? А мне более опытный служака, товарищ мой, говорит: «Это пчёлы!» Там растут такие кактусы огромные, они на короткое время по весне распускаются тысячами цветов. И вот африканские пчёлы целыми армиями спускаются к ним и нектар-пыльцу собирают.

Пчеловод успевал и протапывать мне тропу (я шёл за ним след в след – и это тоже облегчало дорогу), и разговаривать, и работать обеими руками. По дороге он срывал какие-то веточки и цветы, объяснял, какие из них привлекательны для пчёл, а какие нет. Наконец, видимо, заметив, что я едва

бреду, он объявил привал. Я уселся на поваленную ветром берёзу, вытянул ноги и блаженно закрыл глаза.

– А я вот по весне и летом раза два-три в неделю такие походы устраиваю. Привык уже. Ну, красиво? А, Саша?

Я огляделся вокруг и тут только услышал тысячи звуков леса: ветер шелестел листьями в верхушках деревьев; кругом переговаривались птицы; где-то в стороне мерно постукивал дятел. Я увидел границу леса – там желтело и зеленело бескрайнее поле, покрытое разнотравьем.

– Вон там – остатки барской усадьбы. Время будет – посмотрим поближе. А нам с тобой налево, ещё километрик-другой – и до пасеки доберёмся. Тут полно донника – это трава такая. Вот пчёлки её опыляют, мёд творят. В основном у меня на здешней пасеке «лесное разнотравье» получается. Ну, Александр, готов идти дальше?

Небольшой отдых взбодрил меня, открылось второе дыхание, и я зашагал быстрее.

Заброшенное село называлось совсем по-египетски – Александрия. Улица заброшенных домов из красного кирпича тянулась до другого края поселения.

– Здесь раньше, ещё в царское время, свой кирпичный заводик был. Кирпич дешевле дерева обходился – вот и строили себе красные хоромы. Впечатляет?

Я закивал в ответ. Чернов года четыре назад прикупил здесь за бесценок один из красных домов – поближе к местной речке. Там-то, на огороде, и располагались пчелиные улья.

– Мёд качать не приходилось? Никогда? Ну, мы это дело поправим. Сегодня я только покажу, как это делается. А вот в следующие разы мы уж развернёмся по полной.

Я расширил глаза от удивления: «в следующие разы»? Но решил промолчать: зачем обижать старика? Когда чем-то увлечён, всегда кажется, что и другим так же интересно.

Мы вошли в избу. У левой стены стояли старые медовые рамки, неподалёку от порога – остатки ульев; на небольшой кухоньке скоро зашумел чайник. Правда, для этого Виталию Ивановичу пришлось повозиться с электричеством: старый электрощиток отказывался работать.

– Сначала чайку с мёдом, а потом – работать! – объявил неутомимый пчеловод. – Нужно подготовить угольков для дымовухи, и я тебе защитную сетку для лица сейчас раздобуду.

На пасеке Чернов преобразился: лицо его светилось внутренним светом, движения стали мягче; угловатость сухой, поджарой фигуры сменилась какой-то неуловимой округлостью.

– Девоньки вы мои! Дождались-таки цветочков да хорошей погодки, – говорил он пчёлам, осторожно открыв крышку и поднимая тряпки-утеплители. – Давай, Сашка, дыми сюда. Ещё. Ага, хватит. Пусть попрячутся, а мы посмотрим, какие тут рамки уже созрели.

Я научился управляться с дымовухой не сразу, но с каждым осмотренным ульем получалось всё лучше. Затем Чернов нагрел ножи, подготовил в сарае медогонку, и действие началось.

– На-ка, попробуй, – смеялся пчеловод, и его чёрные усы смешно топорщились в разные стороны. – Да какая ложка? Зачем тебе? Пальцем бери – это же мёд, он сам по себе убивает все бактерии и микробы. Ну, каково? Вот это и есть самый лучший мёд на свете – когда он из медогонки, жидкий ещё. Ни с чем такое не сравнить.

Чернов был прав: свежее жидкое золото ароматного мёда перетекало с моих пальцев прямо в рот, а вместе с ними в меня вливалась новая сила, новая энергия. Я почему-то вспомнил про энергетических вампиров, о которых мне рассказывал Лёшка-верстальщик в курилке, и всё это: и курилка, и вампиры, и контент-менеджерство – показалось мне тогда таким нереальным и невсамделишным... Реальность была здесь – в Александрии. Здесь всё настоящее, неподдельное, не «в рамках» и не «в преддверии».

– Да, рамки-то надо новые сделать! – словно соглашаясь с моими мыслями, разглагольствовал Чернов на обратном пути.

Мы с ним успели осмотреть остатки барской усадьбы и полюбоваться красотами здешней речки.

– Барин, говорят, здесь интересный был. Он-то и придумал египетское название для села – в честь своей дочери Сашеньки.

Обратная дорога далась мне легче. Но всё равно я с большим облегчением выдохнул, когда увидел бордовую «семёрку» Чернова, покорно, как собака, ожидавшую нашего возвращения.

– Я думаю, для первой нашей встречи вполне достаточно. На следующих занятиях мы уже обсудим с вами, а может, даже нарисуем конкретные бизнес-планы. Нет-нет, не только про пчеловодство – это я просто описал свой конкретный путь в бизнес. Потом у меня были и свои специальные магазины, где продавалась пчелопродукция, и много чего ещё. Но это уже совсем другая история.

Вопросы у кого-то остались? Да? Вот женщина в третьем ряду. Да-да, вы. Хороший вопрос. Нет, сейчас у меня личной пасеки нет. Одно время была, а потом... Как-то я отошёл от этого. Переключился на перепродажу мёда, а затем вот стал бизнес-тренером. Езжу по стране – учу молодых. У меня сейчас немного другой бизнес.

Жалею? А о чём мне жалеть? А-а... О пчёлах, о пасеке, о свободе. С Черновым мы и сейчас видимся, он постарел, конечно, но всё так же – молодцом-огурцом держится.

Ну, давайте последний. Да, вот вы молодой человек... Ага, я повторю ваш вопрос, а то не все его расслышали: «Не кажется ли вам, то бишь мне, что я променял шило на мыло и снова стал контент-менеджером – только немного в другой сфере?» Отличный вопрос. Отличный. Честно говоря – не знаю. Я сейчас ответить не смогу. Я подумаю, можно? Отвечу вам в следующий раз. Я подумаю. Спасибо.



**Алексей
ГУШАН**

В ПОИСКАХ СОЛНЦА

ОТТЕПЕЛЬ

Чудно, ей-богу! Пару дней назад
Мороз сжимал деревню аж до хруста,
Над крышами дымы клубились густо,
И старики смолили самосад.

Теперича растеплилось. И мы
Вкушаем дни, как нежную малину.
Спешат аборигены к магазину
Поговорить о вычурах зимы.

А я смотрю, как за моим окном
Невидимый Поэт выводит буквы
И нашу жизнь из переспелой клюквы
Пресуществляет в сладкое вино.

ГЛУХОЗИМЬЕ

Чахнул день в декабре – в январе, погляди-ка, воскрес!
Сквозь простудную сырость тяжёлых небесных завес
Пробивается просинь. Лампады в раю зажигают,
Потому-то на сторону света пошёл перевес.

Перевес на весну! Но легко не отпустят своё
Ни морозы, ни вьюги. Кликушествует вороньё
Над цыганом, что продал, как исстари водится, шубу,
Понадеявшись вновь на своё воровское чутьё.

Проорутся вороны, и быть непременно добру!
По большому секрету мне ветер шепнул поутру,
Что деревня стоит под едва согревающим солнцем,
Подставляя заулки, как будто ладони, теплу.

-
- Алексей Николаевич Гушан родился в 1984 году в г. Лодейное Поле Ленинградской области. Поэт, публицист, член Союза писателей России, общественный деятель. Лауреат многих российских и международных литературных премий, конкурсов и фестивалей. Публиковался в региональных, федеральных и международных печатных изданиях: «Юность», «Наш современник», «Литературная газета», «Север», «Среда», «Поэзия», «Берега», «Литературный Омск», «Белая Вежа» и других. Автор книг «Земля Тишины» (2015) и «Любуясь жизнью» (2016). Живёт в п. Малаховка Московской области.

НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

...Птица гнезда не вьёт, девица косы не плетёт.

Русская народная поговорка

Зайдётся от волнения восток.
Замрёт в благоговении цветок.
И ты замри и не слетай с куста.
Кукушечка, молю, не вей гнезда.

Ослушаешься – станешь причитать,
Года свои бездомные считать,
Но не избежнешь Божьего суда!
Кукушечка, молю, не вей гнезда.

Былинки ветхой даже не тревожь.
Погожий день упустишь? Ну и что ж?
Их много будет на твоём веку.
Кукушечка...

Кукушечка...

Ку-ку...

ГРОЗА

Ощерилась полночная гроза.
Чернеют в небе грозовые скулы.
Вот молнией по сердцу полоснуло,
Громами память настезь распахнуло –
И хлынули бывшего голоса.

Шумят они, но лишь едва-едва –
Не разберёшь уже и половины –
Мне слышатся случайные слова,
Которые для прошлого едины.

К чему они? Да вроде ни к чему.
Но вспомнится – и сам я не пойму,
Откуда это: май, и бабка Нина,
Да у забора скромная рябина.

Слова шептались, дерево дрожало,
Оберегая дом наш от пожара.

Как позабыться это всё могло?
Не позабылось – просто утекло
За дом соседский, за проулок, за...
Отмаялась полночная гроза.

В ПОИСКАХ СОЛНЦА

Пойду в поля – покликаю,
В чащобы – поаукаю.
Где бродишь, ясноликое?
Окончится разлука ли?

Весна – девица с норвом –
Тобою не целована.
Дни за окошком хворые,
Ненастьем околдованы.

Июнь в саду под вишнями
Озябнет и расхнычется..
Согрейте сердце ближнего –
И солнышко отыщется.

В ИЮЛЬСКОМ ЛЕСУ

Я по лесу бреду. Взгляд мой нынче не к звёздам – к траве.
Не боюсь ни коряги, ни пня, но всё чаще под ноги
Я смотрю. У забытой делянки на старой дороге
Молодые грибы в перепрелой таятся листве.

Земляника, черника, морошка спели – бери
Хоть в ладонь, хоть в ведро – изобилье даров не убудет.
Здесь, на щедрой земле, обитают счастливые люди!
Что за счастье такое? Да просто вокруг посмотри!

На лесном озерце ребятня, наловив окуней,
Искупнётся – и мигом домой, косарям на подмогу.
В праотцовской глуши понимаешь величие Бога
И незримую связь с заповедной сторонкой своей.

АВГУСТОВСКОЕ

Рассвет теперь иной.. Совсем иной.
Закатные часы совсем иные.
В луга выходят кони вороные,
Чтоб ночи пропитались чернотой.

А дни теперь напоминают мёд –
Густой, янтарный, с лёгкою горчинкой.
Последний месяц лета, как слезинка,
На солнышке блеснёт и пропадёт.

Конечно, знаю я, что неспроста
И дни, и ночи так преобразились.
Птенцы уже окрепли, оперились
И просятся из тесного гнезда.

ПОСЛЕЛЕТНЕЕ

Месяц клюквы и зрелой смолы
Вновь стучит по заборам сутулым.
Выгнал сиверко лето с горы –
Тем же ветром и дачников сдуло.

Кто не сдулся, сидят по домам,
Топят печи, глядят на дорогу.
Гроздь рябины легла между рам,
Чтоб осеннюю скрасить немоду.

Та рябина красна, но горька.
Вот и жизнь – не конфеты-букеты...
Гладит осень хромого щенка,
Бессердечно забытого кем-то.

По земле туман рассветный стелется,
Дым печной струится в небеса,
Осень, как таёжная медведица,
Глубже пробирается в леса.

Впереди дорога угасания.
Как бы ни петлял надежды след,
Северное хриплое дыхание,
Сонного предзимья силуэт

Близятся – уже не за чащобами!
Не с того ли в избах огоньки
Кажутся роднее мне, особенно
В эти беспросветные деньки?

Годы, словно листья, осыпаются...
Снова вижу за окном моим:
Утренний туман к земле ласкается
И уходит в поднебесье дым.



**Аркадий
МАКАРОВ**

«НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ, НЕ ПЛОТНИКИ...»

Монтажники – народ хоть и летучий по образу жизни и профессии, но ребячливый по сути, хотя в некоторых моментах не так прост. И в этом мне ещё раз пришлось убедиться, перейдя из профессионального училища, где я преподавал спецдисциплины, в монтажное управление с громким названием «Волгосталь-монтаж».

Работа новая, но по старой моей ещё доармейской выучке несколько знакомая. Только, может быть, пили тогда поменьше, а работали побольше. Сталинские законы ещё безотказно действовали, хотя их основатель и был развенчан самым преданным последователем на поприще «культы личности». Но это – историкам...

После школы я с упорством, которое надо было бы применить в другой сфере, постигал обучение в монтажной бригаде «ух», где каждый второй проходил воспитательные лагеря: кто «по дурочке», а кто и по идейным соображениям. Монтажное дело опасное, но не сложное, главное, чтобы привычка укоренилась. Орудовать гаечным ключом любой может, а вот головой пусть бригадир да прораб работают...

Возводили в городе анилиноокрасочный завод, объект Большой Химии. Тогда всё было большое: Большие Сроки, Большие Стройки, Большая Целина, Большая Политика, Большие Люди.

От мастера до главного инженера и директора начальство пользовалось почтительным уважением. Рабочие обращались на «вы», советовались по каждому техническому и даже житейскому вопросу. Каждый свою работу старался выполнять добросовестно: забывали проклятое прошлое и надеялись на обещанное счастливое будущее.

Все верили во всё...

Наивная жизнь, наивные люди!

Сварному делу меня учил сварщик с характерной кличкой Кольма. Он считался в бригаде монтажником высокой, самой высокой квалификации. От звонка до звонка «оттрубил» свои

-
- Аркадий Васильевич Макаров – член Союза писателей России (СССР). Лауреат нескольких всероссийских литературных премий. Автор двадцати сборников стихов и прозы. Неоднократно печатался в журналах «Роман-газета», «Аврора», «Наш современник», «Российский колокол», «Подъём», «Бельские просторы», «Литературные незнакомцы», «Новая литература», в «Литературной газете», «Литературной России», других изданиях.

положенные 25 лет. За это время ему пришлось участвовать во всех Великих стройках страны, постигая науку выживания в экстремальных, как бы теперь сказали, условиях. Поэтому он имел неоспоримое преимущество перед остальными моими напарниками, которым не так повезло в жизни. Ну что там какие-то пять-шесть лет по хулиганке?! Разве это срок! Вот политическая статья – это да! Перед ней, статьёй этой, даже воры в законе пасовали...

Но на политика Колыма совсем не тянул. Маленький, щупловатый, он скорее походил на карманника или форточника, чем на политика.

Несмотря на свою столь богатую биографию, сварщик Колыма был самым тихим в бригаде. Даже тогда, когда напивался «в кодекс», как он выражался, то становился вроде малого ребёнка: беззубый рот, вставные челюсти он обычно терял тут же в траве, где пили, шамкал бессвязные, мне непонятные слова, а на глазах наворачивались светлые слёзы неизвестного происхождения.

Челюсти на другой день я ему находил, за что всегда получал благодарность и дружеское рукопожатие. Рука у него была маленькая, детская, но жёсткая, как рашпиль.

Будучи трезвым, он никогда не вспоминал подробности своей жизни, да вроде и не сетовал на неё, на жизнь свою, прошедшую по баракам и пересылкам под лай сторожевых собак.

В обычное время Колыма, прикрывшись сварочным щитком, молча висел где-нибудь под перекрестием стальных конструкций и крепко держал за хвост свою жар-птицу, которая сыпала и сыпала золотые зёрна в прозрачный воздух.

Если поднять голову туда, то можно явственно увидеть огненный хвост волшебной птицы и маленькую головку ослепительной голубизны.

Работа сварщика-высотника мне нравилась, и я с воодушевлением, присутствием только молодости, постигал науку быть гегемоном своей страны. А гегемон этот – вон он, в ежовых рукавицах и брезентовой робе, отпустив звёздную жар-птицу, уже спускается с высоты, чтобы показать мне приём сварки потолочного шва на брошенном обрезке трубы.

По моему несовершеннолетию на высоту более трёх метров меня не пускали, и я тогда, страшно завидуя своему наставнику, клевал и клевал электродом никому не нужную трубу, чтобы на ней, на этой трубе, «набить руку».

Колыма подходил, присаживался рядом, медленно закручивал неизменную самокрутку и на пальцах растолковывал мне, неразумному, хитрые приёмы мастерства сварщика. Иногда он брал мою руку с электродержателем и терпеливо пытался моей же рукой положить ровную строчку-ёлочку на стальном стыке.

Отношения со мной, малолеткой, у него были вполне дружеские. Но вот когда я, минуя бригадира, однажды полез наверх к своему учителю и, склонившись над парапетом, сплюнул вниз, то за это получил он него обидный, чувствительный подзатыльник.

Он потом не раз втолковывал мне, что, работая на высоте, никогда не плюй вниз: это плохая примета – когда-нибудь сорвёшься...

У нас на участке стоял небольшой кузнечный горн для нестандартных поковок, и мой наставник, показав мне очередной приём сварки, доставал из-под верстака прокопчённую алюминиевую кружку, засыпал туда пачку индийского чая, заливал холодной водой и ставил на краешек горящего горна, где помошь жара, и, подрёмывая, заставлял меня следить, чтобы цифирь не выплёскивался, а медленно вскипал. Когда появлялась желтовато-грязная пена, тогда моей обязанностью было на несколько секунд оторвать кружку от жарких углей, дать бурой пене успокоиться, и – снова кружка на огне, и снова я должен её убирать с огня, успокаивая варево. И так раз десять.

Когда чифир остывал, он превращался в дегтярного цвета настой, густой и крепкий, как сдобренный матом анекдотец или крутая монтажная поговорка всё про ту же работу.

Воровской глоток-другой чифира, пока посапывает мой учитель, делали меня резвым и возбудимым на всякие шалости. Постепенно и мне стала нравиться горько-вязкая смесь невозможной энергетической силы.

Всему научишься сам, чему не надо бы и учиться...

Это я понял позже, когда пришёл из армии и надо было определяться в своей собственной дальнейшей жизни.

Учёба в вечернем техническом институте прошла настолько быстро, что я и не заметил, как получил диплом инженера.

Друзья-однокурсники перетащили меня на работу в профтехучилище, где я теперь уже передавал науку монтажного дела таким же оболтусам, каким я был сам когда-то.

Но вот настали времена так называемой перестройки. Потом рухнула держава. Потом рухнули все скрепы, и мне пришлось искать другое место работы. Стоял 1991 год.

Пятнадцать лет теоретических дисциплин в стенах училища оторвали меня от настоящей практики, и когда я перешёл прорабом в монтажное управление, то понял, что мне надо снова учиться постигать науку общения с рабочим классом.

Главный инженер «монтажки» – предприятия, куда я устраивался – мне был хорошо знаком, и переход на новое место оказался более простым, чем я думал. Бутылка коньяка легко закрепила мою трудовую книжку в отделе кадров управления.

– Ты с ребятами поаккуратней! Они теперь все грамотеи, не как мы с тобой в своё время. Промашку сделаешь – на шею забугрятся! У тебя на участке из тридцати монтажников двенадцать с высшим образованием. Почему-то все из учительского института. Педагоги! Мать их так! Лишний раз под балку плечо не подставят – технику давай! Да и ты вот тоже из «учителей». Набрался на мою голову!

На другой день после обязательной планёрки мой новый начальник участка, старший прораб, незабвенный Михаил Николаевич Гришанин (позже при невыясненных обстоятельствах погибший на монтажной площадке под упавшим с высоты стальным обрезком балки) повёз меня на объект, который я должен сдать генеральному подрядчику уже через неделю.

Что и как сдавать, не имея для этого никакого опыта, я не знал и заранее был готов на всяческие подвохи со стороны моего непосредственного начальника, знавшего, что я всего лишь «учительствовал» в ПТУ и практического опыта у меня нет.

– Позовёшь меня процентовку подписывать!

Гришанин так ловко сплюнул сквозь зубы, что дымящийся на земле окурочок зашипел и перестал чадить, когда я ему настойчиво напоминал, что работы на объекте не вёл и во всех вопросах вряд ли разберусь.

– Не ссы! – Он присвистнул привычную, расхожую фразу, приглашая меня в серебристого цвета побитую «Волгу».

«Волга» его личная, но, судя по внешнему виду, наверное, не раз использовалась для перевозки на строящиеся объекты необходимых деталей и небольших монтажных узлов.

Мэрии ещё не было. Ещё власть в городе принадлежала горисполкому, в котором как раз председательствовал близкий родственник Гришанина, создавший богатый кооператив «Фламинго». Поэтому мой старший прораб, как знающий инженер, дополнительно возглавлял ещё и этот кооператив, значит, деньги, и немалые, у него водились.

По тому, как он лихо выворачивал баранку на поворотах и резко тормозил, было видно, что «Волгу» Гришанин не жалел.

Ехали молча, но каждый думал о своём: я – о предстоящей работе, а мой начальник, судя по характерному перегоревшему запаху, о чём угодно, но только не о работе. Я по своей наивности даже растерялся: на службе и под мухой? Может, вчера у него день рождения был?..

Автомобиль, вспахивая брюхом жидкую грязь и строительный мусор, еле выбрался на сухое место и прерывистым гудком обозначил себя на монтажной площадке. Но ни один рабочий на сигнал начальника участка не отозвался.

– Пойдём в бытовку! – лениво вытащив ключ зажигания, сказал Гришанин. – Они теперь водяру жрут! Чего улыбаешься? – обернулся он ко мне. – Привыкай! Это тебе не школа ПТУ! Здесь другая школа – школа жизни!

Я действительно был удивлён тому, с каким спокойствием начальник участка относится к употреблению спиртных напитков монтажниками на рабочем месте.

Перепрыгивая с балки на балку, с кирпича на кирпич, обходя наплывы свежего бетона, добрались кое-как до монтажной будки. Сердито заскрипела железом дверь, в нос шибануло застоявшимся прогорклым воздухом вперемишку с испарениями мокрой брезентовой спецодежды, пропитанной настоем ржавчины и машинного масла. За длинным столом, сбитым из неструганых досок, сидели, не обращая на вошедших внимания, с десяток рабочих в ожидании чего-то манящего. Лица их были сосредоточены на литровой стеклянной банке с кипящей и плюющей на доски жидкостью, пенистой и ржавой.

Запах металла, мокрых спецовок, запах вот этой самой кипящей жидкости пробудили во мне сладостные чувства ушедшей молодости, отвязной и лихой монтажной удали парня рабочей окраины. Вот и сам я уже среди этих людей сижу в ожидании преющего под самодельным кипятильником чифира, густого и такого терпкого, что язык вяжет узлом. Ах, молодость, молодость!

Ничего более банального и грустного не скажешь...

– Бригадир где? – не здороваясь, спрашивает мой провожающий.

– Где бригадир? Где? – шутовски заюлил в ногах у Гришанина маленький человечек, лысенький, со сморщенным лицом стареющего скопца.

– Чего орёшь, Жаля?

Из-за железного шкафа с инструментом, там, где сушилась рабочая одежда над электрическим «козлом», увитым красным огненным шнуром, распрямился крепкий мужик с обожжённым и обветренным лицом, какое обычно бывает у рыбаков и охотников.

– А, начальство прибыло! – спокойно подошёл он к нам, протягивая руку Гришанину, потом мне. Пожатие его было болезненным, словно в ладонь вцепились большие пассатижи. – А это, видать, наш прораб? – отпустив руку, показал он на меня.

– На одного рАба два прораба! – кто-то без удовольствия произнёс за столом.

– Принимай, Поляпа, пейдагога! – коверкая слово, довольно хмыкнул мой провожающий, передавая меня бригадиру. – Почему не работаем? Где Чекаля? Я ему электроды привёз. Финские! – уточнил Гришанин. – Пусть кто-нибудь разгрузит багажник!

Было видно, что здесь у Михаила Николаевича сложились с монтажниками полуприяТЕЛЬСКИЕ отношения.

– Митара, – обратился Поляпа-бригадир к одному монтажнику, который уже дул в свою просмолённую, в чёрных подтёках кружку, – кончай чифирить! Иди машину разгрузи!

Позже я привык, что на участке почти у каждого монтажника была своя кличка по причине краткости и «шаговой доступности». «Митара» – в пере-

воде на обиденный язык – «гитара», человек с музыкальным прошлым, бывший металлист-рокер; «Жаля» – жалкий, убогий, «Поляпа» – белорус польского происхождения, «Чекаля» – от слова «ЧК», отставной милиционер, выгнанный из органов за драку со старшим по званию. И так далее...

Да и к начальству клички прилипали одна и навсегда. Вот и Гришанина здесь называли Наливайко. Кличка хорошая, в самую точку. Наливай и пей! В чём я тут же убедился.

Дверь широко распахнулась, и в теплушку ввалился некто в подшлемнике и брезентовой робе. Конечно, это был тот самый сварщик Чекаля. Не обращая никакого внимания на меня и начальника участка, Чекаля спокойно выпростал из карманов две бутылки водки и с таким усердием поставил их на стол, что звякнула посуда.

– Во-та! На весёлое дело сходил!

Я был неприятно удивлён тем, с какой наглостью действовал Чекаля, но ещё больше удивился, когда Гришанин, вместо того, чтобы остановить наглеца, спокойно сказал:

– Ты как Макар Нагульнов в «Поднятой целине» Шолохова, только нагана не хватает.

– А у меня гранаты! – широким жестом показал Чекаля на бутылки. – Противотанковые!

Вот уже забулькало по стаканам. Вот уже по столу прошло весёлое оживление. Вот уже два стакана в руках Поляпы протянуты нам. Один тут же оказался в моей руке.

– Новенький прораб не заложит? – указал Поляпа глазами на меня.

– А, закладывать некому! – Стряхнув невидимых тараканов с руки, ловко подхватил щерблённый стакан мой начальник. – Большой бугор в яме. Он как приватизировал нашу шарашку, так вторую неделю не просыхает – лагерная привычка!

Я от изумления так и остался стоять столбом со своим стаканом, не зная, что делать. Показать себя непьющим? Не поверят. Ещё смеяться будут. Выпить? Выпил бы, да ведь на работе я...

– Пей, прораб! С почином тебя! – Поляпа прислонил стакан к моему. – А то не приживёшься!

Гришанин самодовольно взглянул на меня. Мол, не бойсь, смотри, как у нас, монтажников, новеньких встречают! Пей, чего ты! Со мной можно.

Зная убойную силу рабочей коллективной насмешки, я, подражая своему начальнику, резко опрокинул в себя стакан.

Мне показалось, что весь стол облегчённо выдохнул: «Ухх...» Задвигались, заворочались, заговорили все разом, перекидываясь короткими матерками:

– Наш человек, гребит, разгребит! Монтажник! Нам что водка, что пулемёт, лишь бы с ног сшибало!

– Васильч, – пододвинул мне самодельный железный стул Поляпа, – ты не думай, что мы здесь алкоголики. (Бригадир уже знал, как меня зовут.) Вчера получка была. Первая за полгода. Расплюев (тот, кто купил «монтажку», носил ласковую, любовную фамилию Расцелуев.) распорядился долги выплатить. Лучше вор в законе, чем коммуняки! У воров хоть понятие есть...

Ещё не знал, не знал Поляпа-бригадир, чем обернётся жизнь «по понятиям» для всей страны! Не знал и я, шумно голосовавший за предателей русского народа.

Водка на меня, уже отвыкшего от частого употребления алкоголя, подействовала оглушительно. Такими дозами я со времён своей хлопотной молодости ещё не пил. Стало валить куда-то в сторону, вбок. Пространство монтажной бытовки загустело ватным одеялом...

– Э! Прораб! – потрогал меня за рукав Гришанин. – Иди домой, монтажник! Его слова меня так разозлили и обидели, что я, не прощаясь, хлопнул дверью и, чавкая ногами в наплывах бетона, ушёл с объекта.

Другой день для меня уже был полностью рабочим, но начинался трагично.

– Гришанин, Наливайко наш разбился, – ошеломил меня ещё по дороге на объект бригадир. – С десятой отметки сорвался. Полез по стремянке сварной стык посмотреть и сорвался. Я ему говорил: «Не лезь!» Полез, а сам уже хороший был... На бетон упал. Мы его – поднимать, а он не дышит. Жалко... Мужик хороший был. Наш монтажник!

Эта весть меня вогнала в панику. ЧП на объекте! Несчастный случай со смертельным исходом! И в мой первый день на работе!

В бытовке рабочие уже совещались, по сколько скидываться на похороны своего начальника. Наверное, он действительно был свой человек среди рабочего класса. Уж очень монтажники горевали и никак не хотели приступать к работе. Надо было вести монтаж воздухопроводов, а они всё качали головами и вздыхали.

Мне ничего не оставалось делать, как вместе с бригадиром лезть на отметку, определяя место срыва опытного инженера с высоты, и заодно посмотреть объём предстоящих работ.

Каково же было наше с бригадиром удивление, когда мы увидели в бытовке, в окружении шумной компании рабочих начальника участка живого и невредимого!..

– Зуф фолит... – как ни в чём не бывало пожаловался Гришанин бригадиру, придерживая щёку.

– Зуб? – весело хмыкнул Поляпа. – Это мы враз!

Он, перегнувшись, достал из самодельного сейфа бутылку и блестящие, из нержавейки пассатижи.

– На, прополоскай рот, чтоб заражения не было! Хотя пассатижи из нержавейки, но бережёного Бог бережёт! – Поляпа плеснул немного водки в стакан. – Полощи!

Гришанин осторожно, пристанывая, вылил содержимое в рот и стал шумно полоскать.

Я, обрадованный таким положением вещей, с интересом стал наблюдать за дальнейшими действиями бригадира. Гришанин, косо поглядывая на меня, шумно выпустил на пол розоватую от крови струю.

– Так! Открой рот и не дёргайся!

Поляпа внимательно оглядел ушибленную челюсть своего старшего прораба, засунул туда стальной клюв пассатижей и резко дёрнул на себя. Гришанин громко ойкнул, схватился за челюсть, но через минуту, повеселев, приказал налить ещё водки.

– Теперь мо-жно! – добродушно протянул Поляпа, пряча пассатижи снова в свой сейф. Налил начальнику полный стакан и засмеялся: – А мы тебя уже похоронить собрались. Вон ребята деньгами скинулись.

– Не дождётесь! – Гришанин медленно выцедил весь стакан до дна и поставил его на стол. – Работай, прораб! – положил ладонь мне на плечо. – А я спать пойду. Вчера, как со «Скорой помощи» соскакивал на ходу, чуть челюсть не сломал. Всю ночь мучился. Действуй! – И весело оглядел бытовку: – Пойду я!

– Иди, иди! – проводил его Поляпа-бригадир. – Мы с новым прорабом сами управимся.

Так несуразно и весело было начало моей работы.

Позже, когда Расцелуев-Расплюев утвердился окончательно в своей должности генерального директора, всё повернулось другой стороной. Стало всё резче и круче. Начиналась новая, капиталистическая жизнь.



**Алексей
БОРЫЧЕВ**

ВОТ И КОНЧИЛАСЬ ВЕЧНОСТЬ...

ЗЕМЛЯ УЛЫБНУЛАСЬ ВЕСНОЙ...

Земля улыбнулась весной,
И звонким берёзовым смехом
Летело в бессмертие эхо
Твоё, отражённое мной.

Ты быть не могла, но была,
Покуда вне времени всё же
Ты мне бесконечно дороже
Любого добра или зла.

Земля улыбнулась весной,
Задористой, розовокрылой,
И терем покоя закрыла
В глуши ручейковой, лесной.

В жужжании солнечных дней
Так много простора для звука,
Что кажется, будто разлука
Оглохла и стала глупей.

Земля улыбнулась весной
Неярко, стыдливо и сонно,
Но камень светился от солнца,
Зажжённого яркой сосной.

Бежали пылавшие дни
В прохладные белые ночи –
От тока весны обесточить
Себя, отдышаться в тени.

-
- Алексей Леонтьевич Борычев родился в 1973 году в Москве. Автор восьми поэтических книг. Публиковался в журналах «Наш современник», «Юность», «Кольцо А», «Нева», «Нива», «Аврора», «Сура», «Южная звезда», «Аргамак», «Волга–XXI век» и др. Живёт в Москве.

Земля улыбнулась весной,
Смотря на печальные звёзды,
Которые рано ли, поздно
Тебя обвенчают со мной!

И тени ушедших времён,
Слетая как стаи с галактик,
К весне прикоснутся галантно
Мерцанием звёздных имён.

Земля улыбнулась весной,
И нам бы с тобой засмеяться.
Но много прошло –
лет пятнадцать –
С тех пор, как ты стала звездой...

КАК ТЯГОСТНЫ ПРОСТРАНСТВА ЗЛЫЕ ПУТЫ...

Как тягостны пространства злые пути,
Как тяжело их полон преодолеть!
Смогу ли я, причину перепутав
Со следствием,
Покинуть эту клеть?

Смогу ли я в ромашковом просторе
Грядущее украдкой подсмотреть,
В истории увидеть сто историй,
Ну, или же хотя бы только треть?

Да, помню: будто ветра дуновенье,
Однажды я почувствовал тепло,
Как будто бы хмельное вдохновенье
По венам вместо крови потекло.

И в поле расцветавшие ромашки
Мерцали бледно-розовым огнём...
Но вышла у меня одна промашка:
Подумал я о чём-то об ином,

И мир, в котором даже время зримо
И где настолько всё упрощено,
Что прошлое, как мысли, повторимо
И будущее знать разрешено,

Обрушился осколками печали
На душу истомлённую мою.
Наития навеки замолчали,
Доверив бытие небытию.

ЗЕМНОЙ МИР

Никто с этим миром не спорит.
Законы его нележки.
И счастье сменяется горем,
Прекрасным мечтам вопреки.

Сплетаются руки и души
В едином порыве, но вновь
Судьба ликование рушит
И молвит: «К печали готовь

Согретое юное сердце
Короткой любовью!» И вот –
Гармоний сбиваются герцы,
Темнеет грядущего свод...

Откроем забытые книги,
Сдувая священную пыль:
Прозрений спасительных миги
Изменят ли скорбную быль?

Конечно же, нет. И, как прежде,
Скорбей расцветают цветы
На поле истлевшей надежды,
Туманом грехов повиты.

Где чуда искать? В небесах ли?
За жизненным кругом невзгод?
Терпение, силы иссякли.
За годом проносится год...

И снова по вечной спирали
Кружатся планеты судеб
В пространстве, где счастье украли
Причины-разбойники, где

И жизнь-то – всего лишь свобода
Спокойного хода времён.
Сознания напрасна работа,
Чтоб ход был ему подчинён...

И всё же в каком-нибудь мае,
Забыв обо всём навсегда,
Мы с лёгкостью мир понимаем,
Но поздно...
Умчались года...

ВОТ И КОНЧИЛАСЬ ВЕЧНОСТЬ...

Расцветает рассвет чайной розой на бархате тьмы,
И кинжал метеора просторы небес рассекает...
Вот и кончилась вечность так просто и быстро, что мы
Не погибли от счастья, которым, как будто токаем

Напитали сердца, разукрасив стареющий мир,
Опьянив непокорный, во власти безмерный рассудок.
Но закончилась вечность... Прикрыли небесный клавиш.
Тишина захлебнулась от страсти пустых пересудов.

Мы с тобою теперь – два далёкие грустные «я»...
Под рассветным крылом не спасти «мы с тобою навеки».
Не нужна нам обоим блёкляя тень бытия,
Потому что над медленным Стиксом нам солнце не светит.

Хоть не умерли мы от волнения наших сердец,
Но вкусили запретного, страстного, сладкого зелья!
Впереди – немота, нетерпение, злоба... конец.
Позади – ожидание, праздник, объятья, веселье.

ВСПОМИНАЕТСЯ НОЯБРЬ...

Вспоминается ноябрь.
Солнце через сетку веток.
Ты – моя, навек моя!
Первый снег шершав и редок.

Блики, лёд, мороз, узор...
Струи тёплого дыханья.
И твой смех, и твой задор.
Духа нашего слиянье.

РассыпАло серебро
Небо льдистое сквозь тучи.
И кругом – одно Добро!
Иней блёсткий и летучий!

Целовалась... будто лёд
Первый, ломкий и слезливый
Обжигал меня! И вот –
Нет тебя...
Неторопливо
Очерствляется душа.
Краски мира угасают.
Как была ты хороша!
Кто ещё об этом знает?



**Максим
ЖИГАРОВ**

ВОЛШЕБНИК ДОЖДЬ

По улице идёт волшебник Дождь,
Надвинувший на брови капюшон.
Не молод и не стар, не толст, но и не тощ,
Серьёзен и немножечко смешон.

Мелькают на бульваре сотни лиц,
И зонтики – как лапки лягушат.
Внезапный ураган прогнал с дороги птиц,
Советую дождю убыстрить шаг.

Проглатывает капли резеда,
Ведь не было дождя уже семь дён.
На помощь мы зовём его всегда,
Прохлады от волшебника мы ждём.

Однако он на финишной прямой
Всегда любого спринтера быстрее.
По городу к тебе спешит волшебник мой,
Заглядывая в окна галерей.

Тому, кто ест без масла белый рис,
Тому, кто одинок или устал,
Поможет летний Дождь – как рыба серебрист
Дождя неунывающий кристалл.

Пройдя по узким улицам, к утру
Исчезнет он, как раньше, без следа.
Останутся стоять, качаясь на ветру,
Боярышник, левкой и резеда.

● Максим Анатольевич Жигаров родился и живёт в Саратове. Окончил СГУ имени Н.Г. Чернышевского (исторический факультет). Неоднократно публиковался в саратовском литературном альманахе «Нетерпеливые строки», в литературном журнале «Возрождение».

АРАБЕЛЛА

Ты смеялась, ты не робела.
Мы с тобою дружили крепко.
Неприступная Арабелла –
Бенвенуто Челлини лепка.

Провожая закат минувший,
Подчиняясь порыву страсти,
И, приветливо улыбнувшись,
Говорю Арабелле: «Здрасьте!»

Ты глядела, глаза не пряча,
Поднимала свои ресницы.
В синем море – твоя удача,
Только море тебе не снится.

Назову ли тебя женою,
Арабелла, дитя пирата?
Всё равно за твоей спиною –
Крылья парусного фрегата.

Остров есть в океане-море,
Этот остров – необитаем.
Уплывём мы туда и вскоре
Землю грешную потеряем.

Проживём мы сто лет, не меньше,
Где нормальный и тёплый климат...
Я ищу среди тысяч женщин
Арабеллы глаза любимой.

ВЕТРА

Днём южный ветер шумит,
А ночью – северный ветер.
Растаяла ты в паровозном густом дыму.
Скажи мне, ну почему
Я раньше тебя не встретил?
Скажи, молодая красавица, почему?

Дождались с тобою мы
Весенней поры лиловой,
По синему небу летит паровозный пар.
Хлынет толпа на перрон,
И, если бы встретились снова,
Мы были бы самой красивой из этих пар.

Оденет в тумане ночь зодиакальный пояс,
Рассыплет чёрные волосы по плечам...
Глядела с небес луна,
А звёзды садились в поезд,
Когда я тебя в этом городе повстречал.



**Кселена
ЛИТВИНОВА**

СТАРЫЙ ХРАМ

МОЛИТВА

«Только живи!» Мысли страхами полнятся...
«Господи! Боже! Спаси! Сохрани!»
Ночи украдены чёрной бессонницей,
Чёрными снами украдены сны.

В книге меняет года на мгновения
В белом халате врача прокурор:
Жизнь – это, верно, почти преступление,
Страшный диагноз – почти приговор.

Сорокоустом поёт Златоглавая,
Следом, чуть слышно, молитву шепчу...
Снова, и снова, и снова за здоровье
Я зажигаю у ликов свечу.

Крест сотворив, задрожит неприкаянно
И затаится на сердце рука...
Верю, и верю, и верю отчаянно,
Пусть даже если надежда хрупка!

«Господи, сделай беду исцелимою!
Что в моих силах – сделаю и..
Выдержу, выстою, выпрошу, вымолю..
Только живи! Слышишь? Только живи!»

-
- Елена Евгеньевна Литвинова (творческий псевдоним – Кселена Литвинова) родилась в 1976 году в г. Нестеров. Окончила Саратовский государственный медицинский университет; живёт и работает в г. Саратове. Пишет стихи, тексты песен и сказки. Окончила художественную школу г. Саратова. Публикации в литературных журналах и альманахах: «Волга–XXI века», «Смена», «Наш современник», «Невский альманах», «Эрфольг», «Южная звезда», «Литературный меридиан», «Дальний Восток», «Земляки», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Зов» (Венгрия), «Венский литератор» (Австрия). В апреле 2013 года стала победителем литературного конкурса, организованного Интернет-журналом «Эрфольг». Автор книг «Отражение снов» (г. Будапешт, Венгрия, издательство АМОН, 2014 г.), «Я пришлю тебе солнце» (г. Саратов, издательство «Десятая муза», 2015 г.). Готовится к печати в 2019 году книга «Сказочные истории на даче» (г. Саратов, издательство «Десятая муза»). Дипломант конкурса «Волжская волна» (г. Саратов, 2015 г.).

Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ...

Я надеюсь, что ты меня слышишь,
Мой родной, дорогой человек...
Пусть ответом твоим к нам на крышу
С неба белый опустится снег.

Пусть на доме девятиэтажном
Он укроет полуночный мрак...
«Выпал снег!» – кто-то поутру скажет.
Я скажу: «Это ты подал знак!»

Жизнь отмерена каждому свыше:
Смерть – не только удел стариков...
Я надеюсь, что ты меня слышишь
За стеною глухих облаков.

СТАРЫЙ ХРАМ

Трепещут в тёмном небе зеркала –
Хрустальной бесконечности осколки...
Во власти снов дневные птицы смолкли,
Лишь ввысь глядят усталым взглядом долгим
Заброшенного храма купола.

Он тих и одинок в глуши цветов,
Посредник человека в слове с Богом.
Угрюмый великан в молчанье строгом,
Ты, верно, рассказать бы смог о многом
Тому, кто сердцем выслушать готов.

Растрескавшийся свод его хранит
Былую роспись – выцветшие лики,
И позолоты солнечные блики,
И звон колоколов торжеств великих,
И шёпот незатейливых молитв...

Днесь ящерицам в радость и ужам
Погреться по утрам на старых плитах
Да ветру виться в витражах разбитых...
И ждёт, как прежде, старый храм забытый
Покинувших деревню прихожан.



Артур
КТЕЯНЦ

Окончание.
Начало в №№ 9–10 2018

ТЫ НИКОГДА НЕ УМРЁШЬ

Повесть

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

У монахов нет своего имущества. Ещё его нет у отшельников и безработных литераторов вроде меня. Прожил полжизни (если верить демографической статистике) и с удивлением обнаружил, что ничего не нажил.

Летний домик Давида практически пуст, не считая нескольких полок с книгами и элементарных предметов быта.

Туалет на улице. Зимой здесь холодно, летом жарко.

Пожалуй, это идеальный вариант.

Одна только мысль о комфорте вызывает отвращение. Может быть, «пчелиный минимализм» помогает не так остро чувствовать себя бессрочным гостем.

Дом этот терпит моё присутствие уже семь месяцев и тринадцать дней.

Пишу несколько рецензий в месяц.

Валерий Карлович – так зовут моего психиатра – советует больше трудиться. Вообще, Карлович много чего советует – работа у него такая.

Не вижу смысла изучать чужие рукописи до потери пульса, денег от трёх рецензий хватает на месяц. Только вот как объяснить это Карловичу? Заранее предвижу такой разговор:

Он: Работай больше, ставь краткосрочные цели, становись сильнее...

Я: Зачем?

Он: Так будет легче...

Я: Не убиваю больше, чем могу съесть.

Он: Эта глупая фраза существовала до изобретения холодильника...

Я: Простите...

И далее в этом духе. В его светлой голове закрутятся тревожные опасения по поводу «потери воли» у пациента и прочие профессиональные страхи. Чего доброго, назначит антидепрессанты или ещё какую-нибудь дрянь.

Давида вижу каждый день. Расстояние между нашими домами не больше десяти метров. Он почему-то решил, что мне нельзя оставаться одному. Теперь мы вместе выбираем баранину, жарим мясо, раздражаем Антона советами по приготовлению коктейлей, раздражаем Леру периодическими борцовскими поединками (от чего страдает газон и цветочные клумбы).

Только в «Подвал» – так называется кофейня, где собираются местные писатели – Давид не ходит со мной. Большинство из них не печатаются, а это, как известно, хорошая причина выпить... Свободный микрофон один раз в неделю. Есть серьёзные поэты. Мощные писатели.

На тропинке появился Давид. Танцующей походкой он передвигается по брусчатке. В руках кастрюля. Лицо беззаботно-счастливое. Губы скачут по лицу, видно, что он поёт что-то весьма энергичное. Корявые танцевальные движения весьма сдержанны – опасается кастрюлю уронить.

Дверь с размахом отлетает в сторону, Дивуару чудом удаётся спастись, ещё немного – и его пришлось бы отскрести шпателем от стены.

– На колени, простолоудин, опусти голову. Ты не можешь смотреть на это чудо.

– Не знаю, что это, но если сам готовил – лучше отдай коту.

– Да как ты смеешь?!

Он открывает крышку, пахнет потрясающе...

– Икра?

– Да.

– На костре?

– Да.

– Дай поцелую.

– Убери руки. Мне нужно сказать несколько слов, прежде чем это произведение искусства исчезнет в недрах твоего пищевода и уничтожится кишечником.

Давид осторожно поставил кастрюлю на столик и начал презентацию:

– Всё дело в идеальной пропорции. Баклажаны царствуют – но умеренно. Это овощная демократия, мой бездарный писатель. Помидоры знают своё место. Болгарский перец скромно оттеняет старших братьев. «Сравню ли с летним днём твои черты, но ты милей, умеренней и краше», – сказал Шекспир о моей икре.

Запах печёных баклажанов поплыл по комнате. Запах детства и семейных праздников.

Достаю хлеб и острый перец.

Давид ест с закрытыми глазами.

Доктор говорит, что нужно обрести лёгкость. Похудеть душой. Больше шутить. Каждый вечер планировать новый день. Есть больше овощей и встречаться с женщинами. Проплывать через день в бассейне не менее километра. Смотреть низкоинтеллектуальные комедии и ни в коем случае не думать о прошлом.

Из всего перечисленного хочется только плавать. Долго. Изредка поворачивая голову, чтобы глотнуть воздуха.

О какой лёгкости идёт речь, если как минимум несколько раз в неделю мне снится Мила. Перед тем как попасть в мой сон, она надевает чёрное платье. Видимо, там, на небе, есть определённый дресс-код.

Во сне она всегда молчит. Я тоже. Хорошо с ней молчать. Держу её за руку. У неё тёплые руки. Мы постоянно идём куда-то. То по лесной тропе, то вдоль реки.

Карлович говорит, что это нормально.

Сегодня ночью она внесла разнообразие в наши немые прогулки, приснилась в жанре сюрреалистического ужаса.

Сны эти медленно убивают. В момент пробуждения ещё несколько секунд живёшь картинками сновидений. Даже чувствуешь тепло от прикосновения. Но тут же реальность огромным булыжником падает на голову. Приходится снова и снова терять Милу.

Из этого лабиринта нет выхода, что бы там ни говорил маниакально-спокойный Карлович.

Внезапная тошнота заставила отложить гигантский бутерброд с икрой в сторону.

– Обижусь, – говорит Давид.

– Вечером съем.

Давид закончил трапезу, включил чайник.

– Тебе во сколько к доктору?

– В семь.

– Возьми машину.

– Нет, я пешком.

– Пойду, дети, небось, Лере весь мозг вынесли...

– Давай. Спасибо, брат.

– Поешь обязательно. Там частичка моей души...

Давид наградил Дивуара дружеским пинком и ушёл исполнять обязанности отца, мужа и личного тренера Зураба – старшего сына.

2

Этот август неподражаем. В течение дня люди страдают от невероятной жары, ночи стоят неприятно-тёплые, обмелевшие реки грязными водами многогазового кипячения текут по инерции на юг.

Сегодня дует лёгкий ветерок, как бы пытаюсь оправдать природу в целом. «Лето бритых висков и промокших спин», – приходит в голову строка, но нет сил дальше развивать её.

Под ногами мелькает брусчатка, выложенная квадратами в шахматном порядке из красных и жёлтых кирпичей. Пытаюсь побороть в себе желание наступать исключительно на жёлтые кирпичи. Идиотизм какой-то.

Мороженое, купленное в ларьке, не имеет вкуса. Псевдомороженое вызывает жажду, но единственный магазин на моём пути имеет плохую репутацию. Местное население называет его коротким прилагательным: «конченный».

Так и говорят, отправляясь за покупками: «Я иду в «конченный» за хлебом или молоком». Нет такого жителя в нашем районе, который хотя бы однажды не купил здесь просроченный товар.

Клиника, где работает Карлович, показывается из-за очередного поворота. Газоны безупречно подстрижены, лавочки блестят. Что за феи следят здесь за порядком?

Несколько медсестёр что-то бурно обсуждают у центрального входа. Проталкиваюсь сквозь стену халатов, духов и обрывков сплетен. Скорее бы закончилась эта тягостная обязанность ходить к психиатру. Нужно выдержать ещё три месяца.

Как я и предполагал, в кабинете Карловича пахнет мятой и скукой.

– Добрый вечер, – говорю и плюхаюсь в старое больничное кресло.

– С сахаром? – спрашивает он, указывая на чашку.

– Нет.

– Ну и зря, – говорит, насыпая в одну из чашек пять полных ложек.

– В детстве лишали конфет, доктор?

– Да. Мы бедно жили.

Сложно с ним. Приходится каждое слово взвешивать. Но одно его существование помогает мне чувствовать себя частью адекватного мира.

Карлович непредсказуем. Например, вместо очередного сеанса психотерапии он может потащить пациента в боулинг или на футбол. Есть вещи, и вовсе выходящие за грань врачебного поведения. Иногда мы с ним просто пьём вино и смотрим какой-нибудь фильм, вместо совместного путешествия в недра подсознания.

Если об этом станет известно начальству, Карловича уволят. Но доктор не болтлив, а я своих не сдаю.

Наша первая встреча была не из приятных, в качестве доказательства привожу вот этот хорошо запомнившийся диалог двухмесячной давности:

– По ночам спите?

– Иногда.

– Бывает так, что вскакиваете с кровати с острым чувством беспокойства?

– Да, когда много жидкости на ночь выпью.

– Кошмары снятся?

– Периодически. Недавно снилось, что работаю психиатром.

Карлович посмотрел на меня так, как боксёр-профессионал смотрит на молодого выскочку, два месяца назад пришедшего на секцию бокса.

– Знаете что, умник, в нескольких шагах от этого кабинета есть железная дверь, которая может закрыться изнутри, стоит мне дать знак.

– Кому дать знак?

– Выпускникам-троечникам местного медицинского училища. Они уже прячут в коридорах, окрылённые магией казённого спирта.

– Понял. Не продолжайте.

– Больше не смешно?

– Нет.

– Несколько вопросов, но думать можно не более трёх секунд. Готовы?

– Угу.

– Поехали. Любимый цвет?

– Бирюзовый.

– Блюдо?

– Жареные баклажаны.

– Город?

– Рим.

– Что сделаете, если вас ударят?

– Буду драться.

- Порно смотрите?
 - Нет.
 - Запоры часто бывают?
 - Нет, а у вас?
 - Я предупреждал...
 - Простите, больше не буду.
 - Что вы думаете о смерти?
 - Ничего хорошего.
 - Вам приходилось убивать человека?
 - А вы умеете хранить секреты?
- На какие-то секунды Карлович насторожился, но тут же пришёл в себя.
- Так, с меня хватит, зову санитаров...
 - Нет, нет, нет, доктор, не удержался просто, это точно было в последний раз.
 - От вас алкоголем пахнет.
 - Это вчерашнее, – соврал я.
 - Увидимся через неделю. Предупреждаю: больше в таком хорошем настроении ко мне не приходите. С участковым терапевтом свои шуточки будете шутить. Понятно?
 - Более чем.
-
- Это перечная мята. Такой чай мы ещё не заваривали.
 - А что было до этого?
 - Мелисса.
- Карлович бросил в мою чашку кусочек лайма.
- Зелёный чай с мятой и лаймом – приятный на вкус, но немного вязкий.
- Давай так, Матфей, если есть желание – поговорим, если нет, – он открыл шкаф, и оттуда выкатился оранжевый баскетбольный мяч, – могу надрать тебя в баскетбол один на один.
 - На что играем?
 - На искренность. Если выиграю я – выкладываешь всю правду.
 - Я тебе не вру.
 - Да, но есть ощущение, что последние две недели что-то тебя беспокоит сверх меры.
 - А если я выиграю?
 - Можешь неделю не ходить ко мне, но я отмечу, что ты был.
- Одним глотком выпиваю чай. Карлович делает то же.

Баскетбольная площадка на территории больницы появилась неслучайно. Карлович (в прошлом неплохой баскетболист) наплёл начальству что-то о пользе спорта в реабилитации пациентов. Была выделена кругленькая сумма на покрытие, пластиковые щиты и несколько мячей. Понятно, что, кроме Карловича, площадка никому не нужна, но что поделаешь – ведущий специалист.

Злейший враг Карловича – нарколог Александр Кравченко – вечно подшучивал над своим коллегой, когда тот в обеденный перерыв бросал мяч в кольцо. Карловича это достало, и, дождавшись планёрки, в присутствии всего коллектива он бросил Александру вызов.

Надо сказать, что Кравченко язвил неслучайно. Долгое время он довольно прилично играл на любительском уровне, потом порвал крестообразную связку и со спортом завязал. Бывшего спортсмена нервировал бодрый Карлович, скачущий по площадке.

Учитывая болезнь соперника, Карлович предложил сражаться следующим образом: каждый бросает десять штрафных, десять трёхочковых и десять средних бросков. Очень просто: кто больше забил, тот и выиграл.

Александр в случае своего выигрыша хотел, чтобы соперник неделю мыл его машину с помощью ведра и тряпки, независимо от степени загрязнения.

Карлович же пожелал видеть поверженного соперника в ярком женском халате на протяжении целой недели.

Пожали руки, вышли на площадку.

Встреча была нервной, но недолгой.

Кравченко сдержал слово. С понедельника по пятницу он честно проходил в обтягивающем женском халате.

Сидим на асфальте, прислонившись к стене. Кирпичная кладка делится теплом, накопленным за день, с нашими промокшими спинами. 21–18 в пользу Карловича. Всё решил бросок с дальней дистанции. Жаль, перспектива недельного отпуска бесславно утрачена.

Какое-то время молчим, пытаемся восстановить дыхание. После чего Карлович напоминает о своей победе.

– Слушаю, – говорит он, всматриваясь в окна универсального блока больницы.

– Кошмары стали сниться.

– Если расскажешь, попробуем разобраться...

– Сегодня ночью впервые почувствовал физическую боль во сне.

– Давай с самого начала и не упускай деталей.

– Я пришёл в храм на вечернюю службу. Прихожан было человек десять максимум. В полумраке различил знакомые силуэты, кого-то узнавал по одежде... Ну знаешь, в храм одни и те же люди ходят и становятся на одних и тех же местах. Постепенно начали гаснуть свечи. Вокруг меня образовалась непроглядная ночь. Плиточный пол под ногами раскрошился в мелкий песок и затянул по колено. Не знаю, сколько времени я простоял неподвижно.

– Страх? – спросил Карлович. – Было страшно?

– Нет, было спокойно...

– Интересно.

– Страх появился чуть позже. Точнее, сначала появилось небольшое свечение в том углу храма, где ставят свечи «за упокой». Свечение это постепенно начало обретать форму, и уже очень скоро можно было различить маленькую женскую фигуру в монашеской одежде. Медово-горчичное сияние. Нет чётких очертаний.

Я попытался двинуться с места, но оказалось, что не только ноги не слушаются, ещё и руки налились свинцовой тяжестью. Будто к каждой руке привязана гирия.

Она подошла вплотную. Я чувствовал... сложно сказать... это был одновременно запах горных трав и дорогого ладана, примерно такого, какой Алексей получил в подарок от Владыки.

– Видел лицо?

– Нет. Она была в капюшоне, голова опущена... Пожалуйста, не перебивай, иначе не смогу рассказать...

Карлович кивнул, отсел немного дальше.

– Сначала она провела ладонью по моему лицу. Руки тёплые, мягкие. Стало нестерпимо жарко. Ароматы трав и ладана уступили место запаху парафина.

Свечение, исходившее от девушки, позволило мне разглядеть своё отражение в стекле, закрывающем икону пророка Илии.

Это было по-настоящему страшно: вроде смотришь в отражение, а кажется, что душа покинула тело и наблюдает за ним со стороны.

Девушка действовала быстро. Движения чёткие, как у художника, который рисует песком. Человек в отражении иконы стал быстро меняться. Подушечками пальцев девушка разгладила нос и размазала губы по всему лицу. Кистевым движением стесала подбородок.

За какие-то секунду на лице моём остались одни только глаза. Попытался сжать кулак, но пальцы смялись в бесформенную массу.

Только тогда стало понятно, что всё моё тело превратилось в сплошной кусок воска.

Эту боль не с чем сравнить. Однажды вывихнул колено на борбе, чуть сознание не потерял – вот примерно такие ощущения...

Не имея возможности кричать физически, я кричал душой...

Плавной игрой пальцев она сломала ключицы и сложила мои плечи, как складывают пиджак. Затем обняла меня, и грудная клетка превратилась в восковой столб.

Поглаживающими движениями убрала сломанные рёбра.

Человек в отражении иконы перестал быть мной, но душа моя всё ещё находилась в этом выточенном восковом столбе.

Девушка на какие-то секунды остановилась. Затем убрала волосы с моего лба, сделав из них что-то похожее на фитиль.

В ладони у неё появился огонёк, и этим огоньком она подожгла меня, за здоровье или за упокой, не знаю...

Я смотрел, как горит человек-свеча в отражении иконы до тех пор, пока расплавленный воск не залил глаза.

– Мне нужно подумать, – говорит доктор, подкатывая мяч к моим ногам. – Тренируйся – баскетболист ты никакой. На сегодня хватит. И ещё: хотел тебе кое-что предложить. Как бы так сказать... в общем, общайся с ней. Только пойми меня правильно. Ты же верующий человек, знаешь, что она всё слышит? Перед сном, например, можешь рассказать ей, как прошёл день, какие-то мелочи, детали. Или в течение дня найди несколько секунд, поделись с ней радостью, волнением – неважно. Вытеснить её из твоего сознания невозможно, поэтому нужно настроить диалог. Ты говори, и она обязательно ответит.

– Это что – новая методика?

– Нет, в одной книге прочитал. Там герой общается с умершей женой.

– Он сумасшедший?

– Нет. Святой.

К вечеру ветер осмелел настолько, что принялся раскачивать тополя. Огромные деревья, отвыкшие за лето от такой наглости, удивлённо покачивались, скрипели кронами, несли лиственные потери.

Этим добрым ветром и занесло меня на территорию храмового комплекса. Странно: собирался в бар, задумался обо всём понемногу – и очнулся уже у ворот храма. Двери заперты. Фонари несут свой священный караул. Территория ухожена идеально. Нигде так чётко не стригут газоны, как здесь.

В окнах отца Алексия горит свет. Поворачиваюсь спиной, чтобы не смущать батюшку – вдруг выглянет, а я, как сумасшедший, посреди ночи сижу на лавочке и смотрю в окна.

Спокойно здесь. Есть странное ощущение, что, если прямо сейчас начнётся Страшный суд, мне нечего бояться. Отсюда нет прямого сообщения в ад.

Усталость прожитого дня плюс баскетбольный матч дают о себе знать. Ложусь на лавочку, смотрю на звёздное небо. Охранник в сторожевом домишке, должно быть, уже заметил меня. Сейчас выйдет и вежливо попросит уйти. Ничего не поделаешь, в нашей стране люди, лежащие на лавочках, имеют плохую репутацию.

В последнее время бываю здесь часто. В этих стенах есть ощущение Родины.

Бывают дни, когда, находясь здесь, на какие-то секунды становишься другим. Перестаёшь бояться смерти. Как будто Господь показывает тебе, что есть другая жизнь, есть настоящая свобода, нужны только твоё согласие и стремление. Но длится это недолго.

Налетают ветра искушений, и ты закутываешься в покрывало уныния, ропота, мелких человеческих слабостей. Становишься малодушным, нетерпеливым, готов придушить литературного критика, разгромившего твой роман, или с трудом сдерживаешь в себе желание нелюбезно высказаться в адрес Марины – сестры Леры. Она сейчас работает управляющей в баре «Мёд».

Давид скрипя зубами принял Марину на работу. Она уникальна. На планете Земля только Лера может нормально с ней общаться. Марина не любит всё живое: официантов, нас с Давидом, цветы, действующее правительство, церковь и духовенство, современную литературу... Список можно продолжать бесконечно, но у неё есть железный аргумент, точнее, два аргумента – общие родители с Лерой.

Жаль, во мне нет таких резервов любви, как в моей тёте Нине.

«Ты помнишь, Мила, я рассказывал тебе о ней. Ты ещё спросила: «Не святая ли она?»

Я ответил: «Нет». Дурак. Откуда мне знать, может, и святая.

Научиться бы смотреть на мир её глазами... Мне кажется, она, тётя Нина, любит всех людей. Не сомневаюсь, она полюбила бы и Марину.

Тиская кого-нибудь из племянников, тётя Нина, буквально разрываема любовью, обретала несвойственную ей поэтичность:

«Ты мои глазки, не видевшие всей подлости этого мира. Ты мои ноздри, не успевшие вдохнуть зловонье греха. Ты мои пяточки, не ощутившие твердыню земли. Ты моё бедное дитя, обречённое расти, а значит, постепенно утрачивать ангельские качества», – произносила она.

Она даже собакам суп солила... так вкуснее, вроде бы...

Сейчас она за тысячу километров, в далёкой деревне. Над ней такое же звёздное небо, и она, никогда не читавшая Святого Писания, знает намного больше меня, изучившего Новый Завет. Душа её знает Спасителя. Сидя на своей старой веранде, она находится намного ближе к Господу, несмотря на то, что я пришёл к Нему домой.

Как бы мне хотелось, чтобы она молилась за твою душу, любимая, но она единственная святая на планете, которая не знает ни одной молитвы».

Странно, но охранника нет. Вот так бы и лежал здесь до утра.

– Подвинешься?

Голос отца Алексия прозвучал прямо над моей головой. Придаю ослабшему телу сидячее положение.

Алексей садится на лавочку.

– Почему не зашёл?

– Поздно уже для гостей.

Появился охранник. Он быстрым шагом направился в нашу сторону, но, различив в темноте фигуру священника, сбавил шаг, достал из кармана телефон, принялся водить пальцами по монитору.

– Хорошо здесь ночью. Вообще, ночью мне всегда хорошо, хотя говорят, что «утро мудренее...»

– Всё дело в Литургии, – Алексей тяжело вздохнул, – утром служится Литургия, благодать разлетается по всему миру. Поэтому люди и называют утро мудрым.

– Где-то я это слышал.

– Ты как?

– Терпимо.

– Карлович сильно достаёт?

– Сегодня обыграл меня в баскетбол один на один.

– Срочно отыграйся, не позорь мои седины, – улыбнулся Алексей.

Двери дома отца Алексия приоткрыты. Оттуда доносятся детские голоса, периодически разбавляемые голосом матушки.

– Почему не спят до сих пор?

– У них режим, к двенадцати ночи укладываются.

– А ты?

– В два... в половине третьего...

Хотел спросить, почему, но вспомнил, что у него есть собственное молитвенное правило.

– Сегодня младшая такое выдала, – засмеялся Алексей, – не каждому поэту придёт в голову. Зашла в гости бабушка, играла с ней несколько часов подряд, ну, ты знаешь, они с бабушкой лучшие друзья. Потом настало время бабушке уходить. Амелия молча смотрела, как бабушка переодевается, расчёсывает волосы, причём смотрела так, будто впервые видит её, и уже возле порога сказала: «Бабушка, подожди, я хочу тебя запомнить».

– Это действительно круто, – говорю после минутного молчания.

Охранник вышел из своего домика, медленно побрёл по периметру храма. Тусклый свет жёлтой акварелью сочится сквозь окна сторожки.

– Мешаем человеку телевизор смотреть, – тихо сказал Алексей.

– Откуда?

– Я подарил. Дети до сих пор сердятся... Недавно видел в новостях, как беженцы из Сирии прорвали полицейский кордон на границе какой-то европейской страны. Жуткая картина: люди бегут куда-то в поле... В толпе был мужчина с ребёнком на руках, девочкой примерно трёх лет. Он, как и остальные, прорвался сквозь полицейский строй, но в последний момент один из журналистов подставил ему подножку.

Мужчина упал, но ребёнка из рук не выпустил.

Журналист, подставивший подножку, направил на упавшего беженца камеру.

Надо было видеть лицо этого мужика! Перед тем как продолжить бег, он несколько секунд смотрел на журналиста. Понимаешь, такой взгляд, где нет ни злобы, ни желания врезать. Так можно смотреть либо на чудовище, либо на неразрешимую задачу.

Тогда мне показалось, что это я упал с Амелькой на руках. Понимаешь? Это по мне звонил колокол.

– Ладно, мне пора, ещё много дел, – говорю, обнимая Алексея.

– Будешь закачивать литературный туман в брюхо очередной рецензии?
– Очень поэтично... Нет, всё серьезнее: хочу съесть что-нибудь вредное для здоровья на ночь глядя, поменять туалет Дивуару и проверить шкаф на наличие Нарнии.

– Денег на такси дать?

– Нет, я пешком.

Уже у ворот возникает желание обернуться. Вижу, что отец Алексей смотрит на колокольню.

Зачем-то кричу как оголтелый:

– А как думаешь, среди людей Ирода был хотя бы один воин, который отказался убивать младенцев?

– Не знаю, но хочется верить, что был.

3

В кофейне «Подвал» вечер открытого микрофона. Это значит, что в течение нескольких часов здесь будут непрерывно читать стихи. Те немногие, кто решил наказать себя искусством в этот душный вечер, уже здесь.

Кирпичные стены по-прежнему дружат с тяжёлыми деревянными столами. Бармен круглый год недоволен жизнью. Количество гениев на квадратный метр по-прежнему велико.

Среди знакомых лиц вижу Колю Хмыза, у него сейчас период затишья – ничего не пишет.

Есть несколько художников. Здесь их не любят. Дело в том, что художники всем должны. Они заламывают бешеные цены за свои картины, естественно, никто их не покупает, но художники не отчаиваются, занимают деньги у пишущей братии и периодически пьют.

В последнее время сюда зачастил Борис Авдеев. Его бросила жена.

Это событие сломало Авдеева, и он превратился в огромного грустного призрака. Зарос бородой. Стал носить мешковатую одежду. Оставил пост главы культуры города.

Наши случайные столкновения с призраком Бори теперь не носят взрывоопасный характер. Мы перестали замечать друг друга. Желание мстить Авдееву за прошлое улетучилось само по себе. Этот великан оказался беспомощным перед одиночеством. Теперь его косматая фигура бродит по пустому дому, где каждая дверная ручка напоминает Борису о жене.

Антон рассказывал о мрачном одиночестве Бори. Предметы беспощадно мстят. Любая деталь быта считает своим долгом схватить Бориса за бороду и оттащить в недалёкое прошлое, бесконечно напоминать о старых временах.

Заходя на кухню, он старался не задерживать взгляд на огромном диване, на котором теперь царила мерзость запустения. Раньше здесь была свалка вещей. Юля снимала бельё и сваливала на диван. Боря ворчал, требовал растасовать вещи по полкам. Теперь, избавленный от свежестырянных тряпок, диван отвратительно лоснился своей бежевой кожей.

Кровать и вовсе вела себя по-хамски. Как только Юля переехала, кровать увеличилась до размеров футбольного поля. Боря физически не мог больше находиться на ней, чувствуя себя единственным выпуклым предметом на огромном пространстве одиночества.

Чувствительность Бори приобрела пугающие масштабы. Недавно у него случилась истерика после того, как по радио заиграла песня из спектакля «Юнона и Авось».

Можно было переехать, но Боря сознательно запирает себя в пространстве бывшего счастья.

Он всё ждал возвращения Юлии.

Монотонный гул поочерёдно сменяющихся поэтов рассеялся, когда к микрофону подошёл Коля Хмыз. Он начал читать что-то патетично-кровавое. Завладел вниманием присутствующих.

Закончил. Поклонился. Сорвал неуверенные аплодисменты.

– Следующее стихотворение написал мой друг. Сам он перестал читать, вот попросил меня, – продолжил Коля.

Бармен налил мне ещё один стакан вина.

В полупьяной тишине, разбавляемой шёпотом художников, Коля начал читать стихи друга:

*Все вокруг сговорились:
чужие, родные, друзья.
Говорят, тебя больше нет
и уже не будет.
Да чего они знают?
Они ведь такие же люди,
как и мы. Это благо,
что нам доверять нельзя.*

*Небольшой огонёк лампы
почти зачах.
Как банально раскрашивать жизнь
в чёрно-белые полосы.
Эти травы поют о тебе,
но всегда вполголоса,
а как только подходишь ближе,
и вовсе молчат.*

*За прозрачными дверцами
каждого ждёт награда.
Небеса до последнего шага
хранят интригу.
Я живу по инерции,
ем – потому что надо.
Встретив ночь, засытаю в кресле,
роняя книгу.*

*Больше года не снишься, родная –
недобрый знак.
За открытыми окнами
стелется чисто поле.
Сколько нужно инъекций времени
этой боли?
Без тебя этот светлый дом –
нежилой барак.*

Коля, зачем ты сделал это? Зачем именно сегодня прочитал эти стихи? Теперь ты в ответе за уничтоженный вечер.

Какого хрена ты открыл окна-шлюзы и заполнил наш «Подвал» ледяной водой воспоминаний? Мне не нравится вкус и цвет этой воды. Она невыносимо пахнет прошлым.

Дело ведь не только в воде, есть вещи страшнее. Например, тот факт, что автор этих строк (боюсь, это Борис) и я оказались в одной лодке. Нам тесно здесь, но мы слаженно гребём, пытаюсь спастись. Есть дела важнее мести, поэтому не будем бить друг друга вёслами, прежде чем не окажемся в спокойных водах.

Коля доволен. Несколько человек одобрительно кивают головой. Кто-то крикнул заветное слово «крутой».

– Коль, это Авдеев написал? – спрашиваю.

Коля молча кивает.

«Ты стала частью меня. Прости, что привожу тебя в подобные заведения. Здесь слышен мат и пахнет сигаретами. Здесь графоманы пьют водку, напяливая на себя шиворот-навыворот есенинскую тоску.

Здесь Коля Хмыз только что прочитал хорошее стихотворение».

Надо уходить. Бармен вопросительно смотрит в мою сторону.

– Сколько?

– 257 рублей. Подожди, вот ещё. – Он положил сдачу с трёх сотен на бумажную папку.

– Рецензия или редакция?

– Рецензия. Деньги в папке. Тариф не изменился?

– Нет. Чья рукопись?

– Какая разница. Отдашь мне, я передам.

Папка тяжёлая. Боюсь, что в ней роман на семьсот страниц.

«Мила, не переживай, этот стакан вина на сегодня последний.

Говорят, там, где ты находишься, нет понятия времени. Никак не могу себе этого представить. Только одно боюсь, что после этой жизни небесные силы расселят нас в разные обители. Страх, что обители эти будут пахнуть серой, равносильно страху не найти тебя в вечности.

У меня всё в порядке.

Живу. Пишу. Люблю тебя».

4

«Доброй ночи, любимая, или доброго утра... Часы показывают 3:00. Захотелось пить, на всякий случай заглянул в интернет.

Письмо какое-то странное пришло. Одна строчка:

«За живых не молятся, как за мёртвых».

Отправитель без аватарки. Вместо имени – набор букв.

Спросил в ответном письме: «Мы знакомы?»

А что ещё спрашивать?

Тишина.

Вообще-то, немного не по себе. Только бы снова не сойти с ума».

Вертикальный дождь пытается растворить в пространстве фигуру Давида. Небольшой путь между нашими домами Давид проходит подчёркнуто спокойно, абсолютно не замечая ливня. Вся его пластика пышет гневом, каждый шаг недобро пружинит от земли.

Вместо глаз – два красных уголька.

На этих глазах можно мясо пожарить.

Он несколько секунд стоит перед дверью, затем влетает в дом и пикирует в кресло, придавливая Дивуара. Кот цепляется в него когтями. На секунду я замираю в предчувствии ужасной сцены: сейчас Давид порвёт кота на маленькие шерстяные шарики. Но он настолько зол, что не может никого убить. Напротив, Давид сажает испуганного Дивуара на свои промокшие колени и начинает гладить так, будто хочет его расплющить.

Дивуар пытается спастись, издавая шипящие звуки. Наконец он спасается бегством.

– Я не могу жить с ней на одной планете.

– Марина?

– Да.

– Что опять?

– Это мой бар. Там работают мои люди. Там... Я сейчас пойду, и... – Он начал бить руками воздух. – Она... сестра Леры... у неё иммунитет.

– Что-то новенькое выкинула?

– Только что Марина уволила Антона.

– Чего?

– Она соврала, что я в курсе. Антон позвонил мне. Меня сейчас разорвёт от злости. Что она себе позволяет?

Каждое слово Давида весит не меньше килограмма. Он страшный и мокрый. Готов действовать.

– Антон сейчас где?

– На работе. Я удвоил ему зарплату.

– Дай угадаю. Ты опять ругал Марину последними словами, Лера всё слышала. Ты и на неё наорал. Ты хочешь крови.

– Да.

– Что будешь делать?..

Ну вот, а мне так хотелось рассказать Давиду про вчерашний вечер в «Подвале». Про Авдеева, который внезапно стал поэтом. Про головную боль и очередной ночной кошмар. Хотя лучше оставить это для Карловича.

– Увольнять! И будь что будет. Пусть Лера делает, что хочет. Мы с ней – как однокомнатная квартира с ментальной перегородкой посреди зала.

– Ого! С Мариной, что ли?

– С какой ещё Мариной? С Лерой! За день мои чувства к ней могут меняться от сумасшедшей любви до желания треснуть по башке. Про детей я вообще молчу.

Давид подскочил к холодильнику, достал уже откупоренную бутылку вина и сделал несколько больших глотков. Немного отдышался, приложился снова и допил вино до конца.

Шумно захлопнул холодильник, снова упал в кресло.

– Дети при чём?

Видно, что гнев Давида постепенно улетучивается.

– Как при чём? – спокойно произносит Давид. – Если я наделаю глупостей, Лера меня бросит, и тогда всё! Без детей мне не жить. Ты же знаешь... А маленькая? Скоро ей три года исполнится. Иногда мне кажется, что от передозировки любви сердце не выдержит и лопнет как гелиевый шарик на морозе. Я так её люблю... так люблю, что... – Он вскочил с кресла, сохраняя равновесие на полусогнутых ногах.

– Да понятно, брат, я могу представить.
– Нет, не можешь. Вот представь, я маленькую Аришку так люблю, что хочу обнять, сдавить, скатать из неё маленький благоуханный шарик и спрятать у себя в ноздре.

– Сильно!

– А, понял! Не только ты умеешь красиво говорить.

– У тебя солидные ноздри. Вся семья поместится.

Зная характер Давида, заранее предполагаю, что через пару часов его гнев совсем улетучится. Совесть прорвётся сквозь недовольство и раздражительность и начнёт обличать вспыльчивого грузина. Давид какое-то время будет себя оправдывать, но в итоге станет слёзно извиняться перед Мариной за все грубости, в сотый раз заречётся быть сдержаннее и пойдёт к отцу Алексию на исповедь.

Знает это и Марина.

Не сговариваясь, мы одновременно выходим на улицу. Босиком. Шлёпаем по лужам неизвестно куда. Местами дорога превратилась в маленькие каналы, по которым плывут листья и разнокалиберный мусор. Мы будем здесь до тех пор, пока этот дождь не смоет с нас остатки гнева и страха. Вот бы он вымыл ночные кошмары из моей башки.

«Хотя нет, любимая, о чём я говорю. Если нет другой территории для встреч, то подойдут и кошмары».

5

– Говори уже. 25 минут тишины – это наш новый рекорд, но раз уж пришёл, давай, слушаю.

– Знаешь это чувство, когда тошнит душу? Кругом непроглядная ночь, и твоя душа над пропастью.

– Над пропастью во ржи?

– Если бы, доктор. Это другая пропасть: по краям осыпается гравий. Внизу голодные собаки бродят.

– Нет, не знаю.

– Ну и хорошо. У меня всё.

– Подожди. Чай. Сегодня с ореховым вареньем.

Карлович выглядит озадаченно.

– Нет, я же сказал, тошнит...

– Ладно. Давай без чая. Буквально несколько минут – и отпущу.

– Договор.

– Какая она?

– Кто?

– Твоя муза?

– Что за ерунду ты спрашиваешь?

– Так, у нас договор. Говори, какая?

– Ладно, чемпион мира по банальным вопросам, отвечаю: она – красивая.

– Ещё.

– Мы редко видимся. Стал забывать.

– Она блондинка.

– Пожалуй.

– Высокая?

- Нет. Метра два всего. Для музы это маленький рост. Она прозрачна.
 - Откуда ты знаешь, как она выглядит?
 - Знаю. Мы познакомились ещё до моего дня рождения.
 - Что она делает?
 - Исчезает и появляется.
 - Ещё...
 - Она ходит по реке забвения. Юбка скользит по воде. В руке сачок.
 - Сачок зачем?
 - Ловит буквы, сквозь сачок пропускает лишнее.
 - Что с уловом?
 - Принесит мне. Остаётся только сложить нужные слова из пойманных букв и расставить в правильном порядке.
 - Так вот, как вы, писатели, работаете?
 - Только между нами. Узнают, что проболтался...
 - Убьют? – шепчет доктор.
 - Хуже. Стану изгоем.
- Карлович делает какие-то пометки в дневнике. Вода в чайнике закипает. На столе появляется полулитровая банка. Внутри что-то чёрное. На нефть похоже.
- Всё, вали отсюда. Придётся выручить тебя – есть ореховое варенье за двоих.
 - Можешь оставить мне немного, в следующий раз съем, – говорю на пороге, обувая мокасины.
 - Хрен тебе, – демонстративно набивает рот содержимым банки.
 - Карлович, я сумасшедший?
 - Нет. А я?
 - Временами странный, а в остальное время – полный псих.
- Чайная ложка со свистом пролетает над моей головой.
Я же говорил: псих.

6

«Любимая, я книгу дочитал, точнее, рукопись, для рецензии. Не знаю даже, как сказать... Этот текст проехал по мне катком, расплющил и заново слепил. Тебе бы понравилось.»

Так, выдыхаю, спокойно...

Эту рукопись можно мазать на хлеб и употреблять со сладким чаем по утрам. Эти слова нужно смешать с молоком и поставить на мороз, чтобы превратить в самое вкусное мороженое на планете. Фрагменты этого текста хочется выколоть у себя на спине.

Если какой-то редактор откажется издавать эту книгу, он должен пойти в паспортный стол и попросить поменять имя, фамилию, отчество – на «Никчемных Дурак Дилетантович».

Я даже деньги брать не буду с автора. Есть чёткое ощущение, что это я ему должен заплатить.

А ещё книга заканчивается словами: «За живых не молятся, как за мёртвых».

Помнишь, мне письмо с таким текстом приходило?

Как так совпало, не пойму...

Может быть, автор письма и романа – один и тот же человек?

Пока».

Сегодня утром арестовали Антона. Ему грозит три года лишения свободы. Антон сломал нос клиенту. Дважды. Шансов оправдаться почти нет. У потерпевшей стороны – свидетели, зафиксированные побои и несколько фотографий на мобильник. Какой-то ловкач успел сфотографировать, хотя конфликт длился считанные секунды.

Вообще, эта история началась полгода назад.

В «Мёд» зашёл быдловатый клиент, ростом примерно метра полтора. Пьяный. Деньгами сорил, ругался, называл Антона «сынок».

Антон терпеливо обслуживал клиента. Смешивал различные коктейли.

Коротышка писклявым голосом вещал о собственном могуществе и превосходстве над остальными жителями города.

Напившись до одури, он попросил коктейль «мучачос».

Причём сказано было примерно так: «Эй, несчастный, приготовь барину «мучачос»».

Антон сказал, что такого коктейля нет, и предложил на выбор варианты: «Маленький Мук», «Наполеон», «Бешеный карлик», «Клоп на пляже».

Клиент назвал Антона холопом и плюнул ему на рубашку. Антон недолго думая вышел из-за стойки, коротким прямым ударом нокаутировал посетителя.

Карлик какое-то время брызгал угрозами. Затем ушёл, пообещав отомстить.

На следующее утро в бар пришёл участковый. Кстати говоря, старый знакомый Антона. Оказалось, что коротышку зовут Юрий. Работает Юрий продавцом в алкогольном магазине. Раз в месяц напивается, устраивает «день барина», отчего в первую очередь страдают домочадцы. В бары ходит редко. Вот, Антону повезло познакомиться.

Участковый предложил решение: карлик оценил сломанный нос в сто тысяч рублей. Если Антон готов заплатить, Юра забирает заявление. Если нет – будет суд. При самом плохом раскладе – «условка».

Антон решил заплатить. Карлик ликовал. Весь город узнал, как это связываться с хитрым Юрой и как дорого за это придётся платить.

Юра периодически захаживал с друзьями в «Мёд». Разговаривал с Антоном в приказном тоне, вечно подмигивал друзьям, смеясь над собственными остротами. Было такое ощущение, что сто тысяч закончились, нужны новые.

Так бы и продолжалось, но Юра решил, что эта история имеет продолжение.

Вчера он устроил «день самопровозглашённого барина», ввалился в бар в компании нескольких друзей, сел на высокий стул и уставился на Антона.

Антон не поддавался на провокацию, и тут Юра пошёл в наступление:

– Холоп, у тебя есть коктейль «мучачос»?

– Нет, простите, такого коктейля нет, – спокойно ответил Антон.

Друзья Юры натруженно заржали.

Антон помнил, как дорого ему обошёлся нос Юрия, поэтому решил терпеть.

– Понятно, а чурка где?

– Простите, не понимаю, о чём вы?

– Ну, хозяин твой, грузин-баргузин, где?

Уши Антона стали пунцовыми. Это был знак особенного эмоционального напряжения.

– Его зовут Давид, – процедил Антон сквозь зубы.

– От этого он не перестает быть чуркой, – глубокомысленно заметил Юра. – Звони ему, спроси, почему такой ассортимент слабенький.

Антон трясущейся рукой набрал Давида.

Разговор состоялся следующий:

– Да.

– Это Антон.

– И?

– В кассе двести тридцать тысяч.

– Приятно слышать.

– Мне нужны деньги, Давид.

– Сколько?

– Сто тысяч.

– Бери в счёт зарплаты.

Юра непонимающе наблюдал за действиями Антона, который открыл кассу и аккуратно сложил на стойке бара сто тысячных купюр.

В пьяном сознании Юры уже складывался страшный пазл.

Далее начался настоящий триллер.

Антон перетащил Юру через барную стойку, зафиксировал ему голову и нанёс несколько прицельных ударов точно в нос. Затем положил Юре в карман сто тысяч со словами: «Я бы дал больше, но ты сам установил цену».

Приятели повели Юру домой. Деньги он забрал и снова посыпал угрозами.

Юра предложил замять конфликт, но сумму озвучил в три раза больше.

Естественно, сто тысяч пропали даром, но Антон не жалел. Такова цена удовольствия, два месяца придётся работать бесплатно.

Юра снял побои. Завели дело, и теперь Антон может сесть. Остаётся надеяться, что Давид что-нибудь придумает.

«Привет, любимая. Сегодня первое сентября. Первоклашки идут за руку с мамами в добровольное одиннадцатилетнее рабство. Сонные и счастливые. Ничего ещё не понимают.

Не помню, говорил я тебе или нет, но в детстве мы с родителями жили недалеко от школы.

Каждое первое сентября мама плакала. Я ещё удивлялся, думал, да что она постоянно плачет? На пытки, что ли, ведут этих малышек?

Сейчас самому хочется плакать.

Просто мама знала больше меня...

Надо бы развернуть всю эту нарядную процессию с шариками и отправить домой. Уходите. Не надо.

Хочется зайти на школьную линейку, прервать банальную речь завуча и сказать: «Держитесь ребята, будет нелегко. Здесь на стенах унылая краска двадцатилетней давности, а в столовой отвратительный чай. Здесь никто не будет любить вас как дома. Мальчики, вам вообще придётся туго. До появления жидких усов и прыщей вы будете бороться с усталостью и комплексами неполноценности. Потом многие из вас безответно влюбятся в одноклассниц. Почему безответно? Да потому, что в 17 лет они, девушки, выглядят прекрасно, а мальчики похожи на стручковую фасоль. Потом будет выпускной, и вы увидите, как какие-то ребята лет на десять старше вас заберут одноклассниц на речку. Рассвет встречать. Никакой рассвет их, конечно, не интересует.

А вы, фасолевики стручки, хромая, отправитесь домой.

И никто ведь не подсказал, что туфли нужно немного разносить, прежде чем надеть на выпускной бал.

Голова будет немного гудеть от вина и обиды.

Неужели так всё закончится?

Именно так.

Хотя нет. Будет ещё диск с записью выпускного, который вы посмотрите один раз. Он всю жизнь пролежит где-нибудь в шкафу. Выкинуть рука не поднимется, хотя точно будете знать, что не хотите видеть, как человек, похожий на вас, изо всех сил старается выглядеть лучше, чем он есть.

Вот такие мысли, Мила.

Не знаю, зачем говорю тебе всё это.

На планете Земля сейчас утро. Только что закончилась ранняя Литургия. Сажу один в храме Александра Невского. Жду отца Алексия.

Он вчера звонил, говорит, есть важное дело. День знаний, что ли, хочет отметить?

Надеюсь, он опоздает хотя бы на полчаса. Здесь так хорошо. Служба закончилась, но ангелы никуда не ушли.

Идёт, любимая, наш друг. Как обычно, в хорошем настроении.

Пока».

– Давай на улице поговорим, день отличный, – говорит отец Алексей, открывая двери храма.

Мы садимся на скамейку возле иконной лавки. Цыганка с маленьким ребёнком на руках дремлет на паперти. Осеннее солнце согревает благодатным теплом.

– Только между нами. Вчера Борю сняли с петли.

– Чего?

– Твой друг Борис Авдеев вчера пытался повеситься.

На самом деле, мне жаль Борю. Настолько жаль, что захотелось вдруг дать ему по морде и напугать адом.

– Зачем? Подожди... Зачем ты мне это рассказываешь?

– Это только начало, – говорит Алексей.

– Отлично! Ну ладно, «твой друг» – это смешно, пять баллов. Пытался повеситься – грустно. Я тут при чём? Этот де... (Хотел сказать «дебил», но в последний момент втянул это слово обратно, разжевал и размазал языком по нёбу. Горько. Представляю, какой на вкус настоящий мат, если обычное слово «дебил» так горчит.)

– Слушай. Ты не психуй. Уговор помнишь?

Это он про боулинг. Несколько месяцев назад мы играли на желание. Алексею повезло выбить несколько страйков. У меня вообще не пошла игра. В общем, я продул. Алексей на правах победителя потребовал от меня чистоту речи. До конца своих дней – ни одного матерного слова. Что тут скажешь?..

– Как успели снять? – спрашиваю, хотя какая разница, главное – успели.

– Верёвка порвалась. Он же огромный, Боря. Теперь не может говорить. Горло повредил.

– Никто не знает, где Юля?

– Я знаю. Юля – в монастыре. В семидесяти километрах отсюда. Боря весь земной шар обыскал – не нашёл.

Вот в такие моменты я не люблю Алексея. Сидит себе с набитым чемоданом тайн, этакий банк секретов, и при необходимости что-то раскрывает.

– Что она там делает? – задаю идиотский вопрос.

– Живёт в качестве послушницы. Ты же помнишь Юльку? Она и в миру вела себя как монахиня: тихая, вечно за всех переживает.

– Так скажи ей, что Боря пытался убить себя, может, вернётся.

– Не могу. Сегодня уезжаю с Владыкой в Грецию. Потом Петербург, Новгород, Смоленск... Меня не будет около месяца.

Неловкое молчание. Алексей как будто ждёт от меня предложений по спасению Бори. Кажется, начинаю понимать, куда он клонит.

– Нет, – говорю, поймав его вопросительный взгляд. – Ты вообще понимаешь, чего просишь?

План, конечно, идеальный. Спасти Борю руками недруга и тем самым примирить нас. Но с чего он решил, что Юля меня послушает?

– Я ничего не просил.

– Ты что, хочешь, чтобы я убедил Борю не лезть в петлю?

Алексей достаёт из кармана бумагу с надписью: «Костомарово».

– Слышал, наверно, про это место? Юля там. Давид знает дорогу.

– Не могу.

– Поговори с ней. Расскажи всё. Мне кажется, она послушает тебя и простит Борю. Увидит, что ты простил, и сама простит. Самоубийцы на одной попытке не останавливаются, сам знаешь.

А вот это уже нечестно. Запрещённый «болевой приём на совесть».

Женщина из иконной лавки подошла к отцу Алексию, сложила ладони на благословение. Затем замерла на несколько секунд, будто вспомнила что-то.

– Лена, всё хорошо? – спросил батюшка.

– Ой, – Лена густо покраснела, – мне на голову, кажется, птичка накакала.

Так и сказала: «накакала».

– Бывает, – улынулся Алексей, – наклонись.

Он пальцем стряхнул с головы Лены зелёно-жёлтую субстанцию.

– Иди с Богом.

Какое-то время мы молчим. Тёплое осеннее утро опускает ладони в солнце и согревает золотистыми брызгами всё обозримое пространство.

Вспомнил, как Юля спасла меня в тот день. Если бы она не повисла на Боре, кто знает, как бы закончилась драка.

– Странное дело, но мне часто снится другая жизнь, – говорит Алексей куда-то в сторону, словно стесняясь своих слов. – В этих снах я работаю с деревом, делаю красивые стулья. К вечеру смываю с лица древесную пыль и чувствую себя счастливым. Сплю в саду под деревом. Ем самую простую пищу. Старый фонарь слабенько освещает мой маленький сад из трёх-четырёх деревьев. Этого света достаточно для того, чтобы немного почитать перед сном. Каждое утро чувствую боль в мышцах, с трудом свожу концы с концами, но всё-таки – счастлив. Только пойми меня правильно. Я под угрозой смерти не перестану служить. Этот навязчивый сон, скорее всего, продукт подсознания. Результат нехватки тишины.

– Завтра поеду, – слышу собственный голос, – утром. Надо только Давиду сказать...

– Давид уже в курсе.

Хитрый лис, заранее знал, что соглашусь.

7

Никуда я не поеду. Как хорошо, что рассвело. Всю ночь я просидел на полу, периодически вливая в себя вино. Причиной бессонницы стала посылка. Вообще, ночь началась странно.

Где-то ближе к полуночи в дверь постучал мальчишка лет пятнадцати. В руках большая картонная коробка.

– Это вам, – сказал подросток, бросив посылку на крыльцо.

Посылка необычная. Никакой почтовой маркировки. Чёрный прямоугольник.

– Ты кто такой? – спрашиваю, хотя меня больше интересует, от кого посылка и что в такое позднее время делает ребёнок в огороде у Давида.

– Дима, мне дали денег, сказали вам передать.

– Что внутри?

– А я откуда знаю.

– От кого посылка, тоже не знаешь?

– Почему, знаю! От мужика в чёрной футболке. Он ещё на тяжёлом мотоцикле был.

Эта бесценная информация так и осталась висеть в воздухе. В дом я занёс только посылку.

Такого я ещё не видел. Лопата с маркировкой: *«Долго мне придётся наводить тебя на мысль»?*

Какую мысль?

Благо Давид не спал. Спросил у него, что бы это могло значить? Он махнул рукой, сказал, кто-то из моих друзей-писателей напился и решил таким образом пошутить.

Писатели, конечно, парни весёлые, но это не в их стиле.

Лопата с маркировкой.

Да ещё и такая красивая. Буквы – чудо каллиграфии.

Вот так, обычный садовый инвентарь со странной надписью может стать инъекцией адреналина и лишить сна. Нет ни одной здоровой мысли. Чувствую себя участником известной интеллектуальной игры, где ведущий говорит: «Внимание, господа, чёрный ящик». На столе появляется коробка с каким-то предметом, и участник игры должен что-то ответить.

Под утро провалился в вязкий, непродолжительный сон. Снилось, что плыву по бурной реке. Ночью. Причём плыву со скоростью спортивного катера. Каждый взмах руки придаёт моему телу бешеное ускорение. Переплыв реку, оказываюсь на огромном поле. Маленькая яблоня посреди поля виновато сутулится.

Чувствую в себе бесконечные резервы энергии. Бегу в сторону яблони, как свихнувшийся гепард, и даже дыхание не сбивается.

Если сейчас передо мной появится медведь или динозавр – разорву как цыплёнка.

Дерево совершенно. Наверно, случайно из райского сада упало семечко на грешную землю. Ангел какой-нибудь недоглядел.

Дальше вообще начинается что-то невообразимое: срывается сильный ветер и сбивает с яблони наливные плоды. Яблоки бьются о землю и превращаются в огненно-красных птиц. Я чувствую, как пышат жаром их крылья. Птицы разрывают ночь яркими вспышками света, гаснут как искры. Яблоня в одно мгновение желтеет и сбрасывает с себя всю листву.

Осень длиною в несколько секунд.

Теперь передо мной безжизненное дерево. Сухие ветви хрустят под порывами ветра.

Ветер наполняет мою грудную клетку гневом.

Хватаю дерево и выдёргиваю его из почвы.

Вышвыриваю в бесконечное небо.

Пусть летит вслед за птицами. Комья замёрзшей земли бьют мне по лицу. Тишина. Во мне больше нет прежней силы.

На месте вырванного дерева светится глубокая воронка. Подхожу к краю. На дне красными углями выложена надпись: *«За живых не молятся, как за мёртвых».*

8

Я допью этот чай до конца. Он безвкусный, несладкий. Вообще, эту жидкость с большой натяжкой можно назвать чаем, но всё равно – допью. Только что в тёмном контуре чашки отразилась картина «Тайная вечеря». Никогда такого не было. Угол отражения, наверно, был не тот или не приглядывался.

Робкая пародия на дождь капает с неба. Запала не хватает у этих депрессивных туч.

«Пытается дождь пойти, да всё не хватает духа» – эта строчка уже несколько минут путешествует по моему мозгу. Не знает, глупая, что выхода нет. Мозг поэта устроен так, что ни одна интересная мысль не может покинуть его в одиночку. Только в присутствии рифмы.

Вчерашнее вино было настоящей отравой.

Посылку спрятал под кровать. Единственная причина воспользоваться лопатой даже мне кажется безумной.

«Любимая, только возможность говорить с тобой ещё держит меня на ногах».

В сером пространстве осени за окном появляется фигура Давида. Он несёт в сторону ворот огромное зеркало.

– Ты дурак? – спрашивает Лера, высунувшись в окно.

– Залезь обратно, – кричит Давид. – Спотыкается, роняет зеркало.

Практически беззвучно зеркало разбивается о землю, разлетается на несколько кривых фрагментов.

Какое-то время Давид стоит неподвижно. Интересно, о чём он думает? Потом он коротко, но содержательно ругается и виновато смотрит на Леру.

Здесь у Давида с Лерой начинается сцена невербального общения.

Лера мимикой: «Ну, я же говорила, что ты дурак!»

Давид взглядом: «Давай, что же ты молчишь, скажи...»

Прислонив осколки к забору, угрюмый грузин плетётся в мою хижину.

– Давно пора, – говорит он с порога.

– Чай хочешь?

– Нет, кофе.

– Зеркало случайно разбил?

– Специально.

– Я так и думал. Лера бы обратно занесла...

– Нет, ну вот зачем в спальне зеркало, да ещё такое? – Давид широко разводит руками и довольно улыбается.

– Не знаю.

– Вот и я не знаю. Но точно знаю, что нельзя всю ночь отражаться.

Давид заваривает крепкий кофе, щедро разбавляя его коньяком.

– Почему?

– Потому что так вкуснее.

– Да я не про коньяк. Почему нельзя отражаться всю ночь?
– Мне кажется – это опасно: под утро рискуешь совсем исчезнуть. Кто его знает, что у этого зеркала на уме.

Давид с удовольствием пьёт кофе, изредка поглядывая в окно.

– Помоги мне.

– Что надо?

– Только не говори, что я сошёл с ума. Не звони Карловичу и не бойся.

– Так. – Давид залпом допил кофе. – Не пугай меня!

– Сегодня ночью мне нужно будет кое-что проверить.

Достаю из-под кровати посылку. Бросаю Давиду.

– Клад пойдём искать?

Надо бы вести себя с ним максимально свободно, но чувствую, как сердце носится по грудной клетке и предательски дрожит голос.

Небо всё-таки определяется с погодой. Крупнокалиберный дождь стучит в окно.

Давид разглядывает лопату. Видно, что он понятия не имеет, о чём я прошу.

– Нужно раскопать могилу, – слова с трудом просачиваются сквозь невидимый песок в горле.

– Чью могилу? – Но он уже понял. – Значит, так, – хватает меня за руку и швыряет к окну, – что видишь?

– Дом, разбитое зеркало, дождь, Зураб под дождём носится...

– Правильно. Я вижу то же самое. Это значит – ты здоров. Но, пожалуйста, не надо вести себя как debil. Ты же видел её в гробу. Что тебе ещё надо? За это могут срок дать. Вандализм называется, не слышал?

– Я быстрее сойду с ума, если не сделаю этого.

– Смысл?

Давид отпускает мою руку. Такое ощущение, что она была в тисках.

Здесь я неумело начинаю рисовать картину. Скреплять воедино все фрагменты. Фоном рисую стихотворение Бори: «она жива». Жёлтыми красками вывожу фигуру девушки в храме и человека-свечу, трепещущего под её тонкими пальцами. Немного красного – и оживает дерево. Яблони-птицы, бескрайнее поле. Затем разрываю картину как страшную улику ещё не совершённого преступления. Разбросанные куски плывут под ногами и складываются в уже знакомую надпись: *«За живых не молятся, как за мёртвых»*.

Трудно понять, что думает Давид. Иногда мне кажется, что я его совсем не знаю.

– Прости брат, но это полный бред, – говорит он.

Лопата падает на пол. Давид спокойно уходит.

«Наверно, он позвонит Карловичу или что-нибудь ещё придумает в этом роде. Но только всё напрасно, любимая. Я не сошёл с ума».

9

Наконец-то стемнело. День длился бесконечно долго. Давид так и не пришёл. Он даже во дворе не появлялся. Может, это к лучшему? Нужно самому всё решить. Дождь осложняет задачу. На территории кладбища сейчас непролазная грязь, копать будет очень сложно. Если не ошибаюсь, там есть сторож. Нужно действовать быстро и тихо. Могила Милы находится недалеко от леса. Благо, ночь тёмная, можно спрятаться в лесу, если кто-то появится.

На телефон приходит сообщение: «Вас ожидает чёрный «Рено» 358. Такси «Мини».

Наверняка Давид заметил. Ну и ладно. Не станет же он звонить в полицию. Таксист что-то рассказывает. Я машинально киваю в ответ. Мы проезжаем примерно половину пути. Монотонный гул его болтовни, замешанный на мате и натруженном смехе, резко меняет тональность.

До кладбища ещё несколько километров пешком. Крепко сжимаю в руке сумку с лопатой, перчатками и ножом. Не знаю, зачем мне нож, но с ним спокойно.

Не успеваю пройти и десяти метров, как дорогу мне преграждает огромный тёмный валун. Это Давид на своей новой машине. Он, наверное, ехал следом.

– Садись, – говорит, резко открывая дверь.

Молча залезаю на сиденье.

– Нас из-за тебя посадят. Сам не верю, что делаю это, – говорит Давид и кидает мне на колени бутылку водки. – Пей.

– Ты первый, – говорю.

Давид выпивает с горла одну треть. Я допиваю остальное.

Смелость приходит одновременно с желанием плакать.

– Будем меняться. Ты роешь – я прикрываю, и наоборот.

Киваю в знак согласия.

Мы плывём сквозь ночь. Дождь только усилился. Вездеход Давида то проваливается в ямы различной глубины, то резко взбирается на мокрые пригорки.

– Здесь остановим, – говорит он шёпотом, как будто кто-то может нас услышать.

Давид глушит двигатель, и мы бежим по размытой тропе к ограде городского кладбища. Водка отключила страх и прочие ненужные инстинкты.

Меньше чем через минуту мы уже стоим у могилы Милы.

– Я первый, если что, уходим по отдельности, встречаемся у машины.

– Если что, вырубим сторожа и спокойно уйдём. Я не в том возрасте, чтобы бегать, – спокойно подытожил Давид.

Начинаю копать. Хорошо, что надгробной плиты нет. Это упрощает задачу.

«Прости, родная, но я должен проверить».

Работаю быстро. Практически не испытываю сопротивления. Словно бросаю лопатой не мокрую землю, а ватные шарики. Одежда насквозь промокла. В ботинках полно воды, но сердце работает как сумасшедшее. Так бы и копал до победного, если бы при очередном броске не упал лицом в мокрую землю. Силы закончились, но мозг уверяет, что это какое-то недоразумение. Можно работать дальше.

Вылезаю из углубления. Давид принимает эстафету. Мы совсем забыли о безопасности. Да и чего бояться? Сторож в такую погоду не выйдет на обход.

Давид поработал намного больше меня. Какое-то время отдыхаем, восстанавливаем силы и снова принимаемся копать. Так проходит около двух часов. Уже собираюсь смениться, натыкаюсь лопатой на деревянную крышку.

Странно. Вроде бы так старались скорее достичь цели, но, как только докопали до гроба, перестали спешить.

Срываем крышку...

Гроб пустой.

Чувствую сопротивление, но не могу понять, откуда. Держусь за борт полуразложившегося гроба. Не сразу осознаю, что Давид тащит меня из ямы наверх.

Он что-то говорит.

Бьёт меня ладонью по лицу.

Просит не кричать. Но я молчу. Это земля кричит, и деревья бьются в истерике.

Господи, помоги мне не сойти с ума!

Помоги мне.

10

Машина пробирается сквозь грязь. Мне кажется, что деревья бегут за нами. Как будто мы украли у леса самую страшную тайну. Нельзя отпустить нас, нельзя.

Дождь обезличил улицы, уничтожил ориентиры. Не могу понять, где мы?

Вот бы сейчас оказаться в другом городе, а лучше – на другой планете.

Не знаю, сколько времени мы едем. Время закончилось. Нет больше надобности во времени, зачем отсчитывать часы, когда ничего не ждёшь.

– Отвези меня к Карловичу. Пожалуйста, прямо сейчас.

Давид резко тормозит. Не успеваю подставить руки, бьюсь головой об панель.

Давид хватает меня за волосы, подтягивает к себе. С трудом узнаю его. Как же он сейчас не похож на себя!

– Слушай меня, – кричит мне в лицо, вбивает фразы как гвозди, – ты нормальный. Никакой Карлович тебе не нужен. Ты не псих.

Он долго сбивчиво говорит, а я боюсь, что эта ночь ненастоящая. Сейчас зайдёт медсестра, включит свет, и развалятся картонные декорации. Она сделает мне какой-нибудь укол, и дождь прекратится. Эта женщина в белом халате – лучший в мире ловец тревоги. Самому мне не спастись. Она вместе с лекарством проникнет в мою кровь, пройдёт до самого сердца. Уничтожит тревогу. Без предупреждения, как опасного преступника, пристрелит при попытке к бегству.

Холодно. В машине не должно быть так холодно. Где моя одежда? Как я снова оказался на улице? Почему Давид держит меня за руку, я же могу стоять самостоятельно. Моя реальность снова обретает звук.

– Смотри вокруг, я вижу то же самое, – голос Давида тонет в пустых переулках.

Я верю ему. Он не будет врать.

Господи, помоги мне!

Ноги тонут в придорожной грязи. Я готов есть эту грязь, только бы она была настоящей.

11

– Вы появились под утро пьяные, привезли меня сюда, толком ничего не объясняя. Представляете, что сейчас думает моя жена?

Непонятно, к кому из нас обращается Карлович.

Только что он вколол мне что-то мощное, иначе как объяснить железобетонное спокойствие. Лежу под капельницей, жду, когда мир рухнет, но ничего такого не происходит.

– Значит так, доктор, – говорит Давид, – или веришь нам на слово, или мы едем сейчас на кладбище и показываем...

– Ладно, верю, – отмахивается Карлович, – но кому нужно воровать тело?

– Доктор, мы же не можем одновременно сойти с ума, вот так раз, за один вечер?

– Да кто вас знает...

– Даже не думай шутить! – Давид хватается за рукав.

– Спокойно. От меня что нужно?

– Чтобы Матфей... ну, ты понимаешь... чтобы...

– ...не сошёл с ума, – помогаю Давиду. – Не бойся этого слова, брат.

Интересно, что вколол доктор? Наверно, инъекцию человеколюбия. Смотрю сейчас на Карловича и чувствую, что люблю его. Давида – ещё больше. А также весь мир за окном и соседнюю галактику люблю. Борю – так вообще обожаю. Хочу обнять его, извиниться за всё.

– Смотри сюда, Давид.

Карлович достаёт из сумки листочек, неразборчивым почерком выводит название препаратов и закрепляет магнитом на холодильнике.

– Что с алкоголем, может...

– Нельзя. Даже стакан вина, – резко обрывает его Карлович.

– А тебе?

– Мне можно, желательнее прямо сейчас.

Давид наливает доктору большой стакан сухого белого.

Железный человек – Карлович. Другой бы сейчас задал миллион вопросов, строил бы догадки, а этот сидит, вино пьёт. А с другой стороны, что тут скажешь?

Спокойно, как в детстве, когда рано утром мама что-то варганит на кухне, небесной музыкой звенят тарелки, открываются шкафчики и позвякивают столовые приборы. Детство звучит именно в такой тональности, в тональности мамы-дирижёра на кухне. Смерти нет. Старости – тем более. Мама будет жить вечно. Каждое утро я буду слушать мою кухонную симфонию.

– Вас кто-нибудь видел?

– Нет. Дождь на руку. Следов не останется.

– Родителям будешь говорить?

– Каким родителям? После похорон исчезли. Никто не в курсе, где они. Соседи даже не видели, как съехали. Слушай, Карлович, если что, ты ничего не знаешь...

– Само собой. До утра не беспокой, пусть спит.

Он вскрывает ампулу, ловко набирает что-то в шприц и вкалывает в капельницу.

Через какое-то время чувствую приятный холодок в затылке. Предметы вокруг теряют очертания, и гладко выглаженный потолок накрывает меня мягкой белой тканью.

12

– Тебя нельзя оставлять одного, – говорит Давид.

Он собирает рюкзак. Термос, рубашка с длинным рукавом, чёрные штаны. На всякий случай берёт старые джинсы и потрёпанный свитер – это если в монастыре попросят помочь.

Сентябрь оптимистично настроен. Солнце греет, небо чистое. Думаю, может, не будет зимы? Ну, в качестве исключения. Никто не расстроится, если долгую тёплую осень сменит весна. Бывают же необъяснимые явления? Так вот, пусть чудесным образом природа забудет про зиму.

Что за дрянь колет мне Карлович? Мерзкое ватное спокойствие. Он что, уничтожил все мои нейроны? Моё сознание похоже на осаждаемую крепость. Карлович, как опытный боец, укрепил эту крепость. Выкопал глубокие рвы. На стенах поставил стражу.

Замок держит осаду уже несколько недель. Тревога и страх разбиваются об эти стены. Неделю назад мне удалось проделать брешь: не выпил лекарства, назначенные Карловичем. Тем самым усыпил стражников на стенах и позволил тёмным войскам тревоги проникнуть в замок. Но и здесь неприятель потерпел поражение. Накопительный эффект препаратов Карловича сделал своё дело. Самые отчаянные бойцы – Тревога и Страх – оказались в ловушке безразлично-ватного пространства замка. Мягкие стены моей крепости совсем не пострадали. Разве что кое-где лопнула обшивка, проявившись на деле носовым кровотечением.

Мы были на кладбище. Могила снова зарыта.

Собираемся в монастырь. Расскажем Юльке про Борю, пусть сама решает.

Карлович говорит, что мне полезно развеяться. Не вижу смысла. Нервную систему отключил, как отключают сигнализацию в машине, и говорит о пользе перемены обстановки.

«Разбей младенца о камни» – есть такое образное выражение у монахов, имеется в виду борьба с помыслами. Как только приходят плохие мысли – руби их на корню. У меня это происходит вопреки желанию. Правильно подобранные препараты не дают возможности выстроить логическую цепочку... Ненавижу тебя, Карлович.

Давид упаковал рюкзаки. Мой тяжелее. Один только термос с чаем чего стоит.

Машина выкатывается со двора. Лера и Зураб провожают нас как будто на войну. Лица у них серьёзные.

Сентябрьское солнце похоже на мягкое одеяло. Как у бабушки в деревне. Когда приедешь помочь картошку посадить, потом приляжешь отдохнуть в прохладной избе, то кажется тебе, что нет на планете мягче и уютнее места.

Вот так сейчас в машине у Давида. Солнце гладит по голове тёплой материнской рукой. Тело утопает в удобных сидениях. Машина не едет – она плавно скользит по дороге. Прости, Давид, я слышу, что ты говоришь что-то, но не хочу собирать эти звуки в слова и тем более не хочу понимать значения этих слов.

13

По ту сторону реальности Давид идёт по воде, как святой. Мне же приходится с трудом пробираться сквозь мутные воды. Давид спокоен. Держит меня за руку, не оборачиваясь, ведёт за собой. Мокрая одежда тянет на дно.

– Я тоже хочу идти по воде. Как ты это делаешь? Ты что, святой?

– Нет, конечно. Попробуй и ты.

– Как?

– Не верь, что это вода.

Легко сказать: «Не верь». Не чувствую дна под ногами. Если Давид отпустит руку – утону.

– Как не верить? Эта вода шумит, плохо пахнет, хочет сожрать меня. Не отпускай руку.

– Ты недооцениваешь своё воображение. Я, например, вижу землю, стало быть, иду по земле. Ты предпочитаешь барахтаться в вонючей жидкости, и мне приходится тащить тебя за собой, параноик хренов.

Меня наполняет злорадия. Кажется, вода закипит от градуса негатива.

– Просто верь мне. Сейчас отпущу руку, и вода поменяет свойство – станет твёрдой.

– Что ты несёшь? Карловича на тебя нет, – пытаюсь шутить, хотя страшно...

– Спокойно, просто верь.

Давид разжимает руку. Моё тело за несколько секунд погружается под воду. Ничего не вижу. Только размытые тёмные краски. Закрываю глаза – что толку умирать с открытыми? Тело принимает условия невесомости, готовясь к последнему выдоху. Сейчас всё закончится, но вместо серьёзных мыслей или мгновенных слайдов из прошлого в голове звучит музыка Макса Рихтера. Мрачная такая музыка.

Глубокий вдох. Музыка обрывается.

Водой можно дышать. Одновременно – это вода и воздух.

Сильный удар по голове разбрасывает по салону разноцветные брызги. Это Давид резко затормозил, чуть башкой стекло ему не выбил. Давид выругался на праздничношатающегося кота, который чуть не угодил к нам под колёса.

– Живой?

– Вроде.

Пустынный пейзаж. Вдали вырисовывается деревенька на несколько улиц. Один знакомый итальянец, увидев это (Давид имеет в виду пустырь за окном), спросил меня: «Почему столько пустого места?» «Ты о чём?» – спрашиваю. А он говорит: «Люди где?»

Только иностранец может такую фигню спросить.

– Давид, ты только что ходил по воде.

– А ты?

– Я дышал этой водой.

– Рисуй свои сны, станешь новым Сальвадором Дали.

Давид открывает бардачок и на ходу выбрасывает из машины пакет с моими лекарствами.

– Эта дрянь вернёт тебя к исходной.

Немевшая душа начинает просыпаться, как десна после новокаина. Мысли о Миле бьют куда-то в область печени. Слава Богу, если болит, значит, отпускает лекарство.

14

Единственный форпост на пути в монастырь – маленький домик охранника. Тишина. Сонный часовой смотрит на нас с недоверием. Ответственность большая у человека. Охранник кривоног, бородат. Глаза слезятся, как у сварщика после рабочей недели. Наверное, этому парню одиноко здесь. Сидит на горе, несёт священный караул – только он и птицы. Диких зверей даже нет, за исключением заблудших лисиц и байбаков.

Останавливаемся в метре от шлагбаума.

- Куда едем? – смотрит то на меня, то на Давида.
 - Слушай, брат, мы стоим на горе, единственная дорога ведёт в монастырь. Ну что за вопрос? В Москву едем, – нервничает Давид.
 - Тогда тебе в другую сторону. Вон за тем тополем повернёшь направо, а потом всё время прямо, – парирует охранник.
 - Денег, что ли, хочет, – недовольно бурчит Давид себе под нос. – Слушай, я понимаю, монастырь женский, вид у нас нецеломудренный, но нам вправду надо. Позвони игуменье, она в курсе.
 - В курсе чего?
 - Встреча у нас. Скажи, отец Алексей звонил на счёт послушницы Юлии Авдеевой.
- Охранник достал телефон, что-то там пощёлкал, но звонить не стал. Не хочет, наверно, по пустякам игуменью беспокоить.
- Что за человек! В первый раз такое вижу, – шёпотом говорит Давид, – обычно охранник для вида сидит, вмешивается в редких случаях, скажем, вражеские танки пошли в атаку...
 - Ладно, езжайте, – разрешает угрюмый страж.
 - Спасибо, ваше благородие, – не без сарказма благодарит Давид.

Машина медленно скользит по склону. Придорожные деревья бьются ветками в двери, стучат в стёкла. Хоть бы не было встречных машин. Дорога не оставляет даже намёка на малейший манёвр.

Мне говорили, что в этой обители по-другому чувствуются время и пространство. Тогда не совсем понимал, о чём речь. Теперь, кажется, догадываюсь.

Мы только что спустились с горы метров на пятьдесят, но есть такое ощущение, что стоим на возвышенности. Даже окрестные холмы как-то размазаны в пространстве – невнушительно выглядят.

Обитель большая: два храма, монастырский корпус, где находятся кельи сестёр, гостиница для трудников и паломников, хозяйственные постройки, яблоневый сад, виноградники – в общем, работы завались... Как только женщины справляются с такой территорией?

Несколько монахинь бесшумно проходят мимо. Откуда-то появилась монахиня со стопкой полотенец. Увидев нас, резко развернулась и убежала куда-то в сторону храма.

- Я же говорил, что ты ужасно выглядишь, – говорит Давид, провожая взглядом убегающую монахиню, – вот, пожалуйста, напугал девушку.

- Это она борется с искушением вернуться, – звучит тихий голос за спиной.

Оборачиваюсь и вижу высокую женщину в чёрной одежде. Добрые глаза, бледная кожа.

- Мама с папой развелись, она теперь не знает, куда себя деть. Мир треснул пополам, лучше провалиться в расщелину, чем выбрать одну из половинок.

- Расщелина – это монастырь? – спрашивает Давид, и мне почему-то становится стыдно.

- Нет. Монастырь – это небо. Расщелина – уныние.

- Вопрос формулировки, – зачем-то спорит Давид.

- Ну, знаете ли, предмет не утрачивает свои свойства, даже когда меняет название. Например, супружеская измена за километр смердит, каким бы романтическим соусом её ни приправили.

Давид покраснел.

– Нам нужна игуменья Мария, – прерываю беседу, которая рискует стать обличительной.

– Это я, – говорит наша новая знакомая, – отец Алексей по вашему вопросу звонил?

– Да. Юлию можно увидеть?

– Сейчас, подождите там. – Она указала на рассохшуюся скамейку. – Я позову. Кстати, нужна помощь. Можете задержаться на сутки?

– Я нет, но Матфей может, – предательски заявил Давид.

– Двоим там делать нечего: шкаф надо починить, в библиотеке прикрутить несколько новых стеллажей. Ещё отремонтировать стол и несколько стульев, но это мелочь.

– Для Матфея это раз плюнуть, матушка, – продолжает мой друг.

Что-то железное, сверхпрочное есть в этой женщине. Только такая может стать во главе обители.

Через несколько минут появилась Юля. Она и так была маленькая, а сейчас и вовсе отошла. Хочется обнять её, хорошенько накормить чем-нибудь калорийным.

– Я всё знаю.

– Юль, Алексей просил подумать. Боря не шутит, – почему-то говорю шёпотом.

– И это знаю. Вещи уже собрала. Возвращаюсь завтра.

Здесь слова закончились. Готовились к сложным переговорам, но вышло всё так просто, даже не верится.

– Боря знает? – спрашиваю.

– Нет, если ваш Антон не рассказал.

Теперь понимаю, что через жену Давида Юлька следила за состоянием Бори и, как только наметился суицид, решила вмешаться.

– Ладно... мы... – Давид подбирает слова, но в итоге мычит что-то несвязное.

Мы обнимаем Юлю на прощание.

– Матфей, – оборачивается она, пройдя несколько шагов, – что бы там ни случилось, помни: ты здоров. Я так рада за тебя.

Лекарственный панцирь потихоньку раскалывается. Отдельные фрагменты той ночи всплывают в памяти. На секунду мелькнула мысль: «Может, зря лекарства выбросил?»

Сердце предательски ноет, но остаток фармацевтических войск Карловича идёт в атаку. Странно работает сознание, напичканное медикаментами. Точно знаю, что есть некий сундук, из которого пытается вырваться страшный зверь, но тот факт, что сундук закрыт – внушает идиотское спокойствие.

– Всё нормально?

– Мутит немного. Хорошо, что ты выбросил лекарства.

– Видел, как Юлька на тебя посмотрела? Ей до сих пор неудобно.

– Я заметил.

Большая группа паломников прошла мимо, щедро рассыпая по дороге хорошее настроение и нарушая тишину щелчками фотокамер.

– В столовую идут, – улыбнулся Давид, – может, и мы с ними?

– Спасибо, подлый пасечник, не хочу работать на полный желудок.

– Не ной. Тебе полезно иногда физически поработать. Мне пора. Заберу тебя завтра днём. Будь хорошим мальчиком.

– Катись, не оскверняй своим присутствием святое место.
– Хотел борща хряпнуть, но раз я так тебе противен, святой Матфей, уеду, – с тихой грустью сообщает Давид и прыгает в машину.

«Литургия закончилась, любимая. Молодая послушница бьёт в колокола. Пёстрая река мирян, слабо разбавленная чёрной монашеской краской, вытекает из храма. Перед тем как приступить к послушанию, забегу в церковь.

Мила, я так и не узнал, кто ты? Теперь никогда не узнаю, где ты.

Но ты не переживай, я в порядке. Не буду думать о том, что случилось. Не сойду с ума. Обещаю тебе больше никогда не сходить с ума.

Ну вот, не получится побыть одному. Какая-то монахиня идёт впереди меня. У неё твоя походка, любимая.

Слушай, да это же монахиня из моего сна.

Что она здесь делает? Что, можно вот так запросто переселиться из подсознания в монастырь?

Надо бы попросить, пусть покажет руки, на них, наверно, ещё не высох воск.

В храме выключен свет. Последние свечи несут караул в уютно-тёмном пространстве.

Монахиня ловкими движениями протирает иконы. Она так неспешна и методична. Ещё бы, любимая, чего ей бояться, гражданке ночных кошмаров?

Мила, скажи, ты в раю?..»

Едва слышные шаги монахини не нарушают тишину. Она проходит мимо. На какую-то секунду мы цепляемся взглядами. Она как будто ударилась о невидимую стену, теперь пытается сохранить равновесие.

«Мила, почему она так похожа на тебя?

У неё твои глаза и губы.

Кто-то говорил мне, что нельзя проливать кровь в храме.

Выбегаю на улицу, прикрыв лицо руками. Кровь хлещет из носа, как в детстве. Иногда только врач мог остановить. Так, надо Давиду звонить, сказать, что дела плохи. В последний раз такое было на экзамене по биологии.

Любимая, я обещал. Всё хорошо. Сосуд лопнул, сейчас пройдёт».

Мимо прошла девушка с корзиной, полной просфор. Она спокойна. За ней бежит мальчик лет девяти.

Отдельные людские фигурки движутся в пространстве оглушительного грохота, ходят себе как ни в чём не бывало.

Небо упало на землю, и рухнули все дома. Воздух пахнет железом. Неужели никто не видит и не чувствует всего этого?

– Помнишь тот вечер? Тогда кровь была у меня.

Это голос Милы. Он успокаивает природу.

Перед этим голосом смиряется ветер.

Мила ставит на паузу мой апокалипсис.

– Ты слышишь меня? – кричу, уткнувшись лбом в сырую землю.

– Я всегда тебя слышу.

Оборачиваюсь, пространство тянется за взглядом, опаздывает в скорости на несколько секунд. Размытая фигура в чёрном приближается, гладит меня

по голове, что-то говорит. Слова тают в воздухе, прежде чем я понимаю их значение.

– Я знала, что ты придёшь. Старец из Псково-Печерского монастыря говорил. Прости, пожалуйста.

«Господи, если это сон, продли его ненадолго».

– Это не ты. Я был на похоронах. Видел тебя.

– Не меня. – Она опускается на колени, рукавом стирает кровь с моего подбородка. – Слава Богу, кровь остановилась.

Прижимаю к себе маленькую фигурку в чёрном.

– Ты пахнешь пасхальной службой.

– Встань. Нам нужно уйти. Сейчас соберётся народ, что мы им скажем.

Моя Мила. Вот только стала совсем невесомой. Обнимая, можно все косточки прощупать. Волосы коротко подстрижены. Глаза другие. В прежних не было столько боли.

Ядовитый туман заполняет все мои внутренности.

Пространство меняется, тасуется как колода карт. Тропинка вмиг зарастает высокой травой. Монастырь убегает от нас, остаётся сзади. Перед глазами вырастают холмы-исполины. Нет никого в пределах видимости. Как мы успели так быстро уйти от людей?

Останавливаемся. Просто у меня не получается дышать, что-то мешает, будто жгутом перетянули грудную клетку.

Тихо. Как же тихо.

– Ты не исчезнешь?

Не могу назвать имя.

– Нет.

На нас больше не действуют законы пространства и времени. Сидим в высокой траве. Чувствую себя полным ничтожеством, потому что плачу как девчонка.

Сейчас нельзя ничего говорить. Вот только обниму, пока не исчезла.

Падаем в траву. Мила совсем крошечная, чувствую, как вздрагивает её тело.

Не могу посмотреть в глаза. Лучше так, утопить лицо в волосах, дышать пасхальной службой.

– Тогда, у твоего дома, ты так и не спросил, что случилось...

– Ты жива или это я умер? Как мы можем говорить. Может, я снова сошёл с ума.

– Такой был уговор. Ещё до встречи с тобой. Уговор, что однажды придётся исчезнуть, правдоподобно, чтобы ни у кого не было вопросов.

А потом я решила уволиться, не могла больше делать свою работу, и всё осложнилось. Ты же знаешь, случайно никто не умирает, особенно неумовимые злодеи. Они насилуют, грабят, убивают, но не попадают. Либо деньги, либо связи. И вот тогда приходят такие, как я. Вливаются в доверие, восстанавливают справедливость...

– Я не понимаю.

– Семь человек убила лично, ещё двенадцать подвела к могиле, только другие спустили курок. А потом сказала: ухожу. Всё было довольно прозаично. Мне дали по лицу и выбросили у твоего дома. Не в лесу, не за городом... Забыли на какое-то время. Я ещё думала, что это было официальное увольнение. Долго не было ни звонков, ни встреч, но, прежде чем отпустить, они нашли меня и дали последнее задание. Говорили, если выполню, уйду на отдых. Как только очередной человек «случайно» умер, предложили на выбор: исчезнуть или самой умереть. Папе с мамой пришлось город сме-

нить. Артём с ними. У меня новое имя, новая биография. Ничего не оставили – они мастера уничтожать прошлое.

Прости. Артём – мой сын – это единственная правда. Нет, ещё письмо из Доминиканы – тоже правда. Теперь я не могу вернуться и жить как ни в чём не бывало. Найдут и убьют.

Знаешь, как я ненавижу себя? Хочу мучить своё тело, тяжести таскать, питаться сухарями, спать несколько часов за ночь. Хочу, чтобы Тот, кто у вас, писателей, с заглавной буквы, простил. Я читала, что он и не таких тварей прощал... У меня есть шанс. Но для начала вырежу себя из этого мира, нас с тобой вырежу.

Они разрешили встречаться с Артёмом один раз в месяц. Сразу после встречи страшно унываю, потом считаю дни. Когда остаётся неделя до новой встречи, начинаю сходить с ума – время медленно ползёт.

Артём ненавидит меня. А что сказать ему: «Сынок, лучше живая в монастыре, чем мёртвая за пределами»?

Послышался шелест травы. Приглушённая женская речь окрашена в тревожные тона.

Отпустил Милу. Больно. Как будто кусок плоти оторвал от себя.

– Подожди, я сейчас, – побежала в сторону монастырских стен.

Не оборачиваюсь – вдруг исчезнет... Нет, всё хорошо, возвращается.

– Ушли?

– Переживают. Страшно представить, что они подумали.

Мила присела напротив. Вид у неё как у врача после неудачной операции. Сейчас сообщит что-то страшное.

– Тебе надо уходить.

– Не знаю, куда идти.

– Я знаю. Ты вернёшься в город, встретишь хорошую девушку, женишься. Будешь лучшим в мире папой. Школьные сочинения твоих детей будут отправлять на конкурсы. Жена будет любить тебя сильно, как я. У тебя будет нормальная жизнь. Зачем тебе кающаяся шлюха-убийца?

Голос Милы пробирается сквозь плач, не даёт заглушить себя.

– Только не рассказывай обо мне никому, даже Давиду. Обещаешь?

– Да.

– Люблю твою будущую жену и тебя... сильно...

Хрупкая фигурка Милы постепенно удаляется. Она идёт неслышно. Трава бесшумно гнётся под ногами. Она исчезает из виду, ни разу не обернувшись.

Ствол огромного тополя держит мою спину, потерявшую позвоночник. Долго оставаться здесь нельзя. Нужно отнести своё тело куда-нибудь и постараться выжить.

Где-то в районе солнечного сплетения появляется приятное тепло – это осознание, что Мила жива. Тепло растекается по телу как лава, выжигает накопившуюся тревогу, превращает в пепел всё, что мешает дышать.

Отдельные фрагменты окружающей реальности собираются в различные пазлы. Монастырь и холмы несколько раз меняются местами, как будто не могут определиться, где им лучше стоять.

Нахожу себя на скамейке. Как дошёл, не помню.

Голос Юльки возвращает в реальность:

– Спасибо, что не взял деньги за рецензию. Видел где-нибудь ещё столько звёзд?

Присела рядом.
Теперь понятно, кто автор романа.
– Стемнело... Вроде недавно было утро.
– Ты давно сидишь здесь. Мила заперлась в часовенке, до утра можно не ждать. В последнее время часто так делает.
– Ты знала.
Кивает. Не смотрит в глаза. Затем спокойно, на одной ноте:
– Не знаю, зачем она так поступила, но раз прячется, значит, есть причина. Дура я, полезла не в своё дело. Решила, что ты должен знать. На исповеди рассказала, теперь несу епитимию – 500 поклонов после Вечернего пра-вила в течение месяца. Что будешь делать?
– Не знаю.
Какое-то время сидим молча.
– Прости.
– С лопатой и гравировкой ты здорово придумала. Спасибо.
Снова кивает.
– Как узнала, сразу стала намекать.
– Почему прямо не сказала?
– Боялась.
Значит, письмо на «электронку» тоже она отправила.
Юля спокойна, как эта ночь, как прочные монастырские стены, пропи-таные молитвой. Как она может бояться?
– Юль, за теми холмами что? Деревня? Пустыня?
– Там заповедная зона, чуть дальше – подворье мужского монастыря. Пасека, скотный двор.
– Так близко от женского?
– На машине – только в объезд, большой крюк приходится давать. Пеш-ком напрямую часа четыре идти. Ты куда?
– Мне надо идти. Пожалуйста, позвони Давиду завтра, скажи, что у меня телефон разрядился, ещё скажи, чтобы он не приезжал. Сам приеду чуть позже...
– Подожди..
Забегала в столовую, вынесла небольшой фонарик.
– От тополя метров триста в сторону сарая, за ним столб с дощечкой – это первый указатель, по пути ещё будут указатели, но главный ориентир – меловая тропа. Всё время прямо. Возьми мои чётки, если бесы будут доку-чать, читай «Богородице Дево, радуйся...»

15

Говорят, в раю нет времени. Вот и я не помню, как прошёл по белой дороге в монастырь. Помню узелки на чётках, звёздное небо и ясное ощущение, что кто-то невидимый идёт за мной. Если упаду – поможет встать.

Среди ночи постучал в ворота. Никто не открыл. Пришлось ждать до утра. Под утро провалился в непродолжительный сон. Разбудил голос монаха:

– Кушать хочешь, брат?
– Нет. Пить. Можно воды?
– Вон видишь канистру? – Указал пальцем на огромный железный чан возле храма. – Не проливай мимо рта – вода святая. Что на футболке напи-сано?

С умным видом осмотрел незнакомый набор слов.

– Английский. Знаю слов двадцать, но их нет в этой надписи, – честно признался.

– Ладно. С какой целью?

– Не знаю, куда идти.

– Ну и хорошо. Останься на сутки. Может, определишься.

– Меня Матфей зовут, – протянул руку и тут же убрал: с монахами так не здороваются, вроде.

Добрые глаза у него. Как у папы.

– Игумен Марк, – рассмеялся монах, – сейчас попрошу, чтобы тебя проводили в келью.

– Что смешного?

– Марк, Матфей... да так, не обращай внимания.

Наверное, это у них такой юмор монастырский.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«В тот день выдёргивал сорняки возле курятника. Марк после работы угостил халвой. Вместе пили чай. Потом была первая исповедь. Подошёл формально, не собирался говорить ничего, думал, не готов. Но как только голову накрыли епитрахилью – уже не мог остановиться, исповедовался за всю жизнь. Не знаю, как долго это продолжалось, но потом без помощи Марка не мог подняться с колен.

Боль окончательно не прошла, но дышать стало легче.

Решил для себя, что через десять дней уйду. Потом отсчитал ещё десять и наконец понял: хочу остаться. Неделю назад принял монашество. Представляешь, мой постриг был в день памяти Петра и Февронии.

Давид говорит, что я дурак (вижу, как ты улыбаешься).

Мама с папой обрадовались.

В моей келье не так просторно, как в том доме, где мы познакомились, но жить можно.

У меня предложение: давай кто первый окажется Там, терпеливо подождёт другого и проведёт экскурсию (ты опять улыбнулась).

Год прошёл с нашей последней встречи. Видишь, я не терял времени даром, написал для тебя эту книгу. Когда захочешь поговорить со мной – открой её и читай с любого места.

Молюсь о тебе.

Матфей».



**Александр
ДЕМЧЕНКО**

ДВЕ ГРАНИ ВЕЛИКОГО НАСЛЕДИЯ



*Портрет А.С. Пушкина.
Е.И. Гейтман. 1822*

Два столетия назад, во второй половине 1810-х годов, на глазах изумлённой читательской аудитории России стремительно произрастало уникальное явление – юное поэтическое светило, именуемое Александром Пушкиным. И когда после череды превосходных стихотворений в 1820 году была опубликована поэма «Руслан и Людмила», стало совершенно очевидным, что на небосклоне отечественной литературы зажглась звезда первой величины, сравнимая с лучшим, что дарила миру Западная Европа.

В эти первые годы своего творческого восхождения Пушкин по преимуществу пребывал в пространстве того художественного феномена, который можно обозначить через такие знаменитые строки, как «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» и «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

И в самом деле, его поэзия принесла с собой исключительно свежий взгляд на мир, что нашло отражение в особой лёгкости – лёгкости жизнеощущения, лёгкости общего тона, лёгкости самого поэтического пера.

Была достигнута недоступная предшествующей отечественной словесности способность высказываться в стихах необычайно живо и непосредственно, максимально используя выразительность естественной разговорной речи. Пушкин вошёл в русскую литературу именно с этим бесподобным умением свободно и легко говорить на любые темы, великолепно передавая через слово интонацию и смысловую окраску.

*Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.*

(«Осень»)

-
- Александр Иванович Демченко – профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, профессор Саратовского государственного университета, Саратовского государственного социально-экономического университета, Оренбургского государственного университета искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Член Союза композиторов РФ, Союза журналистов РФ. Заслуженный деятель искусств РФ. Заслуженный деятель науки и образования. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее учебно-методическое пособие. Обладатель Золотой медали В.И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки и Почётного звания «Основатель научной школы». Лауреат Международной премии им. Н. Рериха. Почётный гражданин города Саратова.

«Ох, лето красное!..» – об этой способности русского человека «*припечатать*» словом говорил Н. В. Гоголь. И говорил, конечно же, в опоре на речевую практику произведений Пушкина, у которого учился литературному мастерству и в общении с которым прошёл свою главную «художественную школу».

В его «Мёртвых душах» читаем на этот счёт: «*Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдёт оно ему в род и потомство... Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово*».

Это о Пушкине! Его справедливо считают создателем нашего литературного языка. Он сумел свести воедино наиболее жизнеспособные элементы предшествующей русской письменности и живой разговорной речи разных слоёв русского общества своего времени, а также необходимые заимствования из других языков.

Ещё раз дадим слово Гоголю, который сказал о своём старшем собрате по искусству: «*в нём... заключилось всё богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех... раздвинул ему границы и более показал всё его пространство*».

Пушкинская лексика была и остаётся основой русского литературного языка. Поэтому не удивителен факт появления такого издания, как «Словарь языка Пушкина» (М., 1956–1961): четыре чрезвычайно объёмистых тома (каждый – около и свыше тысячи страниц), с извлечениями из пушкинских текстов на каждое слово и с его кратким объяснением.

Впервые во всём блеске и во всей полноте пушкинское слово заявило о себе в поэме «Руслан и Людмила». Эта чудесная сказка при всей своей масштабности прочитывается на одном дыхании, что происходит благодаря «*легкокрылости*» (с этим пушкинским речением мы ещё встретимся), которая поддержана поразительной непринуждённостью повествования, излагаемого в свободной разговорной манере, только разговор этот облечён в ритм и рифму.

Лёгкость тона нередко переходит здесь в игривость, в чём признаётся и сам автор, говоря о своей поэме – «*мой труд игривый*», и даже называя её так: «*мой лёгкий вздор*». Всюду и во всём, как это вообще свойственно Пушкину, проглядывает его собственная натура, натура человека необычайно живого, общительного, добродушно насмешливого.

Роман в стихах «Евгений Онегин» вслед за В. Г. Белинским называют энциклопедией русской жизни, но это и энциклопедия русского языка, который приобрёл в творчестве Пушкина законченную гибкость и естественность. При всех перипетиях (несостоявшаяся любовь и несложившаяся судьба трёх основных персонажей – Онегина, Татьяны, Ленского) от романа веет жизнелюбием, лёгкостью, даже игривостью.

Всё здесь безусловно серьёзнее, чем в «Руслане и Людмиле» (вплоть до сгущённого драматизма), а повествование переносится из достопамятных времён в пушкинскую эпоху, но выдержано оно в похожей тональности. Как было это с «Русланом и Людмилой», так и в отношении «Евгения Онегина» даётся примечательная автохарактеристика:

*...собрание пёстрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, лёгких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.*

Игривость исходит именно от самого автора, а он здесь, пожалуй, главный герой, о чём говорит огромный удельный вес всякого рода отступлений и всевозможных комментариев. Вот поэт, к примеру, подводит читателей к появлению Онегина перед Татьяной (после получения от неё письма-признания). И вместо того, чтобы обрисовать эту встречу, делает неожиданный реверанс.

*Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять, и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.*

Именно такую манеру, которую мы находим в двух названных созданиях поэта, очевидно, и надо признать определяющей для его творчества.

Что же касается романа в стихах, то здесь лёгкости тона по-своему служит онегинская строфа. Как известно, она была введена Пушкиным специально для «Евгения Онегина» – отсюда и данное ей обозначение. Строфа как бы порхающая, «разговаривающая» с обаятельной светской непринуждённостью.

И это тем более удивительно, что, взятая сама по себе, она отличается исключительной сложностью. Составляющие её четырнадцать строк рифмуются в строго определённой последовательности: *a b a b c c d d e f f e g g* – курсивом выделены так называемые женские рифмы (с ударением на предпоследнем слоге), остальные мужские (с ударением на последнем слоге).

Строфа имеет чёткую композиционную структуру: первое четверостишие задаёт тему, второе развивает её, третье – кульминация, последнее двестишие – завершающее резюме. Так складывается самая ёмкая форма строфы в русской поэзии. В последующем она употреблялась неоднократно (начиная с лермонтовской поэмы «Тамбовская казначейша»).

И при всей внутренней сложности онегинская строфа поистине «легкокрылая», звонкая, светоносная. Таково и творчество Пушкина в целом. Оно напоминает айсберг: лёгкость, простота, доступность его «надводной» части и сложность, многомерность, чрезвычайно содержательная насыщенность глубинной основы.

Выше неоднократно звучала мысль о шутливости тона, к которой был так склонен поэт. Гоголь в одном из писем уверял, что Пушкин вообще «был охотник до смеха». И в своём творчестве он являл чудесный, неистощимый дар юмора и остроумия. Искры весёлости он часто высекает путём сопоставления высокого, патетического с обыденным, приземлённым.

Вот две вариации на близкий мотив. В своей первой поэме «героико-трагедийные» размышления Людмилы, похищенной Черномором, автор подытоживает совершенно неожиданной концовкой:

*Вдали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле?
О ты, чья гибельная страсть
Меня терзает и лелеет,
Мне не страшна злодея власть:
Людмила умереть умеет!
Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров –
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала – и стала кушать...*

Во второй по счёту маленькой трагедии Сальери восторгается только что прослушанной музыкой Моцарта.

Сальери

*Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.*

Моцарт

*Ба! право? может быть...
Но божество моё проголодалось.*

Сталкивая серьёзное с комическим, Пушкин не боится риска, как бы утверждая тем самым, что всё в мире относительно, и чувство юмора, в конце концов, спасательный круг в волнах жизни. В стихотворении «Краёв чужих неопытный любитель...» он делится серьёзными раздумьями о том, что его не устраивает в России. И вдруг в конце возникает неожиданный зигзаг:

*Краёв чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моём
Где верный ум, где гений мы найдём?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина – не с холодной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринуждённый,
Блистательный, весёлый, просвещённый?
С кем можно быть не холодным, не пустым?
Отечество почти я ненавижу –
Но я вчера Голицыну увидел
И примирён с отечеством моим.*

Как понимать мгновенную перемену: это ирония или серьёзные слова о встрече с человеком, в котором есть всё, чего не доставало прежде; либо третий вариант – идущий от женщины импульс, заставляющий встрепенуться каким-то сторонам души? Вероятнее всего – третий.

Н. М. Карамзин писал тогда П. А. Вяземскому, что Пушкин «смертельно влюбился в Голицыну и теперь уже проводит у неё вечера». А княгиня Е. И. Голицына, высокообразованная хозяйка великосветского салона, всячески подчёркивала свой патриотизм. И вот результат: «Отечество почти я ненавижу –/Но я вчера Голицыну увидел/И примирён с отечеством моим».

Всё сказанное так или иначе было связано в основном с преломлением молодой поры жизни. Возможно, поэт и прав, когда побуждает сподна отдать дань молодости. Делает он это, справедливо предрекая своему петербургскому приятелю перспективу неизбежного увядания:

*Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье,
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье!*

*До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!*

(«Стансы Толстому»)

«Будь молод в юности твоей!» – в этой максиме выражена несомненная истина неповторимости и невозвратимости каждой стадии человеческой жизни. И примечательно, что дважды повторяется слово *легкокрылый*, столь важное для анакреонтики раннего Пушкина. (Как помним, анакреонтической называют поэзию, посвящённую наслаждению радостями бытия, – по имени древнегреческого поэта Анакреонта, который первым стал широко культивировать подобную тематику.)

В широком смысле вакхическое начало у Пушкина – это упоение жизнью, пьянящий восторг перед нею. Тогда поэт бурлит весёлостью, жаждой радостей и усад, пишет шумно, горячо, извергая настоящий фейерверк блеска, шуток и остроумия. Не это ли жаркое биение молодого пульса имел в виду Ф.И. Тютчев, отзываясь на день смерти Пушкина:

*Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет!*

(«29 января 1837»)

Самого знаменитого из французских королей, Людовика XIV, именовали *король-солнце*. О Пушкине можно сказать: *поэт-солнце*. И потому, что он верховное светило в большом и славном сонме планет отечественной словесности (о нём издавна говорят: «*солнце русской поэзии*»). И потому, что свет, вера в добро, в конечное торжество справедливости являлись безусловной доминантой его творчества.

В чём-то это шло от идеалов эпохи Просвещения и высокой классики предшествующего времени. Поэтому у Пушкина могли иногда появляться речения, выдержанные в духе веймарского классицизма Гёте и Шиллера:

*Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво...*

(«19 октября»)

Но в этих просветительских идеалах поэт акцентировал романтическую окрашенность, придавая им лучезарную окрылённость.

*Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!*

(«Вакхическая песня»)

Пушкинское жизнелюбие чаще всего очень конкретно и совершенно осязаемо в своём чувственно-реальном выражении. Страстная жажда жизни, радостное упоение ею выливались временами в горячий энтузиазм. Благодатную почву для себя этот энтузиазм находил в знаменательных событиях истории России.

В пушкинском сознании они связывались главным образом с фигурой Петра I, с его судьбоносными для страны помыслами и деяниями. Своё законченное воплощение эта тема нашла в поэмах «Полтава» и «Медный всадник».

Кульминацией первой поэмы становится описание Полтавской битвы. Хотя скорее это не описание, а вдохновенное живописание – зримо и осязаемо, в красках и звуках. Причём живописует поэт как непосредственный очевидец давнего события. И с каким знанием военного дела! Пожалуй, нет в мировой литературе более блистательно написанной батальной картины:

*Горит восток зарёю новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сожмули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.*

<...>

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окружённый,
Выходит Пётр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как божия гроза.

<...>

И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскалённым,
Стеной живою отражённым,
Над нами строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сишбаясь, рубятся плеча.
Бросая груды тел на груды,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шиняют.
Швед, русский – колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон

<...>

Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Ещё напор – и враг бежит...

Вряд ли кто-нибудь лучше Пушкина умел радоваться успехам России («Ура! Мы ломим; гнутся шведы»). Ликующий, победоносный тон подчёркнут использованием сильных акцентов четырёхстопного ямба («О славный час! О славный вид!»).

Запечатлённый в «Полтаве» энтузиазм, вызванный победами русского оружия, сменяется в «Медном всаднике» энтузиазмом созидания. Теперь поэтическая кисть живописует историю Петербурга как главного творения первого русского императора.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко...

<...>

...И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назлом надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твёрдой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

*Прошло сто лет, и юный град,
 Полночных стран краса и диво,
 Из тьмы лесов, из топи блат
 Вознёсся пышно, горделиво;
 Где прежде финский рыболов,
 Печальный пасынок природы,
 Один у низких берегов
 Бросал в неведомые воды
 Свой ветхий невод, ныне там
 По оживлённым берегам
 Громады стройные теснятся
 Дворцов и башен; корабли
 Толпой со всех концов земли
 К богатым пристаням стремятся;
 В гранит оделася Нева;
 Мосты повисли над водами;
 Тёмно-зелёными садами
 Её покрылись острова,
 И перед младшею столицей
 Померкла старая Москва,
 Как перед новою царицей
 Порфиноносная вдова.*

Сплошная хрестоматия, то есть то, что навсегда вошло в «каталог» понятий русского человека. Основано это на безупречной точности мысли в её сопряжении с чрезвычайной рельефностью образа («В Европу прорубить окно... Все флаги в гости будут к нам»).

Такой же восторг испытывал Пушкин перед художественным талантом и творческим вдохновением. Он прекрасно знал, что это такое. Достаточно вспомнить феномен «болдинской осени», когда менее чем за три месяца (с начала сентября до конца ноября 1830 года) им было создано 50 произведений разных жанров: написав последние главы «Евгения Онегина», он принимается за «Повести Белкина» («Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка») и маленькие трагедии («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы»), затем следуют «Домик в Коломне», «История села Горюхина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» и т. д.

Во всех проявлениях познав творческое вдохновение, Пушкин оставил нам бесценный в своей глубине и проникновенности анализ его механизма:

*...И пробуждается поэзия во мне:
 Душа стесняется лирическим волненьем,
 Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
 Излиться наконец свободным проявленьем –
 И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
 Знакомцы давние, плоды мечты моей.*

*И мысли в голове волнуются в отваге,
 И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
 И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
 Минута – и стихи свободно потекут.
 Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
 Но, чу! – матросы вдруг кидаются, ползут
 Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны;
 Громада двинулась и рассекает волны.*

(«Осень»)

Для Пушкина главный источник вдохновения, «вечный двигатель» и самый живительный свет жизни – это любовь. Ради неё он готов на всё.

*О жизни час! лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье –
Пускай умру, но пусть умру любя!*

(«Желание»)

«Пускай умру, но пусть умру любя!» – быть может, сказано в пылу и кому-то покажется «дискуссионным», однако к такой формуле счастья приходит поэт, взвешивая на весах жизни ценности бытия.

Лирическая эмоция в поэзии Пушкина отнюдь не сводилась к чувственным проявлениям. Ведомы ей и порывы к идеальному, что выступает в сопряжении с возвышенной красотой.

Для примера возьмём стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновение»). Его абсолютная музыкальность как нельзя лучше соответствует воссозданию идеала. Оно написано в той форме, которую в музыкальной науке именуют трёхчастной репризой, причём в варианте трёхчастной с динамизированной репризой.

Соблюдены все «стандарты»: три периода (каждый из двух строф), «экспозиционный период» сменяется «контрастно-развивающей серединой», затем следует «динамизированная (подытоживающая) реприза» – именно этой схемой и воспользовался, естественно, М. Глинка в своём знаменитом романсе на эти слова.

«Экспозиция»

*Я помню чудное мгновение:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.*

*В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.*

«Середина»

*Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.*

*В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.*

«Реприза»

*Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.*

*И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.*

«Экспозиция» содержит зерно контраста («В томленьях грусти безнадежной,/ В тревогах шумной суеты...»), которое развивается в «середине» («Шли годы. Бурь порыв мятежный/ Рассеял прежние мечты...»), а «реприза» носит суммирующий характер, так как, помимо возвращения основной настроенности, отрицанию завершающих строк «середины» («Без божества, без вдохновенья,/ Без слёз, без жизни, без любви») отвечает утверждающий склад «коды» стихотворения («И божество, и вдохновенье,/ И жизнь, и слёзы, и любовь»).

Законченно-стройная музыкальная структура этого лирического шедевра подержана соответствующей лексикой: «чудное мгновенье... мимолётное виденье... в томленьях... голос нежный... в упоенье» – обращает на себя внимание мягкость «женских» окончаний с «нье».

Идеальное начало способно подчас вызвать среди самых драматических потрясений чувство нравственного очищения и просветления духа (позже это было сформулировано Достоевским в известной фразе «Красота спасёт мир»).

Другим источником света души неизменно была для поэта природа. В его стихотворных пейзажах поражает органичное соединение точности наблюдения с ярким, красочным живописанием, что делает их подлинными жемчужинами.

Такие пейзажи во множестве разбросаны по страницам «Евгения Онегина» – вместе взятые, они охватывают все времена года. Вспомним один из них, посвящённый весне.

*Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потоплённые луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синяя блещут небеса.
Ещё прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.*

Подлинная живопись словом! И как это постоянно у Пушкина: совершенно конкретно, осязаемо, но вместе с тем наполнено высокой поэзией – поэзией своеобразного, неожиданного видения того, что вроде бы так обыкновенно («Гонимы вешними лучами.../ Ещё прозрачные, леса/ Как будто пухом зеленеют.../ Пчела за данью полевой/ Летит из кельи восковой»). Казалось бы, всё так просто, обычно, но как чудесно преображено изнутри.

Мы с детства привыкли к тому, что нам принесла с собой пушкинская поэзия, и принимаем всё в ней как само собой разумеющееся, подчас не замечая её новизны и великолетия. А ведь когда-то этого не существовало. И не было до Пушкина в русской литературе столь одухотворённого чувства природы.

Он ощущал её как живое существо, а её проявления как человеческие. Отсюда его поразительные метафоры: «Улыбкой ясною природа/ Сквозь сон встречает утро года» или «Уж небо осенью дышало...». Поэтому пейзаж у него так естественно резонирует состояниям и настроениям человека, как бы аккомпанируя им.

Выше говорилось преимущественно о юношеском и светозарном в наследии Александра Сергеевича Пушкина. Но величайший русский поэт в своём постижении мира был всеохватен, и другая грань его поэзии была связана с совсем иным жиз-



Портрет А.С. Пушкина.
Т. Райт. 1837

ненным тоном. Припомним для начала такие строки: «...не мил мне сладкой жизни сон...», «...на всё подвемлю взор угрюмый...», «Дух отрицанья, дух сомненья...»

Винить в этой нерадостной настроенности только человека, пусть даже вечно неудовлетворённую личность байронического типа, невозможно. Очевидно, и в самой жизни было то, что давало почву для «хандры», недовольства и ностальгии по «нездешнему». Отсюда – естественное стремление поэта выявить тёмные стороны существования тех лет, вскрыть его подноготную.

Начинал это «расследование» Пушкин с той среды, в которой вращался больше всего – светское общество. Наиболее полная картина его жизни представлена в романе «Евгений Онегин», и во многом через фигуру Онегина, когда тот отдавал щедрую дань обязанностям «комильфо» (от французского

выражения, означающего соответствие приличиям светской жизни).

Он в юные лета с наслаждением окунулся в атмосферу большого света, в которой чувствовал себя как рыба в воде, поскольку научился –

*...Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С учёным видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнём нежданных эпиграмм.*

По поводу поверхностной образованности дворянства своего времени Пушкин бросает знаменитое: «Мы все учились понемногу/Чему-нибудь и как-нибудь...» Сам он стремится отмежеваться от Онегина, дабы не подумали, «что намарал я свой портрет».

Тем не менее отдельные реплики изобличают порой поразительное сходство автора со своим героем (из только что приведённых строк: «...возбуждать улыбку дам/Огнём нежданных эпиграмм»). Текст романа изобилует такими «саморазоблачениями»:

*Ах! долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный, охладельй,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.*

Разумеется, к жизни «большого света» был причастен не только вымышленный Онегин – в его портрете нередко угадываются черты «автопортрета» самого поэта.

Истинная суть этой внешне блестящей и занимательной круговерти с её ветреностью, пестротой и пустотой становится ясной из слов Татьяны, сказанных ею во время последней встречи с Онегиным, когда она сравнивает свою нынешнюю великосветскую жизнь с жизнью прежней, в сельском уединении:

*А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада*

*Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас...*

Предельно жёсткую оценку «большого света» Пушкин даёт, опасаясь, что его душа, душа поэта, может –

*...Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопов добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчётов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.*

Оценивая русское общество в целом, Пушкин в своём неприятии приходит подчас к крайним выводам. Тогда время своё он называет: «наш гнусный век», а в соотечественниках видит только одно из трёх: «тифан, предатель или узник» («К Вяземскому»).

Поднимаясь мысленным взором к вершине общественно-социальной пирамиды, Пушкин чаще всего находит власть предержавших обуянными своеволием, корыстью, жестокостью. Об этом с особой заострённостью рассказывается в романтической притче «Анчар».

Как гласит примечание самого поэта, анчар – «дерево яда». Дерево страшное – природа «его в день гнева породила», и всё вокруг бежит этого «дерева смерти», но...

*Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,–
И тот послушно в путь потек,
И к утру возвратился с ядом...
<...>*

*Принёс – и ослабел, и лёг
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.*

*А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.*

Пушкин специально обращается здесь к образу восточной деспотии, особенно откровенной в своём бездушии к человеку, чтобы подчеркнуть: нет предела негуманности власти, морального закона для неё не существует, жизнь человеческая для неё – ничто.

Более того, поэт полагает, что власть остаётся преступной даже тогда, когда она хотела бы быть «благой». Примером тому он приводит русского царя, давшего имя его трагедии «Борис Годунов».

Здесь во всей очевидности вскрыт механизм власти, пути её достижения, сложные взаимоотношения верховного правителя с ближайшим окружением и народом. Пройдя все ступени политической карьеры, Борис приходит к циничному выводу:

*Милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо;
Грабь и казни – тебе не будет хуже...*

Как и все передовые умы своего времени, главное зло России Пушкин видел в крепостничестве. Двадцатилетний Пушкин в стихотворении «Деревня» даёт полный очерк социального состояния страны. Стихотворение написано в любимом им Михайловском, родовом имении Пушкиных на Псковщине, и потому открывается идиллической картиной:

*Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льётся дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.*

Тем неожиданнее на фоне этого «довольства» встаёт картина прямо противоположная:

*Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.
Не видя слёз, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь Барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
С поникшею главой, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.*

В этих страстных зываниях зафиксировано верное ощущение не скорого ещё избавления от крепостничества (оно будет отменено только через четыре с лишним десятилетия). Верным был и исторический прогноз, что произойдёт это «по манию царя», то есть по указу самодержца.

В стихотворении «Деревня» высказано то, чем жили и о чём мечтали лучшие современники поэта – декабристы. И по его творчеству можно в подробностях проследить всю траекторию этого первого в России революционного движения.

Когда только ещё зарождалась его идея, тогда и у пятнадцатилетнего Пушкина появился пафос свободолобия. В стихотворении «Лицинию», обращаясь к истории Древнего Рима, склонившегося перед тиранией императорской власти, он горячо

прокламирует свою собственную позицию: «...я рабство ненавижу... кипит в груди свобода».

Два года спустя юный поэт создаёт оду «Вольность», где идея антидеспотизма выражена с исключительной силой. В этом стихотворении автор вначале обращается к самому себе с призывом весь свой пыл направить на гражданские идеалы (*Цитера* – одно из имён богини любви Афродиты):

*Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая невица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лифу...
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.*

Затем автор с пламенным темпераментом обрушивается на этот «порок». Формальные адресаты его яростных инвектив – уже сошедшие с исторической сцены французский король Людовик XVI и русский император Павел I. Но объективно пафос поэта направлен против современной ему самодержавной власти, о преступлениях которой он говорит без малейших околичностей:

*Увы! куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть...*

В качестве одной из кульминаций звучит открытый призыв к революционному действию:

*Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы!*

Для российского менталитета тех времён – радикализм просто невероятный, за что поэт закономерно заплатил своей первой ссылкой. Столь же закономерен и тот факт, что стихотворение это было опубликовано впервые только в годы революции 1905–1907 годов, но после своего создания широко распространилось в списках.

К одическому стилю Пушкин неоднократно прибегал для выражения своих гражданственных устремлений и впоследствии. Так, под впечатлением казни пяти декабристов и ссылки многих других на каторгу в Сибирь он пишет программное стихотворение «Пророк», утверждая высокое призвание поэта через обобщённый библейский образ проповедника правды и беспощадного обличителя беззаконий власти.

*И Бога глас ко мне возвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».*

О миссии поэта он вещает здесь в торжественно-архаических речениях, придающих мысли особую приподнятость: «глас... возвал... и виждь, и внемли...» – то есть всматривайся и вслушивайся в жизнь мира; «глаголом» – в значении «словом».

Находясь в непосредственном соприкосновении с декабристским движением, Пушкин активно утверждал веру в его идеалы:

*Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!*

(«К Чаадаеву»)

Эти вдохновенные слова, несомненно, дают самый яркий и концентрированный художественный образ декабристского движения. Веру в праведность восстания декабристов поэт сохранил и после его поражения.

*Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.*

(«Во глубине сибирских руд...»)

Пушкину удалось выразить здесь определяющее общественное настроение той поры. Вот почему его послание, пронизанное верой в неизбежное торжество борьбы, разошлось в огромном количестве списков.

Попутно имеет смысл напомнить: сами декабристы признавали, что в распространении свободолюбия в России более чем что-либо сыграло свою роль творчество Пушкина – в первую очередь, имелись в виду называвшиеся выше стихотворения «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву».

Убеждённость в правоте декабристских идей поэт сохранил навсегда. В одном из самых последних стихотворений («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...») он с гордостью говорит: «...в мой жестокий век восславил я Свободу», подтверждая неизменный для себя дух бунтарства («вознесся... главою непокорной...»).

Однако Пушкин не был бы Пушкиным, если бы стремление к свободе было выражено у него просто и однозначно. При всём своём вольнолюбию он признаёт неизбежность компромиссов. Да, поэт не только сочувствовал движению декабристов, но и всемерно поддерживал его, силой своего слова убеждал в необходимости самой решительной борьбы с самодержавием, утверждал мысль о возможности избавления от крепостничества («Россия вспрянет ото сна...»).

Однако, с другой стороны, историческое чутьё подсказывало Александру Сергеевичу, насколько неосуществима грандиозная идеалистическая затея декабристов, насколько иллюзорны в такой стране чаяния о свободе и всеобщем благе. Вот что навело на поэта сильнейший пессимизм в его видении будущего России.

И что поразительно: тот же пятнадцатилетний отрок, который восклицал: «Я рабство ненавижу... кипит в груди свобода», пишет тогда же полное безнадёжности стихотворение «Тень Фонвизина». Сфантазировав появление призрака выдающегося сатирика, некогда обличавшего пороки с целью их исправления, юный поэт обнаруживает, что всё осталось так, как было во времена оные. Прослушивается также и более существенная, весьма неутешительная мысль о неискоренимости пороков. В контексте подобной настроенности становится понятным появление стихотворения «Свободы сеятель...»

*Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощённые бразды
Бросал живительное семя –
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...*

*Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремущими да бич.*

Это сказано ещё на взлёте движения декабристов, за два с лишним года до поражения их восстания. И пусть не раз ещё у Пушкина вспыхнет пафос непокорства, не раз ещё заявит о себе горячая жажда коренного переустройства страны, но параллельно этому вновь и вновь будут возникать мысли о бесплодности порывов к свободе.

Тем более – ценой стольких жертв в своей жизни, жертв ради неосуществимого. И тем более – в России, где так чревато пробуждать к социальной активности большие людские массы. Чревато неукротимой яростью, реками крови и польханием пожарищ. Как сказано в романе «Капитанская дочка»: *«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»*

На завершающем этапе творческой траектории поэт пришёл к выверенному, сбалансированному подходу ко многим коренным вопросам существования. В том числе по столь волновавшей его всегда проблеме *поэт и толпа* (воспользуюсь этим ходом тогда выражением).

Прежде у него на равных имели место две крайние позиции: с одной стороны, служение обществу до полного саморастворения, с другой – высокомерно-презрительное отчуждение от «черни». Теперь поэт определяет для себя своего рода «золотую середину».

Состоит она, во-первых, в подчёркнутой объективности отношения к окружающему – в трагедии «Борис Годунов» это сформулировано в известных словах летописца Пимена: *«Добру и злу внимая равнодушно, / Не ведая ни жалости, ни гнева...»*

И во-вторых, эта «золотая середина» состоит в утверждении независимости от поветрий модных мнений, от преходящей молвы, от поверхностных суждений современников.

*Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдёт минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм.*

*Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.*

*Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд <...>*

(«Поэту»)

Сказанное здесь следует признать оптимальной и в то же время высшей формулой существования творящего духа: твёрдо и неуклонно идти своим путём, находя удовлетворение в самом себе и в собственных трудах, в трезвой самооценке, а не в похвале окружающих.

И отнюдь не случайно стихотворение это написано в форме сонета – его «рафинированная» структура как бы призвана подчеркнуть, что выраженная в нём мысль относится к избранным.

Такое окончательно сложившееся суждение о самосознании поэта и его взаимоотношениях с окружением Пушкин подтвердил в одном из самых последних произведений, где отстаивается независимость творца от воздействий извне и расценивается бессмысленной трата душевных сил на сведение счетов с нападками и непониманием.

*Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.*

(«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»)

Пушкина посещали самые глубокие раздумья о перипетиях и метаморфозах существования. К примеру, о необъяснимых превращениях типа *любовь–ненависть, жизнь–смерть*. Подобные размышления находим в эпизоде дуэли из «Евгения Онегина»:

*Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапёзу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...*

Как бы всматриваясь вместе с нами в остывающие черты Ленского, поэт задаётся неразрешимым вопросом:

*Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь, –
Теперь, как в доме опустелом,
Всё в нём и тихо, и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрты ставни, окна мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.*

Итак, бесподобный, гениальный, великий, человек-эпоха... но тем не менее *человек. Смертный* человек. Пушкин хорошо и подчас очень остро сознавал это. Уже с конца 1820-х годов, то есть за семь-восемь лет до кончины, в его стихах начинается сквозить тихая грусть, элегическая усталость, появляются признаки утомления от жизни, возникают мысли о смерти (а ведь ему всего тридцать!).

*Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести...*

(«Брожу ли я вдоль улиц...»)

Соответствующий колорит приобретает и любимая поэтом картина осени.

*Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листья с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает.
Журча ещё бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл.*

<...>

*Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса...*

(«Осень»)

К слову, в последних из приведённых строк Пушкин прогнозировал примечательную грань «осеннего» жизнеощущения «серебряного века». Так начиналось нечто вроде старения, одним из признаков которого является нарастающее неприятие «грешной» молодости.

*Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
<...>
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнующее море.
<...>
И может быть – на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.*

(«Элегия»)

Мотивы угасания, заката вызывают разительные перемены жизненных ориентиров. Здесь и усиливающееся раздражение по поводу бесконечной и бессмысленной житейской толчеи – как-то поэт роняет фразу: «Жизни мышья беготня...» («Стихи, сочинённые во время бессонницы»).

Здесь и довольно неожиданные для Пушкина истовые обращения к Богу, как находим это в стихотворном переложении великопостной молитвы Ефрема Сирина, где *любоначалие* – желание начальствовать, быть главным, а *празднословие* – суетное, пустословие.

*...Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей –
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.*

(«Отцы пустынники...»)

В устах поэта слышались молитвенные взывания – и о чём! Он просит Господа осенить его «смирением» и «целомудрием». И наконец, одно из самых последних стихотворений несёт в себе печаль одиночества, истощения, невостребованности в наиболее притягательной для него теме – теме любви.

*От меня вечер Лейла
Равнодушно уходила.
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».*

(«От меня вечер Лейла...»)

Безжалостная констатация конца, краха – и в этом «равнодушно», и в слове «гробам», завершающем стихотворение.

Поэт погиб в том возрасте, в котором Толстой ещё только приступал к работе над «Войной и миром» – факт вопиющий, и всё-таки сколько бы ни говорили о преждевременном уходе Пушкина из жизни и о далеко не исчерпанном его творческом потенциале, есть определённые основания и для того, чтобы не отвергать версию о достаточно естественном завершении столь краткого пути.

Как свидетельствует пушкинское наследие, он прошёл полный, законченный круг жизни: четверть века интенсивнейших трудов – можно ли большего требовать от человека?

Вышедшее в самом конце прошлого столетия (М., 1994–1997) Полное собрание сочинений А. С. Пушкина в 19 томах (четыре из них в двух книгах) лучше всяких комментариев говорит о титанической работе нашего великого соотечественника и о том, в каком невероятном напряжении интеллекта создавались «легкокрылые» и благоуханные плоды его фантазии.

Сказанное заставляет напомнить мнение Гёте, который утверждал, что творцы искусства обычно умирают, когда чувствуют задачу своей жизни выполненной.

С точки зрения закономерного исхода Пушкина стоит прислушаться и к воспоминаниям его сестры Ольги Сергеевны (в замужестве – Павлицевой), которой мы не можем не доверять. Александр Сергеевич сказал ей в 1836 году на прощанье перед её отъездом: *«Едва ли увидимся когда-нибудь на этом свете, а впрочем, жизнь мне надоела; не поверишь, как надоела! Тоска, тоска! Всё одно и то же, писать не хочется больше, фук не приложишь ни к чему, но... чувствую: недолго мне на земле шататься».*

Вот почему не лишено смысла и встречающееся иногда суждение об истории с последней дуэлью Пушкина: возможно, он, помимо всего прочего, в какой-то степени искал смерти. В любом случае, ему удалось осуществить высказанную в «Евгении Онегине» мысль о предпочтении своевременного ухода из этого мира.

*Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина...*

Почему? Ответ лежит на поверхности: ведь *«дно бокала»* чаще всего горькое и печальное – усталость от жизни, потеря значимых целей, что чаще всего сопровождают хвори и немощь.

Тем не менее, сколько бы ни толковать о естественности и закономерности исхода поэта, смерть его была воспринята как национальная катастрофа. Прощание с Пушкиным вылилось в выражение любви к нему, совершенно небывалое в истории мировой культуры: десятки тысяч людей побывали возле дома в Петербурге, где умер поэт, нескончаемый поток шёл через квартиру мимо гроба.

В те дни было написано стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта», сразу сделавшее его автора знаменитым, и что ещё важнее, – этим произведением молодой поэт непосредственно подхватил у своего великого предшественника эстафету вершинного выявления «золотого века» русской поэзии.

*Погиб Поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жадной мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!..*

Эти пламенные стихи достоверно отмечают отношение России к Пушкину и со всей категоричностью проставляют акценты в отношении явных и тайных убийц поэта. Дантеса, стрелявшего в поэта, Лермонтов обвиняет как варвара-иноплеменника, не способного уразуметь, на какую святыню он посягнул.

*Его убийца хладнокровно
Навёл удар...
<...>
...он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..*

Вот почему основной заряд гневного пафоса и презрения направлен против придворной камарильи.

*Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперёд.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей чёрной кровью
Поэта праведную кровь!*

Совсем иное по тону, но по-своему не менее драгоценное художественное свидетельство кончины поэта оставил В. А. Жуковский – человек, которого Пушкин считал своим учителем и который намного пережил ученика (сопоставим даты их жизни: 1799–1837 и 1783–1852).

И вот Жуковский перед гробом младшего собрата по искусству напряжённо всматривается в лик умершего.

*Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустил. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мёртвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нём – в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нём; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?*

(«Он лежал без движенья...»)

Отрешённо-сосредоточенное восприятие смерти человеком преклонных лет повлекло за собой обращение к величавому античному слогу (в духе гомеровского гекзаметра) – белый стих выражает здесь оголённую мысль.

Никакой аффектации, всё очень просто, сурово, с трезвой аналитичностью и вместе с тем с пронзительно-острым ощущением запредельного, которое так редко являет себя живущим на земле.

О том же вспоминал Жуковский и в письме к отцу Пушкина, и это тоже большая литература:

«Когда все ушли, я сел перед ним и долго смотрел ему в лицо... В эту минуту, можно сказать, я видел самой смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нём и свою и его тайну... Никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нём и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда всё земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина...»



Галина
ШВЕЦОВА

О природе побегов

Для человека, по-настоящему любящего ЛИТЕРАТУРУ, совершенно очевидно, что ОНА – параллельная реальность, практически вторая планета на третьей орбите Солнечной системы, равновеликая Земле, а может, и превосходящая её размерами и многообразием. И населена эта планета не менее плотно, чем наш материальный мир.

Человек читающий нередко знает об обитателях литературной планеты больше, чем о своих родных, не говоря уж о соседях. И обсуждает проблемы, личную жизнь, разные умственные и душевные вывихи литературных персонажей с не меньшим интересом, чем дела своих ближних и дальних. Собственно, занят литературный народ тем же, что и земной: мечется в поисках. Ищут любви, счастья, удачи, выгоды, денег, приключений. Самые выдающиеся жаждут справедливости, веры, правды и смысла. В общем, «кто верит, кто утратил веру, кто насладиться не успел, кто насладился через меру...» И одно из первых мест в этой кутерьме занимают всякого рода побег.

С этого увлекательного занятия начинается наше вхождение в литературное пространство. Ещё не научившись говорить, мы знакомимся со знаменитым беглецом – легкомысленным и самонадеянным Колобком. И потом по мере нашего взросления и освоения мира Литературы наблюдаем бесчисленные побег его обитателей.

Кто только и куда только там не бежит! И причина побега у каждого своя. «Князь Курбский от царского гнева бежал», а крепостная актриса Люба – от барской любви. Бежит из половецкого плена князь Игорь, из кавказского – русские пленники. Неразумные юнцы удирают из родительского дома от деспотизма старших, подобно молодцу, которому хочется своей волюшки, а напарывается он, как и подобает блудному сыну, на Горе-Злочастие. Грозится сбежать на войну Петя Ростов, а Гарун позорно бежит с поля брани. Подаются в мир из монастырей Гришка Отрепьев и Мцыри, а в обратном направлении, в монастырь, устремляется Лиза Калити-

на, спасаясь от грехов мира. Литературные барышни вообще бегут часто и охотно. Кто под венец незнамо с кем, в стужу и метель, как Наташа Ростова и Марья Гавриловна. Кто практически из-под венца, как великая путаница Настасья Филипповна и бесприданница Лариса Огудалова. Бегут, словно сговорились, «лишние люди»: одни – «из неволи душных городов», другие – просто одолеваемые «беспокойством, охотой к перемене мест». Да ещё и надеются умереть «где-нибудь по дороге». Даже детвора – и та туда же, например, чеховские мальчишки.

И это только если наспех вспомнить, и только на Старом Русском материке. А сколько совершается побегов на остальных континентах планеты Литература – не счастье.

Как бы ни были различны причины побегов, природа их всегда одна: спасение от плохого. От хорошего не бегут. Спасаются от одиночества, от неволи, от насилия, от смерти, от греха, от бесчестья, от скуки и пошлости, от запутанных отношений. И даже частенько – парадокс! – от счастья, когда оно представляется хлопотным и трудным делом. (Тут русскому человеку равных нет: как он улепётывает с rendez-vous – не догонишь!)

Не претендуя на какие-либо открытия, могу сказать, что тема побега – одна из основных тем мировой литературы. Особым почётом пользуются побег высшего порядка, не по житейской необходимости, а по внутреннему зову. Часто – от себя. Порой – к себе. И они – самые значимые.

Читателям – почитателям творчества Натальи Леваниной – к таким побегам не привыкать. Примерно каждый пятый из героев её повестей и рассказов, начиная с бесподобнейшего трагикомического старика Семёна из «Побега» и заканчивая нескладным политологом Николой из «Чудобища», спасается этим испытанным средством от личных и общественных кошмаров. Наталья Леванина продолжает славную пушкинскую традицию русской литературы: «Пора, мой друг, пора!

Покая сердце просит). Её герои сбегают от опостылевших обстоятельств и связей в поисках себя и душевного покоя. Их побеги имеют свою типологию. Они бывают женскими спонтанными, когда – непонятно, почему вдруг – поворачиваешь руль машины неизвестно куда и зачем, как Марина в повести «Опять приснился этот сон». Бывают мужские побеги с замыслом: «Давно, усталый раб, замыслил я побег». Так бегут «усталые рабы» Олег («Роман в десяти письмах») и Никола («Чудобище»). Иногда замысел зреет так долго, что непонятно, состоится ли побег, решится ли наконец «кандидат в мужики», институтский преподаватель Степан («Сидящий на земле») улететь на диковинном аэрошлоте «за край холодных, сухих дней». Иной раз не поймёшь, удался тот побег или нет, как в случае с анархисткой и чемпионкой по суете Викой («Бабье лето»). Бывает, что побег поначалу даже и не побег вроде, а ссылка («Случилось ещё не всё», «Машина, лодка и вертолёт»), которая потом оборачивается благом и удачей.

Итак, побег. «Плывём. Куда ж нам плыть?» – наверное, это третий по актуальности вопрос русской жизни и литературы после «Кто виноват?» и «Что делать?». Наталья Леванина на него знает ответ точный: туда, где ты становишься самим собой, где нет суеты, искусственности, морока, где всё «на чистом сливочном масле» (любимое выражение самого автора и кого-то из его персонажей). Для писателя и его героев этим благодатным местом становится земля Галича.

«Галич» – так назвала свою последнюю книгу Наталья Леванина. В этот сборник вошли уже знакомые читателю вещи, а также совсем свежая повесть «Чудобище». Повести и рассказы объединяет одно: их персонажи живут или оказываются в прекрасном лесном крае на Костромщине, где-то совсем близко от старинного городка Галича или в нём самом. Из «Деревенских этюдов» мы узнаём, что галичские места для писательницы – родные и любимые. И она раз за разом приводит сюда своих не очень удачливых и благополучных героев. А куда же отправить для спасения жизни и души своих дорогих недотёп, как не в самое лучшее и надёжное место! Кажется, Наталья и сама вместе со своими персонажами с радостью сбегает в любимый Галич, чтобы выпить живой воды и набраться сил для дальнейшей жизни.

Галич в книге многолик, вовсе не идеализирован и не приукрашен. Это только из каменных мешков северной столицы он кажется Капитолине Сергеевне (из рас-

каза «У райских ворот») благословенным заповедником с лучшим в мире воздухом. Но когда читаешь рассказ, то поневоле думаешь: Боже милостивый, где тут райские ворота? Такое отупение чувств, такие «высокие отношения» между кровной роднёй, что впору узреть врата адские.

Без розовых очков смотрит на тамошние места и журналист Олег, автор писем в никуда («Роман в десяти письмах»). Поначалу встречает его этакая дикая Пошехония, «без удобств, без дорог, да почти что и без народа». Опустевшие деревни и разросшиеся кладбища, вырубаемые леса и беспробудное пьянство оставшихся в живых мужиков, разрушенные церкви и пущенные на дрова «очаги культуры». Но не уничтожимые никаким лихом красотой и щедростью природы и человеческих душ пленяют интеллигента до благоговения и решимости чем-то ради них пожертвовать. Да так припекло, что Олег «сам себя из интеллигентов уволил» и просто слился с этой неказистой, но настоящей, невыдуманной жизнью.

Кстати, будучи трижды (немного перифразируем Ивана Гончарова) интеллигентом – по воспитанию, по мировоззрению и по профессии, – Наталья Леванина тем не менее интеллигентов не очень жалует. Они в её книгах и «сами о себе прескверного мнения». Во всяком случае, учёный-мочёный политолог Никола из «Чудобища» в расхожем определении интеллигенции «совесть нации» слово «совесть» самокритично заменяет полупечатным названием совсем другой субстанции.

В повести «Чудобище» тема побега и тема Галича получили своё полное развитие. Ближе всех к новому произведению Леваниной стоит, конечно, «Роман в десяти письмах». Журналист Олег – родной литературный брат политолога Николы. Оба горожане, «безрукие» гуманистари, не титаны мужественности. Побег от опротивевшей до тошноты городской жизни оба задумывали годами и решились на них только тогда, когда сама эта жизнь их бортанула. Оба получили от благодетелей по домишку в деревне, куда и унесли ноги. Правда, Олегу досталось всё-таки поменьше, хотя сил не хватило выдержать давление социума с его убийственным компотом из амбиций, предпочтений, гламура и менталитета пополам с протекающими потолками, загаженными лифтами, платёжками, выборами и толкотнёй. От описания же того кошмара, в котором жил Никола, просто волосы на голове шевелятся. Автор предельно точен, откровенен и честен до безжалостности, когда рисует фантазмагорически жуткую картину российской жизни. «Хруст и чавка-

ные по городам и весям», где с аппетитом хавают огромные куски распиленной страны, пробирают до костей. И потрясает откровенное бесстыдство вузовского обслуживания сильных мира сего – написание диссертаций для многочисленной шайки «денежных соискателей». «Будто некто с грязным, пакостным воображением взялся до дна вычерпать интеллигентскую лояльность, уже давно перешедшую границы тотального конформизма, и ткнуть этих умников в их банальную продажность и беспринципность». Никто из окружения Николы не уцелел, все до последнего испоганились и развратились. Шёл полным ходом процесс расчеловечивания человека.

Побег Николы – это категорический отказ числиться даже не «рабочим материалом» (это ещё куда ни шло), а товаром на похабном базаре услуг. Это побег во спасение «из места, где повреждение разума и отсутствие собственного достоинства – теперь неременная составляющая». Да-а... Если не знать, что Никола работал в обычном российском институте, можно подумать, что он обрелся в самом мрачном углу тёмных Кашеевых владений. Ан нет – перед нами самая что ни на есть современная реальность. Она даже промаркирована маленькой деталью: перед отъездом из города Никола сдал свою квартиру беженцам с Донбасса. «Все бегут-бегут-бегут...»

«Покалеченный, оболваненный и униженный» Никола оказался в деревне с прозрачным названием Вольгово – созвучно с *волей*, *вольготно*. Костромщина из «Романа в десяти письмах» в «Чудобище» преобразуется в сказочное Берендеево царство: «...там чудеса, там леший бродит», там можно умыться водой от растаявшей Снегурочки, там бесплотная Алина, полувыдуманная мечта Олега,

обретает живой облик Елены, такой прекрасной и премудрой, такой единственной и неповторимой, что даже её сестра-близнец с ней не может сравниться. Мы делаемся свидетелями исцеления Николой души – она становится *целой*, *цельной*.

В новой повести Наталья Леванина уже не хочет говорить о тяготах и немочах родной земли. Она рассказывает нам о любви к ней. Полнота чувства к дорогой стороне поражает. Писательница неутомима в описаниях своего заповедного края. Картины лесов, небес и полей всегда свежи, оригинальны, до физического ощущения красочны и ароматны. И ни разу ни одной фальшивой, пафосной или патетической ноты. Идеальная чистота звучания.

Придирчивый читатель может, конечно, попенять немного автору на то, как она, увлечшись описанием галичской грибной и прочей благодати, историческими экскурсами, рассказами о языковых и религиозных особенностях древних мерян, подзабывает немного о Николе. Но давайте судить книгу по законам её жанра. А жанр автором определён в подзаголовке: *Галичская рапсодия*. Рапсодия – эпическая песнь со свободным построением. Буквально – что хочу, то и пою, презрев строгие законы композиции. Без этих почти научных вкраплений в художественный текст повести не сложился бы образ Галича, за которым стоит вся Россия. Да, она такая – в смешении язычества и христианства, веры и суеверий, греха и праведности, знания и невежества, культуры и дикости. И странно: в этом смешении нет противоречий. Всё цельно.

В книге Натальи Леваниной много и горькой, и радостной правды, любви и надежды на будущее России. Дочитываешь последние страницы, а в душе звучат утешительные евангельские слова: «*Не умерла девица, но спит...*»



**Андрей
МИХАЙЛОВ**

СТРАНА КОМСОМОЛИЯ

(К столетию создания комсомола)

«Страна Комсомолия» — именно так называлась книга полузабытого ныне писателя Сергея Баруздина, написанная к 50-летию ВЛКСМ. В далёком 1968 году мой комсомольский стаж был чуть более года, и в самых смелых фантазиях я не предполагал, что комсомол станет частью моей судьбы. Её лучшей частью. Прежде чем начать рассказ о годах моей комсомольской молодости, кратко изложу предысторию.

Прелетити всех стран, соединяйтесь!
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОМУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
№04389870

Фамилия Михайлов
Имя Андрей
Отчество Станиславович
Год и месяц рождения 1953 сентябрь
Время вступления в ВЛКСМ апрель 1968
Комитет ВЛКСМ политех
нижеского института
в Саратове

19 75 г.

УПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ			
19 <u>75</u> год			
Месяц	Месячный заработок	Сумма взноса	Подпись секретаря
Январь			Z
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь	40р	10к	УПЛАЧЕНО
Июль	40р	10к	УПЛАЧЕНО
Август	40р	10к	УПЛАЧЕНО
Сентябрь	45р	10к	УПЛАЧЕНО
Октябрь	45р	10к	УПЛАЧЕНО
Ноябрь	45р	10к	УПЛАЧЕНО
Декабрь	45р	10к	УПЛАЧЕНО

Я учился в институте, когда начался обмен комсомольских билетов. На билете — изображение орденов, которыми награждён комсомол: три ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, ордена Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. Комсомольский билет оставлен мне на память.

- Андрей Станиславович Михайлов родился в Саратове в 1953 году в семье инженеров-строителей. После окончания стройфака СПИ (ныне СГТУ) работал в крупных проектных организациях и на радиоприборном заводе. Более десяти лет отдал делу охраны окружающей природной среды — сначала в институте «Гипропромсельстрой», а затем в Саратовском городском комитете экологии и в городской администрации. Публиковался в журнале «Волга—XXI век».

После окончания строительного факультета Саратовского политехнического института в августе 1976 года я начал работать инженером в институте «Гипрониигаз», здание которого на углу проспекта Кирова и улицы Чапаева знает каждый саратовец. В отделе сжиженного газа меня определили в состав бригады, возглавляемой молодым энергичным Валерием Сергеевым. В сентябре прошло отчётно-выборное комсомольское собрание, на котором меня избрали в состав комитета комсомола института, а Иру Шувалову переизбрали освобождённым секретарём. Когда собрание закончилось, новый состав комитета собрал секретарь парткома «Гипрониигазы» Константин Феофилактович Фёдоров – в годы Великой Отечественной войны лётчик-истребитель, совершивший не одну сотню боевых вылетов, заместитель командира знаменитого советско-французского авиаполка «Нормандия–Неман».

В середине октября совершенно неожиданно Ира Шувалова спросила меня, что я думаю о комсомольской работе. Пояснила, что во Фрунзенском райкоме комсомола освободилась должность заведующего организационным отделом, и она предложила мою кандидатуру. Меня это необычайно удивило и озадачило, ведь, за вычетом поездки на сельхозработы, я проработал в институте меньше двух месяцев, а в комитете ВЛКСМ и того менее. Правда, Ира знала, как активно я занимался комсомольской работой в студенческие годы. Значит, она увидела во мне лидерские качества и умение вести за собой, необходимые в комсомольской работе. Не помню точно, сколько дней было дано на размышление. Поразмыслив, я дал согласие.

Успешно прошёл собеседование в райкоме комсомола у заведующего организационным отделом райкома партии Вячеслава Дмитриевича Никанорова. В собеседовании участвовал мой непосредственный начальник, заместитель секретаря парткома «Гипрониигазы» Валерий Сергеев. Затем – в Обкоме ВЛКСМ, поскольку анкетные данные (у меня ещё был диплом с отличием) не вызывали возражений. В начале ноября я был уволен из института переводом во Фрунзенский райком ВЛКСМ. На прощальном застолье в отделе кто-то попросил меня, когда достигну пика карьеры, помахать им рукой с трибуны Мавзолея. Я пообещал.

Вакансия во Фрунзенском райкоме открылась после перевода на хозяйственную работу первого секретаря Виктора Рогова, который возглавил городскую киносеть. Второго секретаря Бориса Лутошкина перевели на место первого, а заведующего орготделом Павла Палагина – на место второго секретаря.

12 ноября 1976 года – мой первый рабочий день. Помню испытанное чувство подъёма, гордости, что выбрали именно меня. Я был полон радужных надежд.

В только что построенном пятиэтажном здании в самом центре Саратова, на улице Дзержинского, ещё не выветрился запах лака и краски. Райком комсомола располагался на первом этаже в шести комнатах окнами на улицу. У первого и второго секретаря были отдельные кабинеты по обе стороны от приёмной, а я делил помещение с секретарём, ответственным за учащуюся молодёжь, Ниной Саранцевой. Первые две комнаты при входе в коридор занимал сектор учёта и финансов, возглавляемый всеми уважаемой Людмилой Ивановной Левченко. В секторе работали бухгалтер Ира Иванова и статистик Надя Купцова.

Должность заворга, по всеобщему признанию, была в райкомах и горкомах ключевой. Занимая по статусу четвёртую должность, заворг выполнял работу, границы которой терялись за горизонтом.

В первую очередь, заворг отвечал за приём в комсомол рабочей молодёжи. Это было святое. А также: за своевременное проведение собраний в первичных организациях, подбор секретарей и резерва, отчётно-выборную кампанию, составление повестки дня и подготовку документов к еженедельным и внеочередным заседаниям бюро райкома, за представление отчётов, информации и разных справок.

Надо было регулярно бывать на предприятиях и в организациях, встречаться с секретарями парткомов, проверять работу «первичек» и оказывать им помощь. Докладывать на бюро райкома о деятельности первичных организаций, составляя проекты постановлений.

На заворга ложилась значительная часть работы по подготовке и проведению съездов, конференций, ежеквартальных пленумов и т. д., и т. п.

И ещё... Кроме этого...

Тот, кто хотя бы раз в жизни видел игру человека-оркестра, может иметь представление об этой куче обязанностей. Ясно, что выполнить всё в срок было невозможно, и надо было ранжировать их по степени важности. А это приходило с опытом, так же, как и спокойное отношение к критике, а случалось, и разносам. Все дела приходилось осваивать на ходу. Это была великолепная школа менеджмента, труднее и важнее всего была работа с людьми.

Комсомольские годы научили меня с сомнением относиться к официальной статистике. Вот характерный случай. Каждый райком комсомола раз в году обязан был представлять в горком партии список секретарей комсомольских организаций и резерв, причём заранее определялись обязательные проценты партийности, высшего образования, рабочих по профессии, соответствовать которым было заведомо невозможно. У меня всегда было два списка: один настоящий, а второй для отчётности, с которым сначала «химичили» мы в райкоме комсомола, а потом я согласовывал эту бумагу в орготделе райкома партии, где прекрасно знали истинное положение вещей. «Рисовали», как тогда говорили, «кандидат в члены КПСС» – комсомольцу, «неполное высшее образование» – имевшему среднее.

Несколько слов о «привилегиях», борьба с которыми казалась всем столь важной в Перестройку. Расскажу о привилегиях на районном уровне. Оклад первого секретаря райкома партии был 300 рублей, столько же в то время получал директор школы. Правда, в случае выполнения плана предприятиями района секретарь получал большие премии. Инструктор имел оклад 170 рублей. Первый секретарь райкома комсомола получал 180. По стране в это время средняя зарплата составляла около 140 рублей. В райкоме партии за год в дополнение к зарплате выдавались премия в размере одного оклада и так называемые «лечебные» – тоже в размере одного оклада за ненормированный рабочий день. Аналогичный порядок действовал и в райкоме комсомола. Ничего необычного в этом не было, система премиальных существовала повсеместно. Квартиры, за редким исключением, давали работникам райкома партии и райисполкома со стажем работы как минимум шесть-семь лет. Комсомольским работникам новых квартир вообще не давали. Левченко получил комнату в коммуналке, в старом двухэтажном доме, правда, в нескольких минутах ходьбы от райкома.

Аппарат райкома комсомола входил в профсоюз райкома КПСС. По профсоюзной линии к Новому году, на 1 Мая, к 7 ноября сотрудники отоваривались дефицитными продуктами в одном из ближайших гастрономов Фрунзенского райпродторга, причём покупали не что и сколько захочешь, а что положено по списку. В набор обычно входило несколько килограммов

говядины, палка копчёной колбасы, красная рыба, консервы (шпроты, сайра, горбуша), сгущённое молоко, растворимый кофе, бутылка-две марочного вина в сумме на тридцать с лишним рублей. Поскольку фирменный магазин «Белочка» был в нашем районе, то можно было иногда купить коробку хороших конфет. Торговля конфетами и книгами (Облкниготорг тоже находился во Фрунзенском районе) организовывалась также перед началом некоторых мероприятий райкома партии. В столовой при тех же ценах, что и в городских заведениях общепита, готовили намного вкуснее и разнообразнее. Однако ведомственные столовые были традиционно лучше обычных.

В семидесятые годы комсомол как передовой отряд советской молодёжи существовал только на словах. Фактически Центральным Комитетом ставилась задача вовлечь в его ряды практически всю молодёжь. На резонный вопрос, какой в этом смысл, партией давался ответ: ваша задача – воспитывать, а если надо, то и перевоспитывать молодёжь в комсомольской среде. Были отдельные планы по приёму учащейся и рабочей молодёжи (как минимум не ниже уровня предыдущего года). За их выполнение спрашивали предельно жёстко.

В 1976 году завершался обмен комсомольских документов. Такие кампании проводились нечасто, это была дополнительная нагрузка. Цель их состояла в оживлении работы комсомольских организаций. Случалось, молодые люди теряли связь с комсомолом. Одни просто не хотели платить членские взносы, другим надоедало ходить на собрания – все ощущали излишний формализм. «А что мне даёт ваш комсомол?» – заявляли наиболее откровенные. Поэтому иногда просто не снимались с учёта при переходе на новое место работы; другие снимались, но не вставали на учёт на новом месте. Иные теряли комсомольские билеты. По вечерам я ездил по городу на машине, разыскивая тех, о которых не было иных сведений, кроме адреса. Помню забавный случай. В сильный мороз на плохо освещённой улице в Агафоновке, не снимая перчаток, безрезультатно звоню, а проезжающая машина освещает калитку, и я вижу, что давлю на выступающий за гайку болт.

С декабря 1976 года я стал посещать комсомольские организации, которые мы кратко называли «первичками». Их было более девяносто в то время, а главной была «первичка» Агрегатного завода, имевшая права райкома в вопросах приёма в комсомол, рассмотрения персональных дел, ведения учёта и сбора комсомольских взносов. Там работал целый коллектив.

Существовала практика, когда на крупных предприятиях зарплату секретарю выплачивала администрация, а на ставке ЦК комсомола (обычно более низкой) «сидел» его заместитель. Когда численность комсомольской организации немного не дотягивала до установленной ЦК, партком, как правило, договаривался с дирекцией, и появлялся освобождённый секретарь, формально числящийся на другой должности. Таких секретарей звали «подснежниками», и не только их, а всех комсомольских работников, оформленных подобным образом. В «Гипрониигазе» таким «подснежником» была Ира Шувалова. В подавляющем же большинстве комсомольских организаций освобождённых секретарей не было. Правда, неосвобождённым секретарям выделялись отдельные часы или дни на общественную работу.

После восьмичасового рабочего дня в «Гипрониигазе» привыкнуть к безразмерному рабочему графику в райкоме, а при необходимости и к рабочей субботе, было мучительно трудно. Воскресенье, хотя и намного реже субботы, тоже могли объявить рабочим днём.

По команде из горкома КПСС часто приходилось организовывать субботники и выезжать во главе группы комсомольцев района на стройплощадки ТЭЦ-5 в Ленинском районе и совхоза «Тепличный» в Заводском. Мало того, порой команда давалась в середине дня в пятницу. Ясно, что даровым энтузиазмом залатывали дыры в работе профессиональных строителей. Однажды команда пришла так поздно, что пришлось ехать в Заводской район Борису, Паше, мне и ещё нескольким секретарям, которых удалось собрать. Мороз был приличный, но от нас только пар шёл. Мы разносили по указанным местам длинные стальные трубы.

И в школе, и в институте я всегда был одним из лучших, а тут часто или меня подводили, или я сам не успевал сделать что-то вовремя. Я не привык к критике и сильно переживал. Большую помощь мне оказал в этот трудный период бывший заворг Паша Палагин. Добрую службу сыграли советы работавшего уже около года заворгом Волжского райкома Кости Еширина, который окончил «политех» по той же специальности на год раньше. С ним мы встречались еженедельно на совещаниях в горкоме ВЛКСМ, которые очень требовательно и грамотно проводил заворг Володя Гришунин.

К концу зимы стало полегче, и я почувствовал, что втягиваюсь. Запомнилась известная в комсомоле шуточная история о памятной записке, вручаемой новичкам, которая включала три заповеди. Первая гласила: «вали всё на предшественника»; вторая: «обещай всё сделать»; ну а третья: «пиши записку»!

Несмотря ни на что, работать в райкоме было весело, мне нравилось находиться в гуще молодёжи. Вспоминался любимый мною Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения».

Во второй половине апреля стало известно, что группу заворгов из райкомов и горкомов области направляют на месячную учёбу в зональную комсомольскую школу в Волгоград. С нашего района на учёбу поехал и заместитель секретаря комитета Агрегатного завода Володя Пузанов. Перед отъездом в обкоме заведующая сектором кадров Жанна Березовская провела короткий инструктаж, в заключение которого назначила меня старостой. В Волгограде я уже был вместе со школьным классом, но тогда мы провели там всего один день и мало что видели, кроме мемориала.

По приезду состоялась встреча в Волгоградском обкоме комсомола, а потом нас поселили в ещё официально не сданном в эксплуатацию, стоящем на волжском берегу Дворце молодёжи, где мы совместно с комсомольскими работниками из других областей заняли один из этажей необжитого здания. Планировка была блочная: две комнаты на пару человек каждая, объединённые общим тамбуром с туалетом и душевой. Мы с Костей Ешириным поселились вместе.

Местный обком культурной программой для учащихся школы не озаботился, мы были предоставлены сами себе. Правда, была обзорная экскурсия по городу, а также неожиданное приглашение на встречу с российскими писателями, приехавшими на празднование Дня Победы. Конечно, побывали и на Мамаевом кургане. Нам рассказали, что каждый год 9 Мая участники Сталинградской битвы после официальных мероприятий отправляются на Бакаду (место отдыха вроде саратовской Сазанки на левом берегу), где для них накрывают столы. Лекции и семинары в зональной школе ничем особым не запомнились, зато удалось передохнуть после почти полугода напряжённой работы.

До отчётно-выборной конференции в ноябре 1977 года я и не думал, куда поехать в отпуск. Работы было так много, что всё остальное отошло на вто-

рой план. Когда же конференция состоялась, то оказалось, что в Бюро международного молодёжного туризма «Спутник» при Обкоме комсомола все путёвки в международные молодёжные лагеря уже были распределены, остались путёвки только в Дом отдыха ЦК ВЛКСМ «Ёлочка» под Звенигородом в Московской области. Паша Палагин и Ира Иванова советовали мне брать путёвку без всяких раздумий – они там отдыхали, и им очень понравилось.

Дом отдыха находился в лесу совсем близко от излучины Москвы-реки. В лесу, который тянулся почти до самого Звенигорода, находились различные «авторитетные организации, некоторые из которых окружали себя длиннющими, сплошными, высокими зелёными заборами. На противоположном берегу неширокой реки располагался санаторий Минобороны. Место было красивое, недаром пару лет назад в окрестностях Дома отдыха снимался фильм-сказка «Финист – Ясный Сокол». Морозная зима нисколько не мешала хорошо отдыхать. В столовой можно было выбирать из разнообразного меню, кормили по-домашнему вкусно и не отказывали в добавке. Часто показывали кинофильмы. Я съездил на интересные экскурсии в Москву, Звенигород, в Клин, в Дом-музей Чайковского, в Калугу, в Музей космонавтики. В концертном зале выступили барды Татьяна и Сергей Никитины, молодой сатирик Владимир Винокур и уже маститый автор юмористических рассказов и миниатюр Аркадий Арканов, находившийся на пике популярности композитор Вячеслав Добрынин (он жил в это время в Доме отдыха в женском корпусе), исполнитель главной роли в фильме «Тихий Дон» Пётр Глебов, олимпийский чемпион Пётр Болотников. Организовали и КВН, я участвовал в подготовке выступления одной из команд и представлял её в жюри. А напротив нас жили приехавшие из Армении Володя и Ашот. Они привезли с собой стратегический запас чачи, которая оставляла человека на ногах, но могла лишить дара речи. Оба здорово играли на гитарах, а Ашот ещё и пел.

В конце декабря я вернулся в Саратов встречать Новый год в родном городе.

Накануне 60-летия Великого Октября лучшие комсомольцы района удостоились права сфотографироваться у знамени Фрунзенского райкома ВЛКСМ. Я крайний слева во втором ряду, рядом со мной секретарь комитета комсомола завода «Газаппарат» Анатолий Овчинников, в центре – Борис Лутошкин. В первом ряду рабочие-орденоносцы и члены районного Совета ветеранов партии и комсомола, крайний слева – его председатель С. З. Стрельцин.

А сейчас пришло время рассказать несколько примечательных историй.

Однажды дверь моего кабинета открылась, и... я не поверил своим глазам! Передо мной предстал красавец-горец во всём блеске роскошного национального костюма с глазырями. Но когда это чудо-чудное заговорило, я удивился куда больше. «Я хочу вступить в комсомол», – с такой просьбой ко мне в кабинет не приходил ни один молодой саратовец, а тут – сын Кавказа!

Ларчик, как это нередко случается, открывался просто. Наездника из конного аттракциона, гастролировавшего в Саратовском цирке, недавно не взяли в турне по Мексике из-за прочерка в соответствующей графе. Ясное дело, мы без проволочки приняли его в члены ВЛКСМ на ближайшем заседании бюро райкома. Горец в благодарность пригласил меня в цирк. Я взял с собой своего друга Виталия Потапова, и мы, зайдя со служебного входа, с удовольствием посмотрели представление, сидя в гостевой ложе. Запомнил-



У знамени Фрунзенской районной комсомольской организации. 1977

ся бесподобный номер, когда одетый деревенской бабой клоун, пропев прославленные нашей землячкой Лидией Руслановой строки: «По морозу босиком к милому ходила», – задрал длинную цветастую юбку, обнажив огромнейшие босые корявые ступни (то были муляжи, конечно) с вопиющим малиновым педикюром!

В кафе «Юность» на набережной, которое, в отличие от находившейся в том же доме «Лакомки», часто пустовало, с 1977 года Волжский райком комсомола стал проводить недавно вошедшие в моду молодёжные дискотеки, пригласительный билет на которые стоил, кажется, четыре рубля. Распространялись билеты через комсомольский актив, приходили на них и комсомольские работники. Дискотеки эти известны были отсутствием идеологической подоплёки и вольными нравами. На столики для четверых ставились закуска и сухое вино. Веселились все от души. Я любил ходить на эти дискотеки, иногда приглашал с собой Виталия. Мы с ним не раз потом вспоминали, как однажды всех вовлёл в весёлый-развесёлый хоровод инструктор обкома комсомола, а в далёком будущем – вице-губернатор и председатель областной думы Сергей Шувалов, жена которого, Ирина, рекомендовала меня в райком.

Городской трест ресторанов и кафе проводил конкурс профессионального мастерства комсомольцев и молодёжи в здании ресторана бывшей гостиницы «Россия», что на углу улиц Кирова и Горького. Борис направил меня представителем от райкома в жюри, и я заранее мечтал, какие вкусности отведую. По этому случаю я даже позавтракал в тот день легче обычного. Далее привожу с минимальной правкой текст сделанных тогда же записей: *«Конкурс, проходивший при открытых дверях, вызвал большой интерес. Вело съёмки телевидение. Присутствовал старший газетчик Геннадий Рассо-*

хин, племянник Константина Федина. Конкурс начался с опозданием на час. С полудня до трёх часов жюри сидело несолоно хлебавши за длинным столом в заднем левом углу зала. Вышло так, что в этот день посетитель оказался заметно больше, чем предполагали, и все конкурсные блюда подавались публике, которая с удивлением поглядывала на разношерстную компанию членов жюри. Неподалёку от нас расположился зампреда Облпотребсоюза. Он вкусно ел, вкусно пил и хлебосольно потчевал своего гостя – крупного деятеля этой же отрасли из Алма-Аты. Голодным членам жюри становилось грустно. А у меня и вовсе кишка кишку съела. Наконец зал опустел. К нашему вящему удовольствию, двери надёжно заперли и повара со своими блюдами хлынули к столу. Отведав то или иное кушанье, члены жюри проставляли баллы в ведомости. И только после того, как продегустировали всё, что следовало, мы под коньячок уже без всяких баллов отдали должное поварам».

В мастерских Художественного фонда, что на улице Рахова, избрали нового секретаря – недавно принятого на работу Генриха Шапиро. Очень высокий, стройный, с выразительными крупными чертами лица, он сразу обращал на себя внимание. Многие неосвобождённые секретари рассматривали комсомольскую работу как временную обузу. Генрих же стал часто заходить в райком и совершенно неожиданно подарил большой, написанный маслом портрет Ленина в музейного качества рамке, который повесили в кабинете первого, где проходили заседания бюро. Традиционно богема относилась прохладно к разным общественным делам, а тут такое!..

Не помню, на какой должности Генрих работал в мастерских. Он приехал из Сухуми и жил на съёмной квартире в старом доме. Его потянуло ко мне, и как-то незаметно у нас сложились приятельские отношения. Генрих рассказывал, что его отец занимал должность Генерального прокурора Абхазии, что новый первый секретарь ЦК компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе ведёт настоящую войну с процветающими в республике взяточничеством и кумовством. Это тогда все обсуждали. Слово «коррупция» не было на слуху. У меня дома Генрих, аккомпанируя себе на пианино, однажды спел с дюжину песен бардовского толка. Запомнилась одна: «Одену я чёрную шляпу, уеду я в город Анапу, и целый я день пролежу на чёрном от солнца пляжу».

В 1978 году Генрих уехал в Москву. Наша переписка скоро оборвалась. Думаю, неординарной натуре Генриха было тесно на курорте, мечты героя песни были ему чужды, а Саратов служил лишь ступенькой.

Секретарь комитета комсомола областного УВД обладала весьма внушительной фигурой. Особенно импозантно она смотрелась, когда приходила в райком в лейтенантской форме. Внешне весёлая, незамужняя Н. производила на меня впечатление в глубине души грустного человека.

Осенью 1977 года особенно часто приходилось надолго задерживаться вечерами, работать в субботу. После работы (если день не выходной, то не раньше восьми вечера) мы иногда стали устраивать застолье. Стол накрывался в секторе учёта. Расслаблялись от души. Ближе к концу застолья запевали песни. Однажды мы услышали от пришедшего разыскивать Людмилу Ивановну Левченко её мужа Сергея: «Вы что, совсем охренели, вас на Кирова слышно!» Вскоре весть о наших гулянках дошла до первого секретаря райкома партии, и он распорядился это дело прекратить!

21 апреля 1978 года на городском торжественном заседании в театре оперы и балета, посвящённом 108-й годовщине со дня рождения Ленина,

я стал свидетелем довольно комичной сценки. Двое сидевших рядом со мной стали играть в «балду». Один из них никак не мог придумать слово нужной длины, тогда соседка решила помочь: «Граната». Сказано было чересчур громко, и несколько человек в передних рядах испуганно обернулись.

А на следующий день провожали областную делегацию из 51 человека на 18-й съезд ВЛКСМ. Делегатов разместили в двух купированных вагонах по обе стороны вагона-ресторана. На перроне было шумно, весело. Духовой оркестр исполнял бравурные мелодии. Стрекотал камерой кинооператор. Сбежавшиеся со всех сторон зеваки сначала не могли понять, что же здесь происходит. Потом в левой части перрона завязалась драка, многие бросились туда посмотреть, и стало свободнее. Веселее всего было среди провожающих из Кировского района. Собравшись в кружок, они пели песни. Толя Скоблилов, первый секретарь Саратовского горкома комсомола, делегат съезда, ходил вдоль вагонов с радостной улыбкой и всем пожимал руки. Поезд отправился с опозданием на 10 минут. Оркестр заиграл «Славянку».

За время работы в райкоме было немало интересных встреч: с композитором Марком Фрадкиным в консерватории, в райкоме партии – с дочерью маршала Жукова Маргаритой Георгиевной, которая рассказала о работе отца над известными мемуарами и подписала мне на память книгу. Во дворце спорта «Кристалл» – с участниками проводимых в Саратове соревнований на приз ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» и земляком лётчиком-космонавтом Геннадием Сарафановым. В ТЮЗе – со знаменитым защитником сборной СССР по хоккею Игорем Ромишевским и хоккейным судьёй международной категории Виктором Домбровским, в Доме офицеров – с участниками похода по местам боевой славы Чапаевской дивизии. В этой встрече приняли участие и специально приехавшая дочь Фурманова, и племянник Чапаева, работавший в Саратовском техникуме электронных приборов имени Яблочкова.

Летом 1978 года я поехал в отпуск в Международный молодёжный центр «Юность» под Минском. Центр располагался в современном многоэтажном комплексе на берегу озера неподалёку от леса. Меня поселили в одну комнату с Володиёвым Воронковым из подмосковного Одинцова и Володиёвым Ганеманом из Свердловска. Мы сразу сдружились. Комнаты парней и девушек располагались вперемежку. Броской внешности девица с роскошным бюстом и огромным ожерельем из рядов старинных серебряных монет почему-то занимала одна всю комнату в конце коридора. Когда приехали французы, высокий молодой блондин как зашёл к ней, так и не выходил до отъезда. Спустя какое-то время появилась группа из США, которую я по своей инициативе приветствовал со сцены концертного зала на ещё не позабытом английском.

В один из дней нас «обрадовали» известием, что организуется выезд на субботник или воскресник, сейчас уже точно не помню. Наша группа, состоявшая приблизительно из трёх десятков отдыхающих, в основном парней, отправилась на «Икарусе» на окраину белорусской столицы. Предстояло выровнять и немного углубить уже ранее выкопанную экскаватором траншею для укладки труб. Растянувшись по её дну на расстоянии около трёх метров друг от друга, мы начали работать. День стоял солнечный и тихий. Не прошло и часа, как появился небрежно одетый и непонятно чем взвинченный парень (я назову его Местный) и без всякого повода начал нас задирать. Работавший рядом со мной завотделом рабочей и сельской молодёжи Калининградского обкома комсомола, коренастый, медлительный Володя (у него была украинская фамилия) сделал наглецу замечание, которое того

взбесило. Угрожая, он удалился, обещая скоро вернуться. И действительно вскоре показался снова. Не дойдя до траншеи метров пяти, Местный остановился. Вдруг он вытащил пистолет и выстрелил в Володю. Зависла пронзительная тишина – все оцепенели. Только Володя приподнял и опустил лопату. Мимо! Видно, Местный решил попугать. Тут раздался вскрик Володиной жены: «Мужики, да что же вы?!» Сам не знаю, как меня вынесло из траншеи. Через мгновение я своей правой выкручивал левую руку Местного, а ребром вывернутой ладони своей левой руки наотмашь бил его по физиономии. Кто-то с другой стороны в этот момент заламывал руку с пистолетом. Подоспевший здоровенный Володя Ганеман, бывший десантник, схватив сзади Местного за чуб, свернул его в бараний рог. Тут все увидели подбежавшего шофёра «Икаруса» с монтировкой в руках. Его помощь уже не требовалась. На что рассчитывал подонок? Кто знает. Через несколько минут его посадили в автобус, с ним в ближайшее отделение милиции поехали калининградский Володя с женой, Ганеман и ещё кто-то. В том же году состоялся суд, на который, как рассказывал мне в следующем году в Москве Воронков, из своего родного Свердловска прилетал Ганеман в качестве свидетеля. Бандиту дали восемь лет.

Ещё до 18-го съезда ВЛКСМ, весной 1978 года, первым секретарём обкома комсомола назначили Константина Андреева, первого секретаря Саратовского горкома. На место Андреева утвердили Анатолия Скоблилова, работавшего до этого первым секретарём Заводского райкома. Вслед за этим неизбежно начались передвижки и в аппаратах. В конце июля 1978 года перешедший в обком на должность заведомо рабочей и сельской молодёжи Володя Гришунин позвал меня занять выделенную Центральным Комитетом новую ставку завсектором ударных комсомольскихстроек. В обкоме мне предстояло заниматься не только общественным призывом молодёжи, но и курировать комсомольские организации в промышленности.

24 августа я был утверждён в обкоме ВЛКСМ, а на следующий день состоялся пленум райкома комсомола, в работе которого принял участие первый секретарь райкома партии Михаил Петрович Галактионов. Главным событием стало вручение районной комсомольской организации переходящего Красного Знамени Саратовского горкома комсомола. Последним пунктом в повестке дня пленума значился организационный вопрос. Первый секретарь райкома ВЛКСМ Лутошкин проинформировал об утверждении меня заведующим сектором обкома и предложил в связи с этим освободить от должности заворга, не прибавив ни единого слова, помимо протокольно необходимых. Тогда поднялся Михаил Петрович и, заметив Борису, что так не годится, очень тепло поблагодарил меня за большую и успешную работу. Зал ответил аплодисментами.

В эти же дни меня приняли кандидатом в члены КПСС. 28 июля 1978 года я вышел на работу в обком комсомола. Но это уже другая история.



**Борис
ОЗЁРНЫЙ**



Борис Озёрный

РАХЕ

(Из неопубликованного)

Уже несколько пленных заявили на допросе о том, что по ту сторону реки появился странный человек – Рахе. «Рахе» в переводе на русский язык означает «мечь». И мы сначала не придали никакого значения этой части показаний пленных, так как мечь получила своё определённое значение, облагоустроенное чистотой русской непокорённой души. Мечь преследовала немцев везде, и нам не казалось удивительным, что за рекой, по которой проходил наш рубеж обороны, появилась мечь. Однако пленные всё чаще и чаще стали называть человека именем Рахе, рассказывали о нём невероятные истории. Мы пробовали уточнить, какая основа у этих показаний. Оказалось, что никто из них Рахе в глаза не видел.

- Рахе – человек-невидимка, – говорили одни.
- Он неуязвим, как нибелунги, – заявляли другие.

Рахе уничтожает:

- ...мосты...
- ...машины...
- ...солдат...
- ...лошадей... – перечисляли пленные.
- Он жил с нами в одних землянках...
- Это сам дьявол, – уверяли нас немцы.

У меня до сих пор хранится полевая тетрадь, в которой записаны показания пленных. Вот что, например, сообщил ефрейтор гитлеровской армии Генрих Штоок из Штеттина: «Трудно сказать, где бывает Рахе. Он появляется везде, нападает на машины, на людей, на отдельные подводы. Рахе хорошо стреляет и убивает всегда одной только пулей».

Несколько позже я записал со слов солдата Альберта Вайса: «Я находился в группе солдат, которые по поручению командира полка четыре дня искали Рахе в лесу. Нам всем было очень страшно. По ночам Рахе смеялся так, что дрожали листья. Каждую ночь он убивал одного солдата и оставлял свою визитную карточку, представляющую из себя грубо остроганную дощечку, на которой карандашом написано по-немецки: «Rache».

Любопытно показание другого пленного, Курта Гантке: «Нам сообщили, что на дороге недалеко от нашего поста Рахе застрелил в машине шофёра и штабного офицера. Когда мы прибы-

ли к месту происшествия, я обратил внимание: около машины были большие собачьи следы. На машине висела дощечка с надписью: «Рахе».

На мой вопрос, какой вывод следует сделать, пленный ответил: «Я думаю, что Рахе – зверь, так как человеческих следов ни у машины, ни в округности мы не обнаружили».

Вот, собственно, что представляли из себя показания пленных о каком-то Рахе, в этих показаниях чувствовался суеверный страх. Мы же решили, что в основе всей этой истории лежат действия небольшой группы партизан, которые примерно в это же время переходили из вражеского тыла на нашу сторону.

Может быть, это вскоре было бы предано забвению, если б наши разведчики не принесли вскоре сведения, подтверждающие показания немцев. Группа разведки во главе с сержантом Горюновым восемь дней находилась в тылу врага с особо важным заданием командования. Они жили в лесу, соблюдая все предосторожности. И велико было их удивление, когда однажды утром они нашли около себя дощечку с короткой надписью: «Рад вас видеть. Ваш друг Рахе».

Нельзя сказать, чтоб разведчики обрадовались лесному другу. Наоборот, Горюнов усилил ночью охрану, и когда четверо спали – четверо несли строгую сторожевую службу. Следующей ночью никто ничего не видел, никто ничего не слышал, а утром опять выяснилось, что Рахе навещал лесной бивак разведчиков, о чём оставил короткую записку на дощечке: «Постараюсь быть Вам полезным. Рахе». Эту дощечку обнаружил у себя Горюнов в кармане, что давало повод полагать: Рахе даже знал начальника разведки.

Восемь опытных следопытов осмотрели место своей стоянки и не нашли никаких следов, которые дали бы ключ к разгадке этих странных записочек на дощечках. Неизвестный назвал себя другом, рассуждали разведчики, только почему же он не показался им сам? И это оставалось неразрешённой загадкой.

Разведчики выполнили задание и возвращались к линии фронта. Они спешили, так как им нужно было вернуться в свою часть к условленному сроку. Рахе больше не давал о себе знать, но его деревянные письма бойцы не могли забыть. И всё время им казалось, что какое-то невидимое существо сопровождает их. Два раза разведчики слышали около себя лёгкие шаги. Как-то перед утром часовому показалось, что он слышал короткий приглушённый свист, который можно было принять за свист какой-нибудь птицы.

И вот на обратном пути разведчикам предстояло переправиться через речку, а речка после дождей разлилась. Надо было или переплыть, или же искать брод. Они сделали короткий привал и, проведя совет, решили, чтоб не терять времени, переплыть речку. Они уже собирались выполнить своё решение, четверо уже приготовились к заплыву, и здесь их ещё раз удивила таинственная рука Рахе.

К Горюнову подбежала большая чёрная собака, типа дворняжки, и, бросив у ног дощечку, стремительно убежала. Горюнов поднял дощечку и прочитал: «Счастливого пути, друзья. Брод левее, у сухой берёзы. Рахе».

– Что вы можете на это сказать? – спросил Горюнов своих товарищей, прочитав им короткую надпись на дощечке.

И никто ничего определённого сказать не мог. Только самый молодой из разведчиков, Валентин Прохоров, промолвил:

– Видно, что правда друг. Только чудно как-то всё, словно в сказке. И чего он прячется, этот Рахе?

На том и порешили, что Рахе – друг, и, воспользовавшись его советом, разведчики дошли до сухой берёзы, благополучно перешли речку вброд,

и вода здесь оказалась не выше пояса. И, находясь уже на другом берегу, разведчики, оглянувшись, увидели человека, а рядом с ним знакомую чёрную собаку. Человек молча помахал рукой и скрылся в кустах.

Вот что рассказали разведчики.

Через две недели после этого наши перешли в наступление и продвинулись на двадцать шесть километров. И везде, где мы только ни останавливались, жители рассказывали нам невероятные истории о Рахе, в которых правда мешалась с чудовищным вымыслом. А вскоре мы увидели и героя.

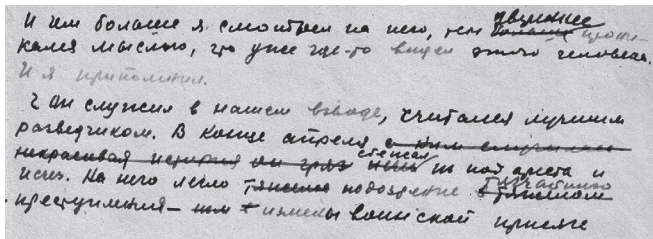
Наши заставы задержали человека. Он назвал себя Рахе, отказался назвать настоящую фамилию и потребовал, чтобы его отвели лично к командиру дивизии. Начальник заставы позвонил «хозяину» – так звали у нас командира дивизии – и, получив согласие, доставил человека в штаб.

Человек имел средний рост, широкие мощные плечи. Лицо поросло золотистой бородой, давно не стриженные и не чёсанные волосы на голове спутались, из-под бровей смотрели открытые пронизательные глаза, которые показались мне давно знакомыми. Я увидел его у землянки «хозяина», куда привели его под конвоем. Он сидел на брёвнышке, у его ног лежала большеголовая чёрная собака. И чем больше я смотрел на него, тем увереннее проникался мыслью, что уже где-то видел этого человека. И я припомнил.

Он служил в нашем взводе, считался лучшим разведчиком. В конце апреля сбежал из-под ареста и исчез. На него легло подозрение тягчайшего преступления – измены воинской присяге.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Так завершается рукопись. Первое впечатление – незавершённость рассказа. Но если вчитаться в него ещё раз и понять его композицию, то можно сделать вывод, что автор предоставил самому читателю додумать судьбу Рахе. Это мнение подтверждает и последняя страница авторской рукописи: написано всего шесть финальных строк.



Можно предположить: Борис Озёрный учитывал, что его читателями будут подростки («Рахе» должен был войти в книгу «Рассказы разведчика»), и не хотел травмировать их души. А концовок предлагается как бы две: оптимистическая и пессимистическая. Первая предполагает, что командир дивизии простит беглого разведчика, оценив его заслуги в уничтожении большого числа врагов. Второй вариант: автор, военный человек, хорошо знал законы фронтовой жизни и понимал, что за нарушение воинской присяги по головке не погладят... Но читатель, особенно юный, имеет право домыслить концовку рассказа.

Публикация и послесловие – Светланы Дурновой.

Выражаю благодарность Михаилу Шеленку и Даниилу Рясову за помощь в подготовке рукописи «Рахе» к публикации.

С.Б. Дурнова



БУДЕМ ПОМНИТЬ

17 декабря 2018 года на 85-м году жизни после болезни ушла из жизни **Александра Борисовна БЕЛОГЛАЗОВА** – главный библиотекарь отдела краеведения Областной библиотеки для детей и юношества имени А. С. Пушкина, член Союза журналистов

России и Ассоциации саратовских писателей (АСП), член президиума Саратовского отделения Всероссийского общества охраны природы, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), ответственный секретарь Саратовского отделения отряда юных космонавтов, лектор городского общества «Знание».

Александра Борисовна родилась 7 октября 1934 года в селе Крутец Ртищевского района Саратовской области. Окончила Московский государственный библиотечный институт, факультет детских и школьных библиотек и более 60 лет проработала в «Пушкинке» г. Саратова, являясь в разные годы главным библиографом, старшим редактором, заведующей отделом. В Саратовском консультпункте Самарского института культуры для библиотекарей-заочников вела курс «Краеведческая библиография», в технологическом вечернем техникуме – курс «Работа с книгой».

Александра Борисовна за долгие годы работы сформировала книжный фонд краеведческой литературы, вела большую массовую и индивидуальную работу с читателями разных возрастов. Участвовала с докладами на конференциях в Саратове, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах.

Долгие годы А. Б. Белоглазова руководила Малыми Вавиловскими чтениями для школьников и студентов в областной библиотеке для детей и юношества имени А. С. Пушкина. Опубликовала сотни статей в газетах, журналах, сборниках научно-практических конференций.

За свой подвижнический труд Александра Борисовна неоднократно награждалась почётными грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Имела также такие награды, как медали «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе», «150 лет Российской государственности», медали от Федерации космонавтики России и другие. Ветеран труда (с 1985 года).

Друзья, коллеги, бывшие сотрудники и многие поколения читателей Пушкинской библиотеки выражают соболезнования родным Александры Борисовны Белоглазовой.



Кселена Литвинова. «Ангел». 2013

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Художник – Кселена Литвинова.

Подписано в печать 19 февраля 2019 года.

Дата выхода в свет 28 февраля 2019 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 41/1902/9

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 69-54-41.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2019.

© «Волга–XXI век», 2019.